

Забытые  
рассказы

KING COUNTY LIBRARY SYSTEM



2083379889

ВАСИЛИЙ  
АКСЕНОВ  
ЛОГОВО  
ЛЬВА



Author  
Title

Aksenov, Vasilii, 1932-2009.  
Logovo l'va : zabytye rasskazy

**ВАСИЛИЙ  
АКСЕНОВ  
ЛОГОВО  
ЛЬВА**

**Забывтые рассказы**

**АСТ  
АСТРЕЛЬ  
МОСКВА**

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44  
А42

*Художник Андрей Рыбаков*

*Составитель Виктор Есилов*

*Предисловие Евгений Попов*

Издательство благодарит за помощь сотрудников архива  
«Литературной газеты»

**Аксенов, В.П.**

**А42** Логово льва: забытые рассказы / Василий Аксенов. – М. : АСТ : Астрель, 2009. – 443, [5] с.

ISBN 978-5-17-060737-2 (ООО «Издательство АСТ»)

ISBN 978-5-271-24444-5 (ООО «Издательство Астрель»)

Эта книга – подарок для истинных ценителей творчества Василия Аксенова. В нее вошли рассказы, которые не переиздавались десятки лет. Разбросанные по старым номерам журналов и газет, они и сейчас поражают необыкновенной свежестью языка, особым «аксеновским» видением мира.

УДК 821.161.1-31

ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Подписано в печать 30.06.09. Формат 84x108/32.

Усл. печ. л. 23,52. Тираж 7000 экз. Заказ № 5532

Общероссийский классификатор продукции  
ОК-005-93, том 2; 953000 – книги, брошюры

Санитарно-эпидемиологическое заключение  
№ 77.99.60.953.Д.009937.09.08 от 15.09.2008 г.

ISBN 978-5-17-060737-2 (ООО «Издательство АСТ»)

ISBN 978-5-271-24444-5 (ООО «Издательство Астрель»)

© Аксенов В.П., 2009

© ООО «Издательство Астрель», 2009

## СЛУЧАЙНЫХ СОВПАДЕНИЙ НЕ БЫВАЕТ

Свидетельствую: зрелый Аксенов, свирепо именовавший даже своих знаменитых «Коллег» (1960) и «Звездный билет» (1962) «детским садом», очень не любил, когда ему напоминали о его *первой* публикации 1958 года, сильно кривился, имея на это полное право, но отнюдь не обязанность.

Потому что без этих ранних, наивных «Асфальтовых дорог» и «Дорогой Веры Ивановны» знаменитый Василий Аксенов, из джинсового пиджака которого, как из гоголевской «Шинели», вышла вся новая русская проза, – далеко «не полный».

Нужно было звериное писательское чутье тогдашнего редактора суперпопулярного журнала «Юность» Валентина Катаева, чтобы разглядеть в эскерсисах безвестного выпускника Ленинградского мединститута нечто стоящее, неуловимо отличающееся от расхожей «оттепельной» комсомольско-молодежной лабуды про парткомычей «с человеческим лицом» и честных советских ребят, которые верны «заветам отцов», хоть и любят американский джаз. Говорили, что мэтра восхитила фраза молодого автора «стоячая вода канала похожа на запыленную крышку рояля». Такого он давненько не слышал и не читал. Здесь же и «пепельница, утыканная окурками, похожая на взбесившегося ежа», и «темные углы военкомата», и «официант с каменным лицом жонглера».

Раннего Катаева, будущего Героя Социалистического Труда, награжденного двумя орденами Ленина, углядел автор «Окаянных дней» Иван Бунин, будущего «отщепенца и антисоветчика» Аксенова – Катаев. Круг замкнулся. Всем всё зачтется.

Первые рассказы этого сборника – наглядная иллюстрация того, как «Вася из Казани», обладающий природным даром и горькими знаниями о жизни, на какое-то время *пытался заставить* себя поверить в искренность заведомых коммунистических лжецов, утврждавших, что к прошлому нет возврата. Он, сын

репрессированных родителей, получивших нечеловеческие сроки советских лагерей, пытался *честно* вписаться в систему, но быстро понял, что это, увы, невозможно. И, самое главное, не нужно, *неправильно*. Что с этими красными чертями нельзя, не получится договориться *по-хорошему*. И нужно для начала удалиться от них в другие, недоступные им сферы. Ну, например, туда, «где растут рододендроны, где играют патефоны и улыбки на устах». Или на теплоход, идущий под радиомузыку из «Оперы нищих» по сонной северной реке. Там чудеса, там героические летчики в «длинных синих трусах» неловко прыгают в воду, плавают не стильно, а «по-собачьи», глупо острят, но все же обладают неким таинственным знанием о законах «катапульти», которое пока что недоступно двум спортивным столичным пижонам...

А эти пижоны станут лет эдак через десять отчаявшимися, спившимися героями аксеновского шедевра, первого его свободного от власти и цензуры романа «Ожог», который он начал писать в стол сразу же после «чехословацких событий» 1968 года. «Перемена образа жизни» аукнется в «Острове Крыме». Рассказ «О похожести» – в «Новом сладостном стиле» и «Кесаревом свечении». Аргентинский скотопромышленник Сиракузерс обернется персонажем народного гиньоля под названием «Затоваренная бочкотара».

Процесс пошел, процесс идет. Случайных совпадений в жизни не бывает. 20 августа 1937 года, ровно в тот день, когда ему исполнилось пять лет, Василий Аксенов, будущий кумир многих поколений российских читателей был свезен в дом для детей «врагов народа». Всхлипывая, он впервые заснул на казенной кровати, прижав к мокрой щеке любимую игрушку, тряпичного *львенка*. Эта книга называется «Логово льва».

Евгений Попов  
Июнь 2009

ВЫСОКО ТАМ, В ГОРАХ...

# НАША ВЕРА ИВАНОВНА\*

На озере катер попал в болтанку. Барсуков сидел в каюте на клеенчатом диванчике и с отвращением смотрел в иллюминатор, который то поднимался в серое, понурое небо, то зарывался в сплошную зеленовато-желтую муть. Дверцы каюты открылись, и на трапе показались толстые подошвы. Семенов с трудом протащил свое тело внутрь, откинул капюшон, вытер мокрое румяное лицо и весело сказал:

– Разбушевалась стихия, прямо море-окиян! Ну, как, Максим Сергеевич, легче?

Барсуков промолчал.

– У вас, кажется, высокая температура. Примите норсульфазол, а лучше всего водочки с перцем. В каюте холодно, июнь, черт его побери!

---

\* Автор рассказов «Наша Вера Ивановна» и «Асфальтовые дороги» – врач. Ему 26 лет. Печатается впервые. – *Прим. редакции журнала «Юность», 1959.*

Озноб давно прошел. Барсукову было очень жарко, его душил кашель, и колело в левом боку. «Пневмония», – подумал он и сказал:

– Давайте и то и другое.

– Скоро будет пристань. Может, вам лучше там остаться?

Барсуков плотнее завернулся в макинтош, он чувствовал: температура, наверное, не меньше сорока.

– Есть у меня страшный вражина, Виктор, – проговорил он, – мистер Ревматизм. Это вероломный тип. Стоит чуть зазеваться, как он нападает, и уж тогда, как говорится, ни дохнуть, ни...

– Пойду скажу, чтобы заворачивали, – пробормотал Семенов и полез наверх.

– Не надо! – крикнул ему вслед Барсуков.

«И угораздило же вчера после осмотра верфи попасть под дождь! Ничего, до Ленинграда не загнусь, а там на самолет – и в Москву. Ленушка дома пенициллином накачает, и опять здоров старый конь – тащи воз, призы бери на скачках».

Резкая боль в правом коленном суставе, словно прошла сквозь тело длинная игла, заставила его застонать. Начинается! Теперь, он знал, суставы вспухнут, нельзя будет шевельнуться. Он встал, высунул голову в люк и крикнул:

– Виктор! Поворачивайте к пристани.

– А мы уже подходим, Максим Сергеевич, – ответил из рубки Семенов.

Сквозь частую сетку дождя были видны голубые постройки пристани и белый красавец – теплоход «Онега», ошвартовавшийся у причала. Здесь, за выступающим далеко в озеро каменистым мысом, волны были меньше. Катер бойко подбежал к причалам.

Семенов взял было Барсукова под руку, но тот досадливо поморщился – оставьте! – и, тяжело ступая, медленно пошел к проходу, за которым теснились в ожидании посадки пассажиры, в основном женщины с малыми детьми, с мешками и деревянными чемоданами. Барсуков открыл калитку; должностное лицо, приставленное для порядка, робко отступило.

– Где начальника найти? – спросил Барсуков.

– Начальник у нас уехавши, в отпуске.

– Ну кто там, зам или кто?

– Зам есть. Пожалуйста прямо, потом налево.

– Проводите! – коротко приказал Барсуков.

Заместитель начальника пристани Иван Сергеевич Сбигнев чаевничал у себя в кабинете, когда раздался короткий стук и в комнату вошел тяжеловесный мужчина явно не местного вида. Макинтош из серого наитончайшего габардина струился вниз серебристыми волнами. Такой макинтош был затаенной мечтой Сбигнева. Под мышкой вошедший держал кожаную папку с молниями.

– Здравствуйте, – сказал незнакомец, – моя фамилия Барсуков. – И протянул Сбигневу широкую ладонь.

Барсуков? У Сбигнева похолодело где-то внутри. «Что его к нам занесло? Он же был в... Вот оказия!»

– Сбигнев, – растерянно пробормотал он. – Прощу вас, садитесь. Чем могу служить?

В кабинет без стука ворвался Семенов.

– Разузнал, Максим Сергеевич! Больница водников, двадцать пять коек. Врач, как говорят, хороший.

Барсуков повернулся к Сбигневу:

– Вот, товарищ... Сбигнев, придется мне у вас отлежаться денька три: ревматизм разыгрался. Связь с Москвой у вас есть?

– С Москвой? – Сбигнев растерянно моргнул.

– Я имею в виду телефонную связь. Мне нужно будет часто говорить с Москвой.

– Это сделаем, обеспечим, товарищ Барсуков. Слышимость удовлетворительная.

– Ну, хорошо. Виктор, вы не задерживайтесь! Попросите Нестеренко отложить заседание коллегии до четверга. Впрочем, я сам ему позвоню. В Ленинграде распорядитесь насчет катера. Отправляйтесь!

– Максим Сергеевич, я хотел бы вас...

Барсуков поморщился: боль усиливалась.

– Вы слышали, что я вам сказал?

Он протянул Семенову руку, насильственно улыбнулся.

– Не обижайтесь. Вы дельный парень. Съездили мы с вами хорошо, да вот только чепуха эта немало напортила. В общем, проваливайте, товарищ Сбигнев обо мне позаботится.

– Это безусловно, не волнуйтесь! – Сбигнев суетливо вскочил. – Сейчас распоряжусь насчет машины.

Он вышел из кабинета вместе с Семеновым. Максим Сергеевич видел в окно, как Семенов обычной своей энергичной походкой прошел по причалу и спрыгнул вниз, на палубу катера. Барсуков поймал себя на том, что уход Семенова вызвал у него странное детское чувство одиночества и незащитности.

...Пристанский «газик» уехал по разбитому булыжнику мимо низких бревенчатых строений. Улицы поселка под непрерывным морозящим дождем выглядели нерадостно. По дощатым мосткам спешили согбенные фигурки. Холодные тучи, как стадо животных с тяжелыми, отвисшими животами, двигались со стороны озера. Барсуков хорошо знал свойства этого северного края. Не-

привычному человеку здесь в такую погоду впору в петлю лезть: на редкость мрачные мысли внушает этот понурый пейзаж. Но стоит доброму ветру разогнать тучи, как природа вокруг оживает и воздух наполняется особым, пронзительным блеском. Озеро, подобное морю, вытекающая из него река и великое множество мелких озер в лесах – вся эта огромная масса воды отражает солнце и распространяет вокруг пронизывающее сияние. Тогда меняются и люди.

Однако сейчас Барсукову было не до погоды. Затихшая было боль возобновилась с новой силой. Суставы горели, в груди будто возился кто-то и сжимал временами сердце в огромной пухлой лапе, оглушительно стучало в висках. Ему казалось, что сейчас он потеряет сознание.

«Газик» выехал из поселка и помчался по берегу реки, которая в этом месте вытекала из озера сразу мощным, широким потоком. Барсуков видел на середине реки темный силуэт самоходной баржи и свой маленький катер, несущийся ей вдогонку. Ему показалось, что катер вот-вот врежется в баржу. «Что они делают? Идиоты! Семенов... Славный малый Семенов! Такие люди нам нужны. Интересно, женат ли он? Ленушка в девках засиделась... Лена... Лена! Это папа. Да, это я, старик. Девочка, я немного задержусь. Коллегия... Нестеренко... Товарищи! Меня просили быть кратким... Что? Почему у вас такие лица? Погибаем? Я погибаю? Налетим на баржу? Нет! Нет!»

Сидящий на заднем сиденье Сбигнев был смертельно напуган: товарищ Барсуков запрокинул голову и выкрикивает нелепые фразы:

– Колька, гони! Чего доброго, не довезем...

Шофер отжал сцепление и весело ухмыльнулся:

– Довезем, ничего! Жар у них большой. Ничего, мужик здоровый.

Больница находилась в километре от поселка в березовой роще: продолговатое одноэтажное здание барачного типа – восемь окон с марлевыми занавесочками по фасаду. Штат в больнице небольшой – полторы врачебных единицы и пять с половиной сестринских. Полторы врачебных единицы – это Вера Ивановна Горяева, год назад просто Верочка Горяева, выпускница Ленинградского мединститута. Когда привезли Барсукова, Веры Ивановны не было в больнице. В это время она храбро карабкалась на борт баржи № 4165: у жены шкипера начались роды. Через час, когда наследник шкипера мощным воплем возвестил о начале своей жизни, она вышла на палубу и вдохнула полной грудью мокрый воздух. С берега к барже направлялась лодка.

– Вера Ивановна! – крикнули оттуда. Она узнала больничного кучера Володьку Никанорыча. Он греб изо всех сил и весело орал: – Вера Ивановна! К нам министра привезли! Давай скорей!

– Какого министра, что ты мелешь?

– Право слово, министр из Москвы! Сбигнев уж телефон весь оборвал.

В больнице был переполох. Ходячие больные толпились в коридоре. Из дежурки доносились сердитые голоса Сбигнева и Клавы, дежурной сестры. Вера Ивановна, решительно стуча каблучками, прошла прямо в 3-ю палату: только там была свободная койка.

Барсуков лежал в полузабытьи. Он смутно видел женские лица и чувствовал прохладные пальцы, ползающие по его телу. Однако он сказал:

– Доктор, главное сейчас – пневмония. Начните с нее.

– Спокойно, больной, тише, – услышал он нежный женский голос, похожий на голос Лены. – Скажите, есть у вас боли в сердце?

- Очень сильные, доктор.
- Сжимающего характера?
- Да.

Вера Ивановна повернулась к Клаве:

– Начните сразу же пенициллин по двести тысяч через четыре часа, сделайте камфору и кубик пантопона... Нужно снять спазм коронарных сосудов, – добавила она.

Барсуков закрыл глаза, Все правильно. Славная девочка. Присутствие этого девичьего лица, темных кудряшек из-под шапочки как бы внесло атмосферу домашнего уюта и спокойствия. Если бы не боль, было бы даже приятно лежать в центре всеобщей заботы и чувствовать вокруг себя движение нежных и уютных существ.

Вера Ивановна долго еще сидела возле «министра», выслушивала фонендоскопом сердечные тоны и дыхание, измерила кровяное давление. После укола пантопона Барсуков уснул. Вере Ивановне понравилась его большая голова с седыми висками, крупные, волевые черты лица. Сразу видно: большой человек. Такими в кино последнее время изображают начальников, временно оторвавшихся от масс, а потом осознавших свои ошибки.

Она совсем забыла о Сбигневе и удивилась, увидев его в дежурке. Он поднялся ей навстречу:

– Ну, как, Вера Ивановна?

– Думаю, что все будет в порядке,

– Что вам нужно для лечения? Обеспечим. Может, консультанта вызвать из Ленинграда?

– Что же консультировать? Диагноз не вызывает сомнений. Вот на рентгене бы надо посмотреть, да вы же нам тока не даете.

– Ток дадим, обеспечим. А то, может, вызвать профессора какого-нибудь? Знаете, Вера Ивановна, товарищ Барсуков – очень, очень крупный товарищ!

– Да-да, я слышала... Как хотите. Вызывайте.

Человек болезненный, Сбигнев любил медицину и медицинских работников. Даже к этой девчонке, с которой у него не раз бывали стычки по хозяйственным вопросам, он питал определенное почтение. Поэтому он обратился к ней не тоном приказа, а мягко, даже просительно:

– Вера Ивановна, нужно окружить товарища Барсукова заботой. Это будет иметь большое значение для нашей пристани, да и для вас, пожалуй.

– О чем вы, Иван Сергеевич?

– Надо выделить отдельную палату. Я понимаю, у вас перегрузка, но...

– Куда же мне девать больных? Нет, я этого не сделаю.

– А нельзя ли кого-нибудь выписать? Есть, наверное, такие, что залежались? – Голос Сбигнеза достиг предела вкрадчивости.

– Нет таких, – отрезала Вера Ивановна и, стараясь не обращать на него внимания, принялась заполнять историю болезни.

– А я все-таки настаиваю на отдельной палате! – повысил голос Сбигнев. – Из третьей можно вынести три койки в коридор, ничего не случится с дедом Малофеевым.

Вера Ивановна отбросила ручку и подняла голову. Лицо ее пылало; голос стал звонким и ударил Сбигнева, как гибкий металлический хлыст:

– Как вы смеете? Распоряжайтесь у себя на работе! Там вы даже позволяете себе ставить беременных женщин на погрузку, а здесь я вам не позволю... Я врач! Понимаете? Мне безразлично, кто мой больной: министр, шкипер или лесоруб.

– Ну, знаете ли, ставить на одну доску лесоруба и товарища Барсукова!..

– А почему бы и нет? – запальчиво воскликнула Вера Ивановна. – Ведь это же товарищ Барсуков. – Она сделала ударение на слове «товарищ».

В голосе Сбигнева тоже появились металлические звуки:

– Я сообщу о вашем поведении в райком. Вместо того чтобы выполнять распоряжение, вы занимаетесь демагогией.

Вере Ивановне стало весело.

– Сообщайте куда хотите, но не забудьте про электричество.

Сбигнев схватил кепку и устремился к выходу.

К вечеру усилился ветер. Он налетел с юго-запада короткими теплыми шквалами и раскидал по небу и отогнал к горизонту серые северные тучки с их нудным моросняком. Небо очистилось, но с юга уже наплывала, поднимаясь все выше огромными клубами, темно-синяя могучая туча. Она, казалось, дрожала от страсти и еле сдерживаемой силы, она поглотила солнце и украсила свои края горячей оранжевой каймой, она была воинственна и шла напролом, занимая все небо. Но люди, звери и растения ждали ее атаки с радостью, потому что это была наконец-то настоящая летняя туча! Потемнело небо, и вода стала темно-синей, как туча. Стукнули по шиферу первые капли. Туча разверзлась молнией – радостно и плотоядно улыбнулась. Туча загрохотала – и сразу полились вертикальные сплошные струи настоящего летнего ливня. Шум стоял невообразимый. Туча оглушительно хохотала, дождь колотил по крышам, налетающий порывами ветер срывал водяную пыль. Буря!

Созвучные явления, видимо, происходили в организме Барсукова. Он метался на кровати, скрежетал зубами, выкрикивал бессвязные слова: организм мощно боролся с инфекцией. Клава

стояла в дверях палаты и смотрела на красного, потного Барсукова. Дважды она проверила пульс и один раз ввела камфору. Она решила не вызывать Веру Ивановну: она знала, что это хорошая буря.

Барсукова разбудил солнечный луч. Скосив глаза, он увидел в окне солнечное утро. Река, мокрая трава и березы – все это дрожало и отражало свет. На потолке плясали солнечные пятна. Барсуков поднял голову. Она оказалась легкой и настолько свежей, что он чувствовал корни волос. Он увидел свое тело, распростертое на кровати. Согнул руку и с удовольствием отметил, как вздулся рукав рубашки под напором бицепса.

«Все же крепкий я мужик, – подумал он. – Вот уже и здоров!»

Он согнул правую ногу. «Э, нет! Больно. Не так, как вчера, но еще есть. Ничего, завтра все будет в норме».

Он посмотрел вокруг. Веселенькая палата: белоснежные стены, печка-голландка, в углу – сверкающая лампа-соллюкс. Ого! Барсуков только сейчас заметил, что находится под внимательным наблюдением четырех голубых глаз. Встретившись с его взглядом, одна пара глаз юркнула под одеяло, а другая весело ему подмигнула. Обладателем ее оказался плешивый дед с громадной седой бородой. Подмигнув Барсукову, он выпростал из-под одеяла костлявые свои ноги, сел на кровати, завязал тесемки кальсон, сощурился на солнце, чихнул и сказал:

– С погодкой вас! Здравствуйте!

Затем сунул ноги в шлепанцы, встал во всем своем непотребном виде, вытаскивая из бороды запутавшийся в ней большой, с пол-ладони деревянный крест.

– Что, дед, из раскольников сам будешь? – спросил Барсуков.

– Из них, – охотно ответил дед. – Только еще во младости лет, как папаша на меня епитимью наложил, так я из дому и шастнул. Очень уж до гулянок я был охоч.

– И водку пил?

Старик захихикал, крутнул головой, махнул рукой на Барсукова:

– С малолетства.

– А кой же тебе годок?

– Девяносто третий.

– В больнице, чай, впервой?

– Впервой, и то, видишь, фельшар повалил глесту гнать широкою. Не распространяй, говорит, эпидемию, Малофеич.

Барсукову стало весело. Хороший дед, крепенький, как дубок, и весь лучится доброжелательством! Вскоре поднялись и другие соседи по палате: мрачноватый молодой детина и второй обладатель голубых глаз – мальчик лет двенадцати. Дед Малофеев отдернул шторку.

– А вон и наша Вера Ивановна бежит. Красивая девушка, – вздохнул он.

Барсуков поднялся на локте и взглянул в окно. По березовой роще бежала, прыгала через лужи Вера Ивановна в очень модном открытом платье с яркой пляжной сумкой в руке. Ее раскрасневшееся лицо с блестящими глазами было очень молодо. К ней, подхалимски крутя хвостом, бросился прижившийся при больнице пес Степка. Приподнял картуз кучер Володька Никанорыч.

Ей было весело сегодня, казалось, что этот день будет необычным и что сегодня что-то изменится в ее однообразной жизни. Вера Ивановна работала самозабвенно, стараясь не вспоминать то, от чего отказалась, уехав сюда. Свою работу

она любила больше всего. С утра до ночи в бегах. Больница, амбулаторный прием, вызовы, снова больница... Старики, дети, роженицы... Катары, пневмонии, переломы, дизентерия... Фонендоскоп, шприц, скальпель... Это сейчас составляло ее жизнь. Она не чувствовала себя отверженной, она была счастлива и писала домой восторженные письма. Но по вечерам, когда она видела на реке движущиеся огни «Онеги» – горящее чудо с зеркальными стеклами, с волнующим джазовым басом, – ей хотелось крикнуть:

«Подождите! Возьмите меня с собой! Я хочу быть с вами, стоять на палубе, танцевать под этот рокошущий ласковый бас. Ведь я еще молода. Остановитесь! Сейчас я плыву к вам. Подождите!»

– Здравствуйте!

Вера Ивановна, затянута в белый халатик, появилась в дверях палаты и сразу подошла к постели Барсукова.

– Ну, сегодня нам лучше? – профессиональным тоном спросила она.

– Благодарю, лучше, Вера Ивановна, – сказал Барсуков, и в глазах его мелькнули иронические искры. Черт возьми, точно такую же девчонку в Москве он называет Ленкой, и это она, его дочь, а здесь вот стоит Вера Ивановна, просто доктор.

Вера Ивановна присела на его постель, взяла пульс. Ей было немного не по себе: таких больных она еще не знала. Здешние жители: лесорубы, рыбаки, трактористы – не видели многоэтажных клиник, седобородых профессоров, сложной аппаратуры. Они верили ей, докторше из Ленинграда, и испытывали магический страх перед трубочкой фонендоскопа.

– Доктор, – сказал Барсуков, – я почти здоров. У меня к вам просьба. Дело в том, что товарищ

Сбигнев – кажется, так? – обещал мне устроить связь с Москвой. Я попрошу вас позвонить ему и сказать, чтобы мне сюда поставили телефончик.

– Это невозможно, – ответила Вера Ивановна.

– Почему?

– Во-первых, вам сейчас нельзя не только говорить по телефону, но даже и приподниматься. Еще неизвестно, может быть, у вас был инфаркт. Завтра Сбигнев даст машину, и мы съездим в район за электрокардиографом, проверим. А во-вторых, здесь же другие больные, вы должны понять.

Барсуков обозлился. Какой инфаркт? Что она, с ума сошла? Это же значит сорок дней лежать неподвижно. Здесь? Мысль о том, что он не сможет сделать доклада о своей поездке на коллегии министерства в следующий четверг, была ему невыносима.

– Да вы что? Инфаркт? Чепуха! – сказал он грубо. – Вы вот что... Когда «Онега» идет обратным рейсом?

– Дня через три будет здесь.

– Ну, вот что, забудьте вы о всяких там инфарктах и лечите-ка меня от ревматизма в ударном порядке. Салицилку в вену начинайте колоть. Прекрасный метод, мне в сорок втором делали на Чукотке.

– Нет, в вену не будем: в сорок втором у вас сердце было другое. Как вы не понимаете? Вы тяжело больны... Крупозная пневмония, обострение полиартрита плюс подозрительные явления со стороны сердца. По инструкции...

Барсуков вспылел окончательно. Она еще берется судить, какое у него сердце! Во всяком случае, оно не боится инструкций. В глубине души он понимал, что ведет себя нелепо, и по-детски, но все-таки закричал:

– А как вы не понимаете, что мне в следующую среду необходимо быть в Москве? По делу большой государственной важности!

Вера Ивановна густо покраснела, но сказала твердо:

– Это совершенно невозможно, я не могу рисковать.

– Боитесь ответственности? Я вам расписку дам! Вы еще молоды, а уже... – Он хотел сказать «трусливы», но сдержался.

«Действительно, черт побери, ты себя не щадишь, горишь – да-да! – на работе, а как часто приходится сталкиваться с косностью, равнодушием, трусостью! Замыкаются люди в своей специальности и боятся нос высунуть дальше рамок циркуляра. И эта девчонка ни черта еще не понимает, а бумажек уже научилась бояться».

– Я требую! – начал он.

– Успокойтесь, больной! Нюра, сними с больного рубашку, – хладнокровно сказала Вера Ивановна.

Оставшись без рубашки, Барсуков закрыл глаза в бессильной ярости. И вновь по его телу умиротворяюще поползли прохладные пальцы, мягко уперлась в ребро трубочка.

После обхода к нему подсел дедушка Малофеев:

– Ты, слышь, как звать-то тебя?

– Максим Сергеевич.

– Ты вот что, Сергеич, характер свой Вере Ивановне не показывай. У нас этого не допускается. Мужик ты, видать, справедливый, да заносчивый. Так вот, норов свой прячь: она тебе добра желает.

– Да дело-то, дед, государственное!

– Ничего, дело и без тебя пойдет, не пропадет государство наше. Куды ты сейчас поедешь на таких ногах? А Вера Ивановна, вон, видишь, –

дед кивнул на окно, – на прием уже побежала, в амбулаторий, а там у нее дитят больных куча визжит. Мужики говорят, у ей в Ленинграде папаша, может, чуть помене тебя шишка. Могла дома прохладаться, а вот приехала к нам в пустыню. Бескорыстная женщина!

– Идеализируете вы ее! – с досадой сказал Барсуков.

– Это верно, – охотно согласился дед.

Весь день Барсуков провел в терзаниях. Он знал, что его сомнения необоснованны, что Семенов все выполнит отлично, что коллегия может пройти и без него – доклад он составил еще в Петрозаводске, и что престиж ничуть не пострадает от его отсутствия, но такова уж была его закваска, закалка 20-х годов: отдаваться делу целиком, самому доводить все до конца, жать вперед, не обращая внимания на недуги свои собственные и окружающих. Мысль же о том, что он может на сорок дней оторваться от своего дела, выводила его из равновесия.

А за окном лениво плыл жаркий деревенский день. На реке перекликались бабы, стирающие белье. Пес Степка исправно отгонял коров от больничного палисада. В палату залетали бабочки.

К вечеру снова пришла Вера Ивановна, нерешительно подошла к Барсукову. Он лежал на кровати огромный, сопел носом, молчал. Вдруг загорелись лампочки – Сбигнев сдержал слово.

На следующий день приехал из районного центра молодой чернявый врач с аппаратом. У Барсукова сняли электрокардиограмму. Спустя некоторое время в палату вошла Вера Ивановна и сообщила, что, к счастью, ее опасения не оправдались: в стенке миокарда существенных отклонений от нормы нет.

– Я так и знал! – сердито буркнул Барсуков и закрыл глаза.

Он был рад как мальчишка и, когда Вера Ивановна ушла, даже замычал себе под нос какой-то мотивчик.

Вечером с почты прибежала девушка, принесла телеграмму: «Обеспокоены состоянием вашего здоровья. Пятницу вам вылетает профессор Казин. Доклад получен, поздравляем результатами. Нестеренко». Барсуков бодро черкнул ответ: «Необходимости приезде профессора нет. Дело идет на лад. Барсуков».

Как хорошо жить, когда в стенке твоего миокарда нет существенных отклонений от нормы, когда можно ворочаться в постели как хочешь! Взял, например, и перевернулся на живот, смотришь в окно на реку, по которой пробегают самоходки, на раскинувшуюся в отдалении ширь озера, на березы, залитые красноватым светом заката. С докладом все в порядке. Семенов, надо думать, добавил в устной форме все, что полагается. В конце концов, даже неплохо поваляться здесь с недельку, подлечиться, успокоить нервы, а то стал давать такие срывы. Нехорошо получилось с Верой Ивановной: накричал, нагрубил. Надо будет извиниться. Но все-таки в принципе он прав: бездушная она, по всей вероятности, особа. Да, он вспылит, но она-то... Инструкция! И не верит он в ее святость. Раз сидит здесь, значит, корысть какую-нибудь имеет. Периферийный стаж для аспирантуры или что-нибудь еще. Такая красotka! Молодежь теперь совершенно другая, уж это-то он знает. Расчетливые какие-то, трезвые, практичные. Размаха нет, широты взглядов, кипения. Мы старики, а моложе их. Тот же Нестеренко – вулкан, а не человек. А они? Даже его Ленка, уж на что милая девушка...

Барсуков брезгливо поморщился, отгоняя от себя воспоминание о том, как он по просьбе Лены «нажимал на педали» перед ее распределением. Отогнал – и успокоился и стал вспоминать прошлое: отряды ЧОНа, своего друга Ленку, раненного пулей из обрезка, погони и пожары.

Наш паровоз, вперед лети,  
В коммуне остановка... –

пропел он и смущенно кашлянул.

Другого нет у нас пути,  
В руках у нас винтовка, –

услышал он за спиной тонкий голос. Обернулся и увидел своего соседа по палате, мальчика Толю, который пел, блестя своими голубыми глазами.

Прошло десять дней. За это время Барсуков окреп, боли в суставах почти прошли. К концу срока он уже начал с палочкой совершать прогулки до берега и обратно. Вера Ивановна через день просвечивала его на рентгене, следила за тем, как рассасываются в легких пневмонические фокусы. Она была довольна обратным ходом процесса. Барсуков безмятежно отдыхал, вел длинные беседы с мудрым дедом Малофеевым, который, изгнав своего широкого лентеца, приходил теперь каждый вечер «проведать Сергеича»; пел песни с Толей, читал толстый современный роман «Зори весенние» и удивлялся: до чего ж нудно пишет, бес! Несколько раз навещал его Сбигнев, осведомлялся, не нужно ли чего, извинялся за неудобства, намекал на неуступчивый и зловредный характер Веры Ивановны, а в последний раз завел дипломатический разговор

о нуждах местной пристани, о нехватке того и сего. Единственное, что раздражало в это время Барсукова, – это холодно-вежливое обращение Веры Ивановны, ее каменное лицо в разговорах с ним. Она, видимо, сложила о нем определенное мнение. Он видел, что девушка все дни крутится как белка в колесе, слышал рассказы больных о ее добрых делах и злился, не имея возможности к чему-либо придрататься. Ленушка хоть откровенна, а эта притворяется, корчит из себя добрую фею здешних мест. Ханжа! Порой он чувствовал, что несправедлив, что виноват перед ней, но и это неосознанное чувство вины тоже вызывало раздражение. Он старался быть равнодушным, не думать о ней, но каждое утро со странным чувством смотрел в окно, ждал, когда замелькает среди берез яркое платье и пляжная сумка. «Что за блажь? – удивлялся он. – Вот уж поистине седина в бороду, бес в голову!» С женщинами у Барсукова всегда были простые, благородные отношения, которыми он гордился. Он презирал и ненавидел престарелых ловеласов. Он или любил женщин всем сердцем, как свою покойную жену, или относился к ним равнодушно. Сейчас Максим Сергеевич растерялся: он не мог разобраться в своих чувствах к Вере Ивановне. Да уж не... Она же ровесница Ленки! Чепуха!

В конце недели вдруг резко переломилась погода. Завыл северный ветер ошеломляющей силы. Он гнал в реку огромные массы воды, строчил короткими очередями дождя, вселял тоску в души людей. В такую ночь приятно лежать на койке в теплой, хорошо освещенной комнате, вести неторопливый разговор. Барсуков сегодня был доволен: ему удалось наконец разговориться с молчаливым детиной, соседом по палате. Это был Вейно Хемонен, карел. Оказалось, что он в свои 24 года страдает язвой желудка.

– Как же это ты успел нажить такую роскошь? – удивился Барсуков. – Водку хлестал?

– Нет, я непьющий, – ответил Хемонен. – Лесной я человек, третий год в лесу сижу, Питание плохое, консервы да консервы...

– А что ты там делаешь, в лесу?

– Газочурку сушу для дизелей. Ребятишки пугаются, думают, леший, а я школу механизации окончил.

– Да ну? Что ж ты этим занялся? Или нравится?

– Не нравится. Начальство посадило. Надо же кому-то газочурку сушить, трактористам помогать! Тракторы встанут – как лес на сплав вытацишь? А лес наш – слыхали? – на экспорт идет во все страны! За него нам золотишком платят.

Барсуков изумился: какой же государственный размах мысли у этого на первый взгляд дремучего парня!

Порывы ветра становились все сильнее. Под их ударами старенькое здание больницы поскрипывало, дребезжали стекла. Вдруг погас свет.

– Провода сорвал, – заметил Хемонен.

Барсуков распахнул шторку, и ему стало жутко. По черному небу стремительно неслись серые рваные тучи. В прорывах туч мелькала полная луна, озаряя все нереальным, зловещим светом. Березы угрожающе раскачивались, а река... Река была здесь, до странности близко. Она вздулась, выгнула хребет, шевелилась, как громадное чешуйчатое пресмыкающееся. По ее спине прыгали маслянистые холодные лунные пятна, она, казалось, надвигалась на больницу.

– Большая вода будет. Как бы не затопило нас, – озабоченно пробормотал Хемонен.

Барсуков взял костыль и пошел в дежурку, натываясь в темноте на кровати. Дежурная сестра

Клава сидела за столом и спокойно читала при свете керосиновой лампы.

– Клава, где Вера Ивановна? – спросил Барсуков.

– Дома, она сегодня отдыхает.

– Вот что, нужно эвакуировать тяжелых и новорожденных. Звоните-ка на пристань! – властно сказал он.

– Почему? Вы думаете... Что вы, Максим Сергеевич, у нас такая погода часто бывает. – Все же она взяла трубку, начала кричать «алло, алло», потом повесила. – Не отвечают, станция не отвечает.

Клава прикрыла лампу газетой, отдернула шторку и ахнула. Волны уже плясали свой дикий танец среди берез, метрах в десяти от больницы. Она схватила платок и выбежала на крыльцо. Здесь она увидела, что вода окружает больницу со всех сторон. Надсадно выл ветер, хлестал в лицо пригоршнями капель. Клава бросилась назад, схватила за руку Барсукова:

– Господи! Максим Сергеевич, что делать, миленький? Что делать?

В минуты опасности, а их было немало в его жизни, Барсуков сразу внутренне мобилизовывался. Мозг начинал работать холодно и четко, как механизм, тело становилось гибким. Он любил такие минуты. Быть может, они и есть квинт-эссенция жизни.

– Вот что, – сказал он. – Нужно зажечь все лампы, какие есть. Лежачих и родильниц мы перенесем на чердак. Вейно, беги, пока не поздно, за лестницей.

На чердак можно было попасть только снаружи, приставив лестницу к крыльцу. Вслед за Хемонном он вышел на крыльцо. Луна в этот момент спряталась. В крошечной тьме сквозь вой ветра он

услышал плеск. Это шел Вейно с лестницей на плечах. Вода уже заливала Барсукову подошвы. Подумав: «Эх, черт, все лечение насмарку!» – он шагнул с крыльца и оказался почти по пояс. Холод мгновенно пронизал всю нижнюю часть тела.

– Вейно, где ты? – крикнул Барсуков гулким басом.

А в это время по ревушей, разлившейся уже на несколько километров и затопившей почти весь поселок реке мчался катер. На носу его стоял в развевающемся резиновом плаще Иван Сергеевич Сбигнев. Видимо, в каждом из нас спит до поры до времени бесшабашный морской бродяга, тот, что в детстве пускал по лужам кораблики и сколачивал плоты из досок забора. Бесстрашный этот сорвиголова проснулся, очевидно, в этот час в запуганной и зябкой душе Ивана Сергеевича. Он мог бы находиться в рубке вместе с рулевым, но он стоял на носу, мокрый и поразительно возбужденный.

Катер, лавируя между затопленными берегами, приближался к больнице. Матрос шарил шестом дно. «Стой!» – заорал он вдруг. До больницы было метров пятнадцать. Осветили прожектором здание, и в желтом дрожащем свете Сбигнев увидел товарища Барсукова, Максима Сергеевича, по пояс в воде, с табельщицей Манькой Крюковой на руках. «Эх!» – отчаянно крикнул Сбигнев и вдруг прыгнул в воду, захлебнулся, встал – по горло – и пошел к больнице, подгребая руками.

В полчаса погрузка больных была закончена. Тяжелогруженный катер медленно выбирался из березовой рощи. Барсуков закричал в ухо Сбигневу:

– Где Вера Ивановна, что с ней?

– У Киреевых она живет, за школой, – ответил вместо Сбигнева матрос. – Лодки у них нет, вот беда! Может, на крыше сидят, а может, утопли.

Барсуков затряс его с бешеной злобой:

– Я тебе покажу утопли! Заворачивайте!

Катер пошел к поселку по тому месту, где раньше была мощенная булыжниками дорога. Зажгли прожектор. Он осветил рыхлое, зыбкое водное пространство. И вдруг Барсуков увидел на гребне волны взметнувшуюся руку и вслед за тем очень отчетливо белое, искаженное судорогой лицо с открытым ртом. Не помня себя, он бросился в воду.

Когда их втащили на борт, Вера Ивановна, стуча зубами, проговорила:

– Все целы? Слава богу! А я бегу, бегу... Вижу, дна нет!.. Поплыла... Ничего... У меня третий разряд по плаванию... Все равно доплыла бы...

Катер вышел на большую воду и, тяжело качаясь, пошел туда, где маячили огни судов, собравшихся к поселку по сигналу «SOS». И вновь на взметнувшемся гребне волны люди с катера увидели одинокого пловца. Это был больничный кучер Володька Никанорыч. Сейчас он сидел в своей углой лодочке, как бы высеченной из камня, словно вспомнил, что является потомком мужественного племени охотников и рыболовов, издавна обитавшего на этих суровых берегах. Ему закричали с катера, но он махнул рукой и налег на весла. Он шел на спасение пегого жеребчика Васьки, про которого, конечно, в сутолоке забыли. Ведь тот был государственным имуществом и одновременно его лучшим другом.

Барсуков взглянул на Веру Ивановну, на ее мокрое лицо с горящими глазами, и ему показалось, что он понял ее сущность. Ведь она переживает сейчас минуты, которых, наверное, ждала всю жизнь. Она просто-напросто романтически настроенная девчонка. И от этого открытия ему стало весело и тепло на душе. Он обнял ее за плечи, прижал к себе и пробасил:

– Замерзла, дочка?

К утру ветер утих, вода заметно пошла на убыль. В небе повисли вертолеты, по поселку сновали военные машины-амфибии. Размеры бедствия оказались невелики, человеческих жертв не было. В тех местах при каждом дворе имеется одна, а то и две лодки.

Барсуков собрался уезжать. Вечером за ним должен был прибыть катер из Ленинграда. Максим Сергеевич шел по деревянным мосткам вдоль улицы, направляясь в амбулаторию попрощаться с Верой Ивановной. Поселок жил своей обычной жизнью. Страшная ночь была давно забыта. Бабы гоняли гусей, визжали на реке ребятишки, гудел паром, перевозивший людей и скотину.

Больницу пришлось закрыть на ремонт. Временно 20 коек было развернуто в школе. Амбулаторию почистили и подкрасили сразу после наводнения. И вот Вера Ивановна снова сидит за своим столом и читает газету. Больных нет: начался покос, не до болезней. Перед ней «Вечерний Ленинград». В углу петитом: «Временное изменение трамвайного движения. К сведению граждан. В связи с ремонтом рельсовых путей маршрут № 18...» Маршрут № 18! Сколько на нем езжено-переезжено! Вот он идет по набережной Карповки, заворачивает на Петропавловскую... Здесь они ездили с Юркой, здесь же они и поругались. Окончательно! Навсегда! И он уехал в Якутию, а она – сюда... И ей уже двадцать четыре года. А через семь месяцев будет двадцать пять. И от Юрки нет писем...

Вошел Барсуков, взял газету, понимающе кивнул, взволнованно зарокотал:

– Слушайте, девочка. Сегодня я уезжаю. По-едемте со мной, а? Ну, я понимаю: молодость, ро-

мантика, мечты... Но хватит! Вам здесь не место. Я помогу вам устроиться в Ленинграде в клинике, будете заниматься наукой, как моя Ленка. Это ведь тоже очень увлекательно.

Вера Ивановна удивленно подняла брови.

– Что вы, Максим Сергеевич, как я могу сейчас уехать? Бросить все?

Она помолчала и тихо добавила, глядя ему прямо в глаза:

– А вы знаете, что до меня здесь два года не было врача? Приедет гастролер на месяц-другой – и нет его. И два года люди ходили к малограмотному фельдшеру. Разве это возможно в наше время, чтобы одних лечили кобальтовой пушкой, а других – клистиром?! Ведь эти люди своими руками... Вы сами все прекрасно понимаете. Прощайте, Максим Сергеевич, буду вам писать.

Барсуков широко шагал по улице, зло ругал себя. Что толкнуло его на эту невольную провокацию? Желание помочь Вере? Нет! Он знал, какой получит ответ. Нет, видно, он все же хотел его получить, чтобы наконец все понять. Эта девочка не только романтическая особа. Она, как видно, твердо считает себя подвластной долгу так же, как этот карел Вейно, как и он сам, Барсуков.

# АСФАЛЬТОВЫЕ ДОРОГИ

Ему было двадцать пять лет, и он ничего не умел делать. Не умел читать чертежи, выписывать рецепты, делать интегральные исчисления, лепить бюсты – словом, за четверть века он не сумел научиться тому, что должны к этому возрасту уметь молодые люди «из интеллигентных семей». Так думали его родители. Сам он иначе оценивал прожитые годы. За его плечами была армия, три года службы. Сорокакилометровые переходы, заплывы в полном снаряжении, ночные маршиброски – это что-нибудь да значит! Он узнал запах рабочего пота и настоящий вкус еды. У него были теперь сильные руки, мощные легкие и свежий мозг.

Глеб Поморин чувствовал уверенность в своих силах, и будущее открывалось перед ним, как залитая солнцем, кинжально-сверкающая после летнего ливня пересеченная местность. Ее нужно одолеть одним махом. Перебежками. По-пластун-

ски. Прыжками через размытые траншеи. И в штыки, во весь рост!

Родители пытались разбить его уверенность. Отец говорил речи: называл имена, цифры, оклады, ставки, рассказывал о сложных, непонятных отношениях. Мать, вздыхая, поведала ему о судьбе его однокурсников. Подтекст этих разговоров был ясен: жизнь, Глебушка, это тебе не армейские тренировки. Но дни, эти первые дни после возвращения, были по-весеннему суматошны, звуки родного города волновали сердце, и Глеб, выходя на улицу, сразу забывал нудные семейные чаепития.

Телефоны не отвечали или отвечали не то, что ждал от них Глеб. Кто-то женился, кто-то обменял квартиру, большинство уехало. Где вы теперь, мальчишки? Кирилл, Герка, Миша? Странно, прошло каких-то три года, а вот такие перемены. Рассеялись его друзья; исчезло то, что казалось таким прочным; куда-то разбрелись люди, без которых он не мыслил свою штатскую жизнь, своего города, Невского проспекта, весенних многообещающих вечеров.

Значит, все это было только игрой? Времяпрепровождением? Мальчишки стали взрослыми и, моментально забыв свои пустяковые дела, занялись тем, что сейчас им представляется серьезным и важным. Так в детстве от оловянных солдатиков переходят к «конструктору». Да, это так, если судить по себе.

После армии действительность раскрылась перед ним в новом, громадном значении. Раньше жизнь шла где-то стороной и казалась расплывчатой, как тени, мелькающие за шторкой кафе. Общество – десяток телефонных номеров. Интересы – «бугешник», записанный на рентгеновской пленке, потрясающая блондин-

ка, головокружительная вечеринка на даче в Репине. Вкусы, взгляды... Он улыбнулся, вспомнив свои стихи:

...я хочу любить марсианок  
знойной силой земной любви.

Вспоминались восторженные вопли приятелей. Споры до бешенства, до драки на первой выставке Пикассо. И снова кафе, дача. Бесцельное шатание по Невскому до ряби в глазах, до ломоты в костях. Выспренние разговоры об искусстве. Бледный рассвет, горечь во рту, пепельница, утыканная окурками, похожая на взбесившегося ежа. Верно, что жизнь развивается диалектически, скачкообразно. Развязка пришла неожиданно, как нападение из-за угла. Декан не знал подробностей, он сделал вывод на основании безжалостных данных зачетки. Переполох в семье, переполох в душе. Темные углы военкомата. Страх. Грохот эшелона. АРМИЯ! Нет, только добрым словом будет он вспоминать эту трехгодичную закалку сердца, воли, мышц. Кем он стал? Чудеса, да и только! Где его божественная бледность, мешки под глазами? У него лицо коричневого цвета и выгоревший бобрик каштановых волос. Где его чахлая спина, хлипкий задик, привыкший к мягким креслам? Где слой нездорового жирка? У него только кости и мускулы, а на широком плече болтается армейский мешок с нехитрым барахлишком. Итак, телефоны не отвечают. Ну и ладно! Город стоит в преддверии белых ночей. Начинается БУДУЩЕЕ.

Глеб Поморин, гулко стуча сапогами, дымя папиросами «Звездочка», пересекает Чкаловский и выходит в толчею Большого проспекта.

Это случилось сегодня утром. Отец отложил газету и сказал:

– Ну-с, Глеб, как планируешь будущее?

У него отсвечивали стекла очков, и Глеб вдруг как-то особенно четко ощутил, что его отец – видный юрист.

– Думаю работать, папа. И учиться. Общаться с людьми, с книгами, мыслить.

– Это все общие слова. Конкретней; где работать, где учиться?

«Чертов старый сухарь», – тепло подумал Глеб.

– Где работать буду, еще не решил, а учиться... Хочу поступить опять на филологический. На вечернее, конечно.

– Но почему же, Глебушка, на вечернее? – тихо спросила мать. – Мы бы уж как-нибудь протянули тебя еще пять лет.

Отец пыхнул трубкой, промолчал. Глеб улыбнулся.

– Хватит вам меня тянуть, мамочка, сам вытянусь.

Резко хлопнув ладонью по столу, вмешался отец:

– Брось это мальчишество! Тебе не восемнадцать лет, и ты прекрасно знаешь, что зарабатывать себе на жизнь и овладевать специальностью невозможно! Это все разговорчики для наивных! Сотней больше, сотней меньше, но ты все равно будешь на нашем иждивении, если хочешь иметь диплом! А диплом необходим, это хороший щит. Жизнь, мой мальчик, – запутанная, утомительная и опасная штука.

– Федор, зачем ты внушаешь ребенку такие мысли?

– Он должен знать, иначе...

– Глупости! – запальчиво воскликнул Глеб. – Ты думаешь, жизнь – это твоя консультация? Жизнь запутанная, сложная... Но это же интересно! Я не боюсь ее. Буду работать. – Он замолчал и обвел глазами комнату.

Как здесь красиво, привычно! Каждая вещь связана с детством, со всей жизнью. Он хотел сказать отцу, что, кроме житейских дрязг и юридических закавык, в мире есть еще кое-что. Лунные пятна в березовой роще, дрожащий огонек спички в крепких ладонях друга, какая-нибудь простецкая песенка, стихи, продирающие морозом по коже...

– Видишь ли, папа, у меня есть планы, о которых пока не хочу говорить. Чтобы осуществить их, надо быть в гуще людской. Поэтому я и ухожу.

Он прошел в свою комнату и вернулся в старой солдатской форме. Поцеловал мать, подошел к отцу.

– Будет трудно – все-таки возвращайся, – ворчливо сказал отец.

Глеб пробирается к щиту «Ленрекламы». Итак: «...две сугубо смежных», «...две в разных концах», «...продаются щенки эрдельтерьера», «...обучаю слепому десятипальцевому методу...» Ага, вот, «требуются»...

На следующий день Глеб уже работал на асфальтовом покрытии улиц Выборгской стороны, разгребал пористую черную массу, трамбовал ее ручным катком. Он оставлял за собой гладкую поверхность, которая дымилась, как брюки во время утюжки. Его рюкзак висел теперь над койкой в холостяцком общежитии. Соседи, четверо горластых парней, первое время как бы не замечали его, стучали в «козла», стакан за стаканом дули свирепый кипяток, который называли «белая ночь», закусывали колбасой и пряниками. Глеб понимал, что это невнимание нарочитое и парни на самом деле цепко держат его под наблюдением, но сам не решался завязать разговор, пересту-

пить грань, боясь сбиться на фальшивую ноту. Так всегда бывает, когда в обжитую, прокуренную комнату вваливается посторонний с неизвестными привычками, полностью незнакомый, вызывающий любопытство. Черт его знает, какими путями ходил он по миру, что его занесло в эту комнату, как он себя поведет и что это он там припиливает к стенке!

– Чей портретик-то, солдат? Извиняюсь, – прогудел низкий голос. – Знакомая как будто личность.

Возле кровати Глеба стоял, засунув руки в карманы, высокий рыжий парень в голубой майке.

– Это Александр Блок, – осторожно ответил Глеб. – Поэт такой был.

– Знаю Блока, хороший поэт.

...Революционный держите шаг!

Неугомонный не дремлет враг!

– Здорово! А я Маяковского уважаю. Никого больше не признаю, – заносчиво заявил, мотнув смешным хохолком, сидящий за столом юнец.

Так неожиданно Глеб был вовлечен в спор на любимую тему и еще раз понял, что не нужно подбирать ключи и приспособливаться и что лучший способ вступать в общение с людьми – это умение быть самим собой.

Утром его огрели подушкой, и кто-то над самым ухом проорал:

– Глебка, подъем!

Они работали в разных бригадах и встречались только по вечерам. Четыре вечера в неделю Глеб читал книги, статьи, зубрил английский по программе вуза. Ребята, узнав о его намерении держать экзамены в университет, «создавали обстановочку»: «козлиные» побоища были перене-

сены в красный уголок. Глеб сидел на койке, шептал английские идиомы, чертыхался и в конце концов доставал свой старый блокнот, просматривал записи. Здесь были веселые нелепицы, крутые словечки, цветистые метафоры, когда-то и где-то пришедшие в голову, целые сцены, рассказы бывалых. Перечитывая, он приходил в возбуждение; все это сплеталось вместе, вовлекалось в бешеную работу мозга, и казалось, вот-вот возьмись за перо – и польется готовая, отточенная продукция.

В такие минуты Глеб вскакивал с койки и уходил шататься. Шел пешком с Выборгской в центр.

Он никак не мог находиться по Ленинграду. Теперь, после долгой разлуки, город раскрывал ему свои тайны. Когда ежедневно проезжаешь по примелькавшимся улицам, здания, мосты, монументы теряют свое исходное значение и оборачиваются другой, обыденной стороной. Ну вот, например, Инженерный замок. Трамвайная остановка, следующая – Невский. Сейчас Глеб смотрел на это странное сооружение, на тусклое свечение шпиля и думал: вот логово бесноватого тирана, – и в ушах его стоял пронзительный, как экзекуция, свист флейты, и ему чудились механические взмахи сапог под крутящимся, как на шарнирах, стекловидным глазом императора.

Все его прогулки заканчивались всегда в одном месте. Стоячая вода канала похожа на запыленную крышку рояля. В ней отражается семиэтажная старая громадина. Через час начнут зажигаться окна, и может быть, осветится окно на четвертом этаже, возле водосточной трубы? Там в прихожей есть телефон. Единственный знакомый телефон, который он не потревожил после возвращения. Можно хоть сейчас зайти в подъезд и набрать номер. И услышать... Ну, наверное, удивленный голос ска-

жет: «Таню? Она здесь не живет. Что? Вышла замуж и переехала». Конечно, переехала: у них ведь тесновато. Может быть, даже в другой город. Неужели даже в другой город? Нет, он не будет звонить: это страшно.

Шел май, и в шуме и блеске его трудового дня Глеб забывал черные воды канала и окно возле водосточной трубы. Все шире разливались по Выборгской асфальтовые реки, окружая заводы, прорываясь в кварталы новых домов.

– Все же мне больше нравится дома строить, – говорит рыжий Сергей, – каменщиком стану непременно. И тогда... Хочешь, тайну открою, Глеб?

– Ну? – улыбается Глеб.

– Знаешь Нинку с третьего этажа? Видная такая брюнетка. Заберу ее и в Башкирию подамся, в нефтяные районы. Что нам здесь болтаться – ни кола ни двора, а там, говорят, такие коттеджи строителям выделяют – будь здоров!

– А она согласна?

– Ну! Просто в восторге! – Он понизил голос. – Хорошая она дивчина, скажу тебе по чести.

Подошедший Юрка уловил последнюю фразу, заржал:

– Ну и ребята у вас будут, Серега! «Красное и черное» – кино такое есть. Умру!

О тайне Сергея и Нины знало все общежитие.

– Иди ты к дьяволу! – добродушно говорит Сергей и уходит, втайне довольный; он любит разговоры на эту тему.

Юрка занимает его место:

– К Нинке побежал, пропал совсем парень, а вначале, знаешь, нам все травил: по комсомольской линии, говорит, знакомство вожу. Да, как дела, Глеб?

У Глеба сегодня превосходное настроение. Он был у декана, и тот сказал ему; «Три года назад,

дружок, когда ректор подписал приказ о вашем исключении, я надеялся, что вы снова к нам придете. Очень рад, что не обманулся».

– Отличные дела, Юрик, превосходные! Скоро на пляж мы с тобой поедем.

Они сидят в коридоре на подоконнике. Солнце ласковым жаром навалилось на их плечи, пронизало волосы. На улицах шалил еще ладожский ветерок, но здесь, на подоконнике, действительно создавалось пляжное настроение.

В конце коридора показалась высокая мужская фигура. Какой-то денди шел по общежитию – черный костюм, снежно-белая рубашка, сверкающие остроносые башмаки. И прежде чем Глеб узнал это загорелое лицо, эту неторопливую, уверенную походку, вошедший поднял руку с растопыренными пальцами.

– Глеб!

– Герка!

Они бросились друг к другу, обнялись.

– Как ты меня нашел?

– Твои старики дали мне след.

– Давно вернулся?

– Да, я здесь уже несколько месяцев.

Герка огляделся, неопределенно хмыкнул.

– Вот ты, значит, где закопался! Неплохо. Ну, – он отодвинулся от Глеба, осмотрел его с головы до ног, – молодчага, выглядишь первоклассно. Служба пошла тебе впрок.

– Тебе как будто тоже.

– Собирайся, дружище, о многом надо потолковать. А?

Одеваясь, Глеб пытался разобраться в своих чувствах. Радость? Конечно, подумать только!.. Герка, Геракл выплыл из небытия. Припелся откуда-то из прошлого своей развинченной походкой, поднял лапу, и как будто не было этих трех

лет, как будто не выгоняли их обоих из университета, как будто вот сейчас они сядут в Геркин «Москвич» и покатят куда-нибудь к Кириллу, у которого уже собрались ребята, кто-то тихо бречит на пианино, а Таня стоит у окна со своим странным, отчужденным видом. Ага, вот почему приход Герки вызвал у него какую-то смутную тревогу и неприязнь, да, пожалуй, неприязнь. Таня стояла между ними всегда, загадочная Таня, которая проводила время в их компании, но не давала к себе притронуться. И еще было что-то, что мешало им по-настоящему сдружиться, может быть, даже более важное. Всегда, когда они начинали спорить, дело доходило чуть ли не до драки. К счастью, спорили они тогда мало. Но вот прошло три года, и если Герка так же изменился, как он... Это даже любопытно.

Когда они вышли из подъезда, Глеб вздрогнул: напротив в тени стоял серенький «Москвич».

– Узнаешь старую лошадь? – засмеялся Герка. Он вел машину, как и раньше, уверенно и небрежно, одной рукой поворачивая баранку.

– На днях новую получаем. Папаша тут время даром не терял: квартиру получил и все такое. Кури!

Он протянул Глебу хрустнувшую целлофаном пачку «Пелл Мелл».

– Откуда это у тебя? – поинтересовался Глеб.

– Снабжает тут один деятель.

По Гренадерскому мосту они пересекли Большую Невку, выехали на Кировский и помчались к Неве.

– Куда везешь ты меня, Геракл, ужли на Невский?

– Невский проспект, Невский проспект, сколько приятных лиц...

– Помнишь, черт?

– Тра-ля-ля-ля, тра-ля-ля-ля, сколько дам и девиц...

Они посмотрели друг на друга и расхохотались.

– Ты видел кого-нибудь из наших?

– Здесь никого нет, все разъехались, одни мы с тобой остались, Глебка.

– А сигареты приятные. О Кирилле ничего не слышал?

– Эй! Сумасшедшая тетка, лезет под колеса. Кирилл? Где-то на Урале, многотиражкой ворочает. Неплохо мы жили, правда?

– Что ты говоришь? На Урале? Не думал, что Кирилл с места сдвинется.

– Ну! Я тебя больше удивлю: Мишка, наш Майкл, учительствует на Камчатке. Пишет, что доволен жизнью. Знаешь английскую поговорку: если не можешь заниматься тем, что любишь, люби то, чем приходится заниматься. Что-то в этом роде.

– Брось трепаться, я понимаю Мишку. Представь: Камчатка, школа, затерянная в сопках, оленьи тропы, просторы какие!

– Ложная экзотика! Ты всегда был... Смотри, таксёр, зараза, на обгон идет. Эх, ловкач! Помнишь парней из медицинского, Владьку, Лёху Максимова? Вот где экзотика – устроились врачами на суда дальнего плавания.

– Это здорово, но, между прочим, для врача погибель: работы-то нет никакой. Вот нашему бы брату филологу...

– Зато валюта, мин херц, шмотки навалом. Стоп, приехали!

Они прошли сквозь вертящиеся двери и поднялись в лифте на шестой этаж, в ресторан. Давно Глебу не приходилось бывать в таких местах. Зал был пуст: обеды кончились, а вечерняя пуб-

лика еще не собралась. Стекланный купол пропускал многоцветные лучи закатного неба. Через полчаса здесь зажгутся все огни, и неба уже не будет видно.

– Слушай, Герка. Может быть, выпьем в подвальчике и погуляем? – сказал Глеб и сам удивился своему тоскливому тону.

Герка склонился к его уху.

– Глеб, если ты насчет тити-мити, то не волнуйся: у меня сейчас водится презренный металл.

Он похлопал себя по карману и победоносно огляделся. Подошел официант, зажег настольную лампу, расставил приборы. Герка, не глядя в карточку, назвал несколько блюд, заказал большое количество водки.

– Я все-таки не понимаю, парень, – обратился он затем к Глебу, – как ты оказался в этом общезжитии?

– Это от горкомхоза, я там разнорабочим.

– О!

– Асфальтом улицы кроем, – уточнил Глеб.

– Твои старики отказались от блудного сына?

– Нет, я сам ушел из дому.

– Понимаю, поближе к жизни народа? Ведь ты писатель. Все еще грешишь, а?

Глеб с досадой поморщился. Почему-то ему не хотелось особенно откровенничать.

– Да нет, не совсем то... понимаешь... в общем, не совсем то, о чем ты думаешь.

Появился официант с каменным лицом жонглера, замелькал вокруг стола, крутя подносом, расставляя тарелки, наливая рюмки. Когда он исчез, Герка поднял рюмку, высокопарно произнес:

– За дружбу, за встречу на дорогах жизни, за нашу бурную молодость, которая еще не закончилась!

Они торопливо выпили три рюмки подряд. Оба чувствовали, что нужно сломать какой-то барьер, разделяющий их. По сути дела, и тому и другому казалось, что он сидит за столом с совершенно посторонним человеком, но они не хотели этому верить. После третьей рюмки Глеб тоже настроился патетически, разлил водку и провозгласил:

– Выпьем за счастье, Геракл! За большое счастье, которое нас ждет! Я верю!

Герка усмехнулся.

– Есть такие стихи, кажется, Киплинга:

Пусть за счастье пьют дураки,  
Мы выпьем за чудеса.  
За тех, у кого есть кулаки,  
Голова и паруса.

Вот что верно: удача, расчет, немного фантазии, в нужную минуту удар кулаком – и ты в дамках, – закончил свою мысль Герка.

– А труд?

– Труд! Смешно слушать! Люди трудятся, копят монету, мечтают о будущем, а я хочу иметь все сразу: дачу, машину, костюмы, девок. Вот счастье! И этого можно достигнуть, – он понизил голос, – даже в наших условиях.

– Велико твое счастье! – насмешливо процедил Глеб. – И какими же средствами ты собираешься его достигнуть?

– Любymi!

Глеб резко отбросил спичечный коробок.

– Перестань! Ты остался таким же мальчишкой. Даже странно: прошло три года.

Пронзительный, замысловатый вопль трубы вдруг полетел с эстрады, загрохотал барабан, энергично вступили саксофоны – началась вечерняя программа.

– Чудак ты, – сказал Герка, но вдруг улыбнулся и помахал рукой. Ему вежливо кланялись издали трое молодых людей. Стиляги не стиляги, но, в общем, чертовски элегантные ребята. – Обрати внимание на этих людей. Вот тебе иллюстрация к моим словам: мальчишки сами строят себе красивую жизнь. По мелочам, правда, работают, но хватка у них есть. Самые заядлые фарцовщики.

– То есть?

– Ты не знаешь? Как бы тебе объяснить... словом, культурные связи. Скупают у туристов, у моряков вещички разные: часы, пластинки, рубахи эти нейлоновые – в общем, стильную всякую утварь. Ну, и реализуют. Хочешь, познакомлю? Мне они делают скидку.

– Уволь, с дерьмом таким не хочу якшаться.

Герка откинулся на спинку кресла и внимательно посмотрел на Глеба.

– Дерьмо-то дерьмо, но это они пользуются благами жизни, а не твои работяги-чистяги.

– Да ты блатным, что ли, стал? – изумился Глеб.

Герка опрокинул рюмку и сразу же налил себе другую. Он перегнулся через стол и зашептал. Круглая его физиономия плавала в табачном дыму перед лицом Глеба, сощуренные глаза светились злым огнем.

– Мой милый, хочешь, я открою тебе карты? Ты ведь думаешь, что я вместе с тобой в армию загремел. Трижды ха-ха! Меня тогда научил один тип, золотая башка, неделю перед комиссией готовился, табачный лист жевал и всякое другое. Пришел с отеками, сердце, как испорченный дизель, отпустили вчистую. Месяц в ус не дую, продолжаю светскую жизнь. Вдруг повестка: видно, усомнился кто-то. В один день со-

брался, поцеловал свою милашку Эллочку Коппе – помнишь такую? – и махнул в Иркутск, на стройку. Ну, папахен здесь замял: мол, энтузиаст-романтик, с больным сердцем уехал по зову партии. Папенькина опека – это хорошо, но до определенного возраста. Теперь я сам тертый калач, хлебнул нашей прекрасной действительности, пообломала меня жизнь. Ну, вот устроился я там водителем в один трест, на первый класс сдал, между прочим. Сначала простачком был, не понимал, что к чему, потом добрые люди просветили. Подробностей тебе знать пока нечего, но только скажу, что бизнес я там сделал железный. В Питере труднее работать, но возможности и здесь есть. Нужно только быть настоящим мужчиной. Глебка, я тебя хорошо знаю, ты как раз такой малый, какой нам нужен. Не будь олухом, плюнь в эту асфальтовую кашу. Сколько ты имеешь? Ну, скажи: семь, восемь бумаг? Эти суммы вызывают у меня улыбку. Хочешь одеваться, как я, курить такие сигареты, в рестораны ходить? Мы уже не мальчики, надо самим думать о себе, сразу брать жизнь за холку. Праз! – Он неожиданно выбросил руку вперед и будто схватил что-то в воздухе. Губы его растянулись, обнажив крупные, как клавиши, зубы. – Мы не можем ждать милостей от природы, взять их у нее – наша задача! Если тебе не по душе Киплинг, то вот, пожалуйста, вполне марксистская формулировочка.

Он сунул в рот сигарету, чиркнул зажигалкой, жадно, глубоко затянулся. Только сейчас Глеб заметил у него на правой руке массивное граненое кольцо. При случае им можно выбить зуб или глаз. Глеб опустил голову, смял в руках салфетку. Это кольцо, окруженное розовыми валиками жира, прыгающее в такт джазовой мелодии, вызва-

ло у него противное ощущение. Он не мог его видеть, но еще больше он боялся взглянуть в Геркину рожу. Все же Глеб поднял голову и уперся взглядом в его глаза.

– Ну, собака, – медленно заговорил он, – теперь я тебя узнал! Ты сам разделся передо мной, я не толкал тебя на это. Сволочь! Парни там работали, строили ГЭС, а ты «левака» давал, бизнес делал. Болтаешь о мужестве. Мичурина цитируешь! Ты дезертир и проходимец!

– Опомнись, друг, – сказал Герка.

– Молчи! И меня хочешь затащить в свое болото? Нет, сэр, не выйдет. Я скорее... Неужели ты не понимаешь, что это я хозяин жизни, я, а не ты? Ты только уж – ползешь, прячешься, куснешь, а толку мало. А я иду прямо!

Герка не изменился в лице, только глаза его били в Глеба ненавистью.

– Здорово же тебя оболванили там, – проговорил он. – Лопух! Ты мне стелешь гладкую дорожку, а я по ней буду развивать скорость на своем голубом авто. Понятно? Посмотрим, кто дальше уедет!

– Далеко уедешь, факт. Куда Макар...

– Может, донести хочешь? А доказательства есть? Ты... – Он грязно выругался.

Теперь они сидели со сжатыми мускулами, вцепившись глазами друг в друга, готовые к бою. Герка сорвался, челюсть и щеки его задрожали, руки непроизвольно задвигались. Собрав все силы, он закрыл глаза, тряхнул головой и откинулся в кресло.

– Ну, ладно, – сказал он, – хватит. Поговорим о более приятных материях. О девочках. О Тане.

Он знал, куда нанести удар. Это был запрещенный прием, удар ниже пояса, грязная про-

вокация, и Глеб задохнулся от злобы, от омерзения и от желания узнать, узнать любой ценой, что Таня.

– Что Таня? – хрипло спросил он. – Где она?

– Здесь.

– Конечно... она замужем?

Герка ликовал, он наслаждался повергнутым Глебом и хотел закрепить победу.

– Была замужем, благодаря чему обладает сейчас изолированной жилплощадкой. Ведет рассеянный образ жизни и твоего покорного слугу тоже не обделяет своей благосклонностью.

Он улыбнулся и в тот же миг полетел на пол. К их столу сразу сбежались люди.

– Нокаут! – сказал какой-то моряк. – Я давно понял, что эти мальчики кончат свой вечер хорошим боксом.

Глеб бросил на стол деньги, растолкал толпу и быстрыми шагами пошел к выходу.

– Милиция! – кричали сзади. – Бегите же! Звоните!

.....

Он несся в густой толпе и бессознательно читал рекламы. Неоновые буквы разрозненно летели из сумрака, не складываясь в слова, троллейбусы и автобусы неотвратно надвигались светящимися угрожающими громадами, во встречном потоке мелькали шляпы, глаза, рты... На Невском царил хаос, как и в его потрясенном мозгу. Что, собственно, произошло? Киплинг. Сигареты. Таня. Голубое авто. Иркутск. Кольцо, которым можно выбить глаз. Благосклонность. Да, благосклонна... К Герке! Старомодное слово «благосклонность», так, верно, говорили лейб-улань. Нокаут! А! «Я уда-

рил его крюком под подбородок – и сразу нокаут. Удивительно!»

Глеб перебежал улицу и бросился на скамью в сквере у Казанского собора. Отыскал в кармане пачку «Авроры».

Надо разобраться. Итак, он нанес удар своему старому другу, когда тот рассказал о Тане. Но он ведь и сам подсознательно предполагал что-нибудь подобное. Конечно, Таня была только толчком, упоминание о ней помогло ему собраться с духом. До того момента его не покидало ощущение беззащитности перед лицом этой мощной скользкой гадины, навалившейся на край стола и гипнотизирующей его своими бешеными глазами. Теперь можно уже признаться в этом. Таня, Таня, связанная с Геркой, стала как бы искрой, воспламенившей запас ненависти. Он бил не соперника, а врага. Ничего себе, хорошее решение спора – удар кулаком! Какой там спор! Если бы Герка остался позером, каким был три года назад, можно было бы спорить. Нет, это уже вполне сформировавшаяся личность. Враг! И не только его: враг Сергея, Нины, Юрки, всего общежития, всего рабочего класса. Как же это произошло, черт побери? Ведь вместе сидели за партой, занимались спортом, вместе их принимали в комсомол. И потом эти первые студенческие годы – полное единомыслие, точнее, полное отсутствие мысли. Правда, и тогда что-то стояло между ними, но казалось, что это Таня. И вот через три года встретились двое взрослых мужчин и коротко выяснили отношения. Значит, он стелет ему гладкую дорожку, а все блага жизни достаются фарцовщикам, Герке? Ложь и идиотизм! Поклеп на жизнь. Спекулянты, ворюги, дезертиры – соль земли? Ха-ха! Они только хорохорятся, а сами дрожат от страха.

Глеб, иди своей дорогой, но помни, что в складках пересеченной местности таятся настоящие враги и тебе придется держать настоящий, а не тренировочный бой.

.....

Глеб выпрямился, отер с лица пот, расслабил руки. За эти два летних месяца они, дорожные рабочие, загорели до неузнаваемости. Он посмотрел на свою черную кожу, по которой текли ручейки пота, и подумал: жаль, после душа становишься значительно светлее. Снял с головы майку, обернулся. Результаты рабочего дня! Жирно блестящая асфальтовая лента тянулась через пустырь от квартала новых домов к началу Приморского шоссе. Подошел Сергей, их бригада работала в этот раз по соседству.

Они пошли рядом по обочине новой дороги, перекинув через плечо куртки.

– Когда экзамены, Глеб?

– Через неделю.

– Волнуешься?

– Конечно. То есть я думаю, что пройду: есть ведь льгота для демобилизованных, но все-таки, знаешь, сосет вот здесь. – Он хлопнул себя по животу.

– Ну, черт, пройдешь – такой сабантуй устроим! Всем общежитием, точно?

– Ясное дело.

– У тебя курить есть? Нет? Тогда я забегу в палатку, заодно шамовки какой-нибудь куплю. Ты иди, я догоню.

В задумчивости Глеб уже почти дошел до киоска «Пиво–воды», когда раздался сигнал автомашины, адресованный как будто прямо ему. Он поднял голову – на него катила сверкающая двух-

цветная «Волга». За ветровым стеклом отчетливо был виден развалившийся, улыбающийся ему Герка. Он остановил машину в двух шагах от Глеба и вылез. В снежно-белой рубашке с короткими рукавами, в новеньких брюках, цветущий, мордастый, он встал рядом с ним.

– Не просохла еще? – спросил он и мотнул головой на новую дорогу.

Глеб не успел еще осмыслить его появления, как вдруг заметил, что у него округлились глаза и взгляд с ужасом устремился куда-то в сторону. Глеб невольно обернулся и увидел несущегося к ним громадными прыжками Сергея.

– Держи! – завопил Сергей.

Герка уже сидел в машине и бешено крутил руль.

Сергей поравнялся с Глебом и рявкнул:

– Что стоишь, держи его!

Глеб, не раздумывая, бросился к машине. «Волга» описала полукруг и быстро стала уходить. Они бежали и кричали еще долго после того, как была потеряна всякая надежда.

И только когда машина, несущая на спине солнечную лужу, скрылась далеко за углом, они остановились.

– Ушел, – шептал, задыхаясь, Сергей. – Опять смотался.

– Ты что, встречался с ним раньше? – спросил Глеб.

– Приходилось, и при любопытных обстоятельствах.

Они сели прямо на обочине тротуара.

– Понимаешь, когда я был в Иркутске, – заговорил Сергей, – мне пришлось поработать в бригаде, в порядке комсомольского поручения. Шпану держали в страхе божьем. Как-то лейтенант дал нам особое задание. Дело в том, что в по-

селке одном таежном ограбили магазинчик, унесли самый дефицитный для тех мест товар – партию кожаных перчаток на меху, всего, кажется, тысячу пар. Органы правильно рассудили, что сбывать будут в Иркутске. Город большой, можно незаметно реализовать. И действительно, стали появляться на людях эти перчатки. Кто где покупал: на улице, в подворотне, на барахолке. По сто пятьдесят целковых драли, сволочи. Представляешь, каков бизнес! Ну вот, ходим мы по барахолке, пурга метет, а народу все равно до черта. Вдруг смотрю, парень стоит, такой громоздкий, в кожане и ушанке, и из-за пазухи тетке какой-то перчатки эти показывает. Я его за рукав. «Пройдемте», – говорю, а он меня сразу прямым в зубы – и бежать. Вот видишь? – Сергей приподнял губу, показал зуб из нержавеющей стали.

– Кольцом, наверное, – заметил Глеб.

– Да, что-то твердое было. Ну, бросились мы в толпу, я, еще двое наших и опер, а толпа бурлит как кипяток: видно, кореша его свару затеяли. Наконец выбрались, смотрим: он бежит к грузовику. Опер на мотоцикл, туда-сюда, мотор не заводится, а бандюга вскочил в грузовик и газа дал. Потом кое-кого взяли из этой компании, но Пана – они его «Паном» звали – след простыл. И вот теперь, – Сергей скрипнул зубами, – в «Волге» ездит, пакость, такую технику поганит. Идиот я, номера не посмотрел. Слушай, Глеб, а ты не заметил?

– А что мне замечать, – медленно проговорил Глеб, – я его прекрасно знаю. Да нет, знаю этого... Пана. Он мой «старый друг». И адрес знаю, и телефон, и номер ботинок, и мыслишки. Хочешь, в гости пойдём?

– А что толку, – простонал Сергей, – он теперь уже нырнул, ясно. Ушел, змеюка.

– Далеко не уйдет: земля горит под ногами. Не ездить ему по нашим дорогам.

– Это верно, но я сам его хотел, своими руками доставить. Ладно, пошли.

Они встали.

– Пива-то выпьем?

– Конечно.

И перекинув куртки через плечо, Сергей и Глеб пошли выпить по кружке холодного пива, настоящего вкуса которого вы не узнаете, не поработав как следует часиков шесть под июльским солнцем.

1959

# САМСОН И САМСОНИХА

Марк вышел на крыльцо, посмотрел на реку и закурил. Сидевшие на нижней ступеньке больные обернулись. Степанов (обострение хронического полиартрита, как всегда, ехидно сощурил свои медвежьи глазки.

– Что же это вы, доктор, лекции читаете о вреде никотина, а сами...

– Да-да, – сказал Марк и спустился с крыльца. Надо проверить, действительно ли Степанов пьет салицилку. Хитрющая личность.

– Домой, Марк Николаевич? – участливо спросил Петя Марютин (болезнь Боткина под вопросом).

– Да-да, – сказал Марк, – вот, как видите.

– Ну, счастливо.

– До свидания, товарищи. Соблюдайте режим.

Больные приподняли соломенные шляпы, а Марк лениво поплелся по дощатым мосткам к берегу.

«Ну вот, – думал он, – прошел еще один день. Раньше в Ленинграде с окончанием работы день только начинался. Нужно было все время смотреть на часы и куда-то спешить. Придумывал себе массу дел, а оказалось, что все это ерунда. Можно вполне обойтись работой, чтением и сном. И это не так уж нестерпимо. Человек ко всему привыкает».

Солнце жгло плечи. Впереди на мостках лежали две заскорузлые овечки. Бока их тяжело вздымались.

«Дорогу человеку!» – мысленно воскликнул Марк и с облегчением расхохотался. К счастью, он часто представлял себе в комическом свете.

«Куда же бросить свои кости? Куда же бросить свои... Поеду на ту сторону. Говорят, там красиво. Что ж, завалюсь где-нибудь на лугу и буду читать Багрицкого».

На пароме скрипела гармошка. Коренастый морячок фотографировал девчат.

– Шпокойно! Шнимаю! Шпортил! – кричал он.

Девчата хохотали. Увидев Марка, они перешли на тихое хихиканье и перешептывание.

«Как всегда, обсуждаются мои брюки», – решил Марк и подошел к знакомому шоферу Игнатию Ильичеву (хронический гастрит). Потолковали о желудке, о событиях в Ливане. Паром тихо покачивался. Наплывал висящий в стеклянном мареве «тот берег». Он был высок и лесист и скалист у подножия.

– ...А вымя у нее, матушки моей, затвердело, как доска, – жалобно повествовала незнакомая те-тушка, – видать, гад клюнул.

– Шпокойно! Шнимаю! Шпортил! – орал морячок.

Пыльная дорога круто шла вверх. По сторонам ее тянулись изгороди. Они кончались там, где начинался лес. Там гулял ветерок. Пятна све-

та и тень на траве были в движении. Марк свернул с дороги и пошел тропинкой по лесистому склону. Теперь его окружала сплошная замшевая хвоя, лишь кое-где прорезанная стремительными стволами сосен. Тропинка вдруг взяла куда-то вверх, запетляла и неожиданно вывела к краю провала, на дне которого стояла черная вода болотца. Над провалом висела выступающая из горы глыба гранита, как бы срезанная по вертикали взмахом гигантской лопаты. А на краю глыбы сидела, свесив вниз босые ноги, девушка. Она была выхвачена из лесного сумрака широким, будто специально направленным лучом. Лицо ее было запрокинуто, глаза закрыты, губы застыли в улыбке.

«Кто это?» – поразился Марк и крадучись полез по краю провала. Когда он откинул ветку и ступил на гранит, девушка вскрикнула и вскочила. Тонкая фигурка в коротком цветастом платье казалась брошенной на темный фон хвои несколькими мазками размашистого живописца.

– Здравствуйте, – сказал осторожно Марк. Теперь он узнал ее – это была учительница географии из семилетки. Как же ее зовут? Ах да – Клавдия Петровна. Как-то она приводила своих ребят на рентген. Кажется, она приехала сюда на работу одновременно с ним. Но почему он раньше не замечал, что она... ну конечно, она красива. Волосы распущены, падают на грудь, глаза – ого!

– Идеальная танцплощадка, правда? – Он обвел руками гладкую поверхность. – И даже со световыми эффектами.

Она молчала, искоса глядя на него.

– Я вас испугал? Простите. Можно мне тут побыть?

Они сели на край глыбы. Марк медленно полез в карман за сигаретами. У него было такое чувст-

во, что одно неосторожное движение вспугнет девушку, и она улетит, как лесная птица.

Учительница судорожными движениями увязывала волосы в пучок, шпильки, зажатые в губах, дрожали.

«Это жестоко», – думал Марк, украдкой глядя, как усмиряют золотистый водопад.

– Какая замечательная погода. Большая редкость для этих мест.

– Сегодня Самсон, – сказала девушка.

– То есть?

– Сегодня Самсон, а завтра Самсониха. В народе по этим дням предполагают лето.

– Значит, если эти два дня будут безоблачными, то и все лето будет таким же?

– Да. Это очень точно.

– Конечно. Я в это верю. Мудрость, собранная по каплям за века.

– Мудрость и поэтическое чувство.

– Да? Поэтическое?

– Да-да, смотрите – народ добавил к каждому имени в святцах яркие словечки: Василий-капельник, Авдотья-плющица, Федосья-колосница, Акулина-бузондунья...

– А это еще что такое?

– День появления оводов. Овод летит – б-з-з-д-д-н-н.

– Великолепно! Но Самсон с Самсонихой? Тут уж, по-моему, голый расчет. Отдаленный прогноз для покоса, молотбы.

– Не совсем. Считается, что кому в эти дни улыбнется счастье...

– Тот будет счастлив всегда! – воскликнул Марк с радостным чувством. Девушка улыбнулась.

– Во всяком случае, до следующего Самсона.

Марк смотрел на загорелое чуть скуластое лицо и едва сдерживал желание положить ей руку

на затылок, под тугой пушистый пучок, и глубоко заглянуть в глаза.

– Вы, значит, местная? – спросил он.

– Да, и родилась и жила здесь всегда. Только вот техникум кончала в Ленинграде. А вам, Марк Николаевич, нравится наш край?

Ему стало немного досадно оттого, что она назвала его по отчеству.

– Да я и не видел его, – ответил он. – За год первый раз из поселка выбрался. Работа.

Она вдруг схватила его за руку.

– Хотите, я вам покажу?

– Что?

– Все, нужно только подняться вверх.

Она вскочила, сунула ноги в босоножки, схватила кофточку и книгу.

– Бежим?

Они побежали по извилистой крутой тропинке. Девушка стремительно неслась впереди, изредка оборачивая к нему разгоряченное лицо. Марк спортивно работал локтями. Чем выше, тем прозрачнее становился лес, и наконец они выскочили на круглую, как набалдашник, вершину. Здесь росла только высокая трава и раскачивались на тонких ножках веселые пузатенькие желтые цветы.

– Это балаболки. – Она протянула ему несколько сорванных на бегу цветов. – Ну, смотрите!

С вершины открывался вид на громадное пространство. Оказалось, что поселок почти со всех сторон окружен водой. Девушка засемафорила руками.

– Это наша река. Это канал. Старинный. Еще Петр Первый путь на Волгу копал.

– Ну, это я знаю.

– А это наше море. Что? Чем не море? И берегов не видно, и штормы бывают страшные.

Марк знал это громадное озеро только по карте, на которой оно представлялось ему сравнительно большим, но все-таки только пятнышком голубой краски. Сейчас он был удивлен – действительно море. И лихтеры вон стоят такие же, как на Балтике.

– А вон видите, Марк Николаевич, на берегу круглую горушку? Она ведь пустотелая. Правда-правда. Это финны себе сделали в ней крепость во время оккупации. Мы там после войны жили – поселок-то весь сторел. А там, – она махнула рукой на северо-запад, – в тайге множество мелких озер и рек. Отсюда видны только Гим-река и Шум-озеро.

– Почему Шум? Шумит?

– Да, все время стоит странный какой-то шум. Необычайная роза ветров – дует со всех сторон. Вечная зыбь. Березки трепещут. Сосны гудят.

Марк больше не слушал объяснений. Он только смотрел на ее лицо, на глаза, на фигуру, залитую розоватым светом опускающегося за лес солнца. Она поймала его взгляд, смутилась и села в траву.

– Что вы читаете? – спросил он и потянулся за книгой.

– Ничего. Просто так, ерунда, – быстро сказала она и вырвала книжку.

– Вы открыли мне ваш внешний мир и не пускаете во внутренний. – Он усмехнулся своей тяжело-ватой шутке. Девушка бросила искоса испуганный взгляд и стала торопливо надевать кофточку.

– Надо возвращаться, – сказала она, вставая. Она вдруг стала чопорной и скучной особой в шерстяной чехословацкой кофточке. Что случилось? Чем он ее спугнул?

В лесу было совсем темно. Марк пытался шутить, но она едва отвечала. Когда они вышли на дорогу, он взял ее под руку. Она мягко, но решительно освободилась. Он примерялся и так и

сяк – ничто не помогало. В досаде он отстал на несколько шагов, закурил и посмотрел ей вслед. Сухонькая и прямая, она методично вышагивала по дороге. Трудно было поверить, что эта явная ханжа полчаса назад была гибкой, как ивовый прут, девушкой с горящими лукавыми глазами, что еще раньше она сидела в луче солнца с распущенными волосами и какая-то мечта бродила по ее лицу. И тут Марк догадался, почему он не замечал ее раньше, не выделил из всех. Вот именно это общее, «местное» выражение. При встрече любая девушка в поселке подождет губы и посмотрит мимо тебя нарочито безразличным взором, всем своим видом говоря: «Не воображайте, я не из таких». Ну нет, ты-то не возьмешь меня на эту пушку. Теперь я знаю, какая ты...

К счастью, на пароме никого не было. Стояли только два грузовика, шоферы спали в кабинах. Девушка подошла к перилам и безучастно отвернулась от Марка.

– Да перестаньте же! – почти заорал он. – Прощу вас. Что такое? Клавдия Петровна, ведь сегодня такой день... Самсон. Вы это учитываете? Скажите, почему вы так переменились?

Она повернула к нему лицо. Оно вдруг оказалось смущенным и совсем детским.

– Я боялась, что вы начнете обниматься. В Ленинграде все молодые люди...

Боги! Марк, обессиленный, присел на палубу, затрясся в немом старческом смехе. Девушка тоже смеялась вместе с ним, но только громче, на всю реку.

– Я дура, да? Да? – спрашивала она.

– Вы прелесть, – проговорил Марк, задыхаясь.

Через минуту они стояли рядом, облокотившись на перила, смотрели на закат. Марк, рассекая воздух ладонью, читал Багрицкого.

Через десять минут они спрыгнули на берег и пошли по улице, взявшись за руки. За их спинами из-за заборов выскакивали любопытные головы. Марк, рассекая воздух ладонью, продолжал читать Багрицкого.

– Вот мой дом, – сказала она. – Посидим?

Они уселись на лавочке, не разнимая своих рук. Марк махал рукой так, что ему стало трудно дышать. Через два часа, когда кончился медленный северный закат и началась белая ночь, Марк сказал:

– Какие виды на Самсонику?

– Судя по закату, она будет чудесной, – ответила она.

– Значит, после работы там же или на самом верху?

– Наверху.

– Ну и так как... в Ленинграде все молодые люди...

– Нет, – прошептала она, вырвала руку и убежала.

Наутро по поселку полетели слухи. Беспроволочный телеграф работал с полной загрузкой.

– Клавка-то Гурьянова – слышали? – с длинным доктором гуляет.

Длинный доктор тревожно поглядывал на небо. Нет, все в порядке – ни одного облачка. То же дрожащее марево. Березы дремлют. Скот неподвижно лежит в траве.

Марк быстро промчался по палатам, сделал перевязку послеоперационному больному, две намеченных на сегодня новокаиновых блокады. После этого он прошел в кабинет и стал торопливо записывать дневники. Может быть, удастся освободиться сегодня пораньше. С самого утра перед ним мелькали сцены вчерашнего дня. Он переворачивал страницу истории болезни и

видел прыгающее по камням цветастое платье. Он закуривал, и в дыму сигареты на него надвигались смеющиеся и какие-то беззащитные глаза Клавы.

Освободиться пораньше не удалось. К концу рабочего дня из леспромхоза привезли женщину, нужна была срочная операция.

К хирургии Марк относился со священным трепетом. Во время работы в операционной он забывал обо всем, что с ним было раньше, и не думал о будущем. Сейчас, ожидая Кулагина и прислушиваясь к глухому рычанию засыпающей под наркозом женщины, он смотрел в окно. Занавески еще не были задернуты, и было видно, как две тонконогие девчонки бежали по мосткам, распугивая кур.

«Это, наверно, Клавины ученицы, – думал Марк. – А через несколько лет они будут такими, как она. Будут мечтать и поджимать губы».

В операционную с поднятыми руками вошел Кулагин, торжественный и суровый, как магистр тайного ордена. Первый раз, когда Марк увидел его таким, он чуть не засмеялся. Но потом привык. В операционной Лука Васильевич всегда преображался. Здесь он ничем не напоминал тощего сорокалетнего бобыля, над чудачествами которого потешался весь поселок.

Операция кончилась через два часа. Обычно после таких сложных операций оба хирурга долго еще разговаривали в ординаторской, а потом шли вместе в кино или в чайную и почему-то не расставались друг с другом до позднего времени. Но сейчас Марк как угорелый вылетел из операционной.

Бросив халат на руки санитарки, он выбежал из больницы и устремился к берегу. До парома вдоль берега бежать минут двадцать, и когда он

еще пойдет – черт знает. Марк спихнул в воду чью-то тяжелую лодку, сунул весла в уключины и рывками погнал ее к высокому берегу. Придется пробираться через лес, напрямик.

Полчаса спустя, взмыленный, он выскочил из леса. На вершине медленно шли тихие волны, будто кто-то проводил гребнем по траве. Клавы не было. Он взлетел на самый верх и увидел ее. Она лежала в траве шагах в десяти. Ее тело, обтянутое пестрым платьем, заброшенные за голову голые руки, застывшая улыбка выражали полную безмятежность.

– Клава! – позвал он.

Она мгновенно вскочила на ноги – будто автоматически сработала внутри какая-то пружина, – увидела его и помахала рукой, щурясь от солнца:

– Привет, Марк!

Он медленно пошел на нее, замечая, как сгибаются под сандалетами балаболки. Клава смотрела исподлобья и с каждым его шагом все ниже наклоняла голову...

Тонкие бледно-зеленые побеги уходили в синеву, как невиданный нежный лес. Оказалось, что у подножия этого травяного леса кипит жизнь. Какие-то жучки, букашки, вспугнутые ими, теперь возвращались и носились по краю разоренного пространства. Марк перевернулся на спину, и Клава положила голову ему на плечо. Ее спутанные волосы пахли травой сильнее, чем трава.

Он вытащил из кармана сигарету, щелкнул зажигалкой и закурил. И тут же ткнул сигарету в землю – струя дыма, пущенная им в поднебесье, напомнила что-то из прошлого. Он всегда курил после этого так, как курят разные замечательные парни в кино. Нет, сейчас это ничем не должно быть похоже на то, что было раньше, с другими.

Нужно переждать. Еще несколько ударов сердца, несколько вздохов...

– Клава, – сказал он, – милая птица...

Она вздрогнула, подняла голову, и вся осторожность мигом слетела с него. У нее были смеющиеся, лукавые глаза.

– Марк, ты веришь в приметы? Ты... – она погладила его лицо, – ты красивый.

– Ну да? Я красивый? Вот новость!

– Правда-правда! У нас многие девчонки по тебе вздыхали. Но ты же гордый – никуда не ходишь. Вот и не знал.

– То есть как это никуда не хожу?

– Ну, в клуб.

– А ты ходила в клуб?

– Редко.

– Почему?

– Потому... потому что ты туда не ходил.

Он приподнялся на локте.

Клава смотрела на него храбро-храбро.

– Тебе бы знаешь, – проговорил Марк, – тебе бы шест в руки, и чтобы ты с шестом стояла в лодке.

Она засмеялась.

– А я хочу на байдарке. У меня второй разряд по байдарке.

– Нет, не на байдарке. На какой-нибудь старой лодке, на челне...

Солнце закатилось за лес. Темный бор вытянулся неровной волной, как вырезанный из жести. Темный бор, русский, древний, напоминающий сказку о Коньке-Горбунке. Над ним снова горел закат.

– Как будто разлили банку марганцовки, – сказал Марк.

– Посмотри, – протянула руку Клава, – это длинное облачко похоже на республику Чили.

Марк взглянул на фиолетовое облачко.

– Правильно. А в середине, где сияние, столица – Монтевидео.

– Не Монтевидео, а Сантьяго. Не знаешь географии.

Они повернулись спиной к закату и стали спускаться с холма. На востоке белая ночь уже опустила свои прозрачные шторы. В сумраке по каналу шел тральщик, сигналил ратьером.

– Ты хотела бы жить в Чили?

– Нет. Побывать хотела бы, а жить нет.

– Ну, а в Москве, в Ленинграде, в Одессе?

– Ах, мне очень хочется поездить и посмотреть весь белый свет. Ведь я же географ.

– Нет, а жить, жить в громадном городе? Смотреть по вечерам сверху на огни, блуждать по улицам, заходить в рестораны? Театры, выставки, матчи! Неужели не хотела бы жить там со мной?

– Марк, разве ты уедешь? – спросила она с неожиданной тоской.

Он опустил голову:

– Не знаю. Теперь, когда ты, для меня все прекрасно – и эти домишки, и овцы, путающиеся под ногами. Но еще вчера я был на пределе. Не мог. Не привык я к этому. Застойная тихая жизнь. Сколько у нас тут жителей? Тысяч пять, шесть? Всех уже знаю в лицо и половину по имени. Тридцать процентов женщин прошло передо мной, понимаешь, negliже. А со временем будет и все сто – профилактические осмотры. Невозможно жить в таком маленьком поселке и знать все его болячки. Ведь я не только доктор...

– Ну, а если ты полюбишь... не только меня, но и всё? Наши реки, озера, поселок, людей. Понимаешь? Ведь можешь же ты полюбить все это.

– Я уже люблю, потому что это ты.

Река, горящая зеленым огнем, и темная куча поселка были у них под ногами. Клава задумчиво шла вниз, резкими машинальными движениями ломая прутик.

– «Застой», – сказала она. – Посмотрел бы ты в сорок пятом. Одни трубы торчали. А сейчас вот все отстроились, школа есть, больница. На пристани порталные краны стоят. Клуб у нас паршивый, правда, но сейчас решили новый строить, большой, со спортзалом. В будущем году подстанцию пустят – ток пойдет от магистрали высокого напряжения. Тогда и телевизоры можно будет покупать.

– Я переменял много мест, – проговорил Марк. – Города мелькали перед глазами. Сначала война. Эвакуировались из Киева. Попали на Дальний Восток. Потом Фрунзе, Свердловск. Николаев, Ленинград... Отец был армейским врачом. Вот только Ленинград крепко зацепил меня за сердце. Или это годы были такие, студенческие.

Клава остановилась и прижалась к нему.

– Ничего, милый. Ты полюбишь и наш край. – Она засмеялась. – Будешь старожилом. Мужики тебе будут говорить: «Здоров, Николаич! Как твоя старуха?» Правда?

– Да-да, – грустно сказал Марк. – Вероятно.

Почему-то он представил себе эту Клавину сценку зимой. Все в шубах и валенках, а он в фетрах. И Клава идет из школы, закутанная и совсем не такая, как сейчас. Ему не хотелось зимы.

Они выбрались на берег, нашли похищенную лодку и столкнули ее в воду.

– Выкупаемся? – спросила Клава.

– Что ты! Вода еще очень холодная.

– Вот и хорошо – мне нужно охладиться, а то я в тебя уж очень влюбилась. Отвернись!

Она бросила платье на камень и смело, одним махом, вбежала в воду. Марк взял платье, маленький теплый комочек, понюхал его, и в голове помутилось от нежности. Буду старожилом! Буду хоть пещерным человеком. Здоров, Николаич! Как твоя старуха?

Прощались они на этот раз недолго.

– Не провожай меня, – сказала Клава, – завтра встретимся там же.

В последний раз поцеловав ее, он бодро пошел домой. Он стучал каблуками по доскам и насвистывал негритянскую песенку.

Он снимал комнату в диковинном домике на берегу. Давно уже председатель пристанского месткома приставал к нему с предложениями занять двухкомнатную квартиру в новом, единственном в поселке трехэтажном доме. Марк медлил, посмеивался, благодарил. И он сам, и хитрый предместкома прекрасно понимали, что такая квартира к чему-то обязывает. А Марку хотелось сохранить ощущение временности своего пребывания здесь, поэтому он и возился как слон в шестиметровой комнатенке, хранил книги, белье и даже продукты в чемоданах.

Подойдя к калитке, Марк пошарил рукой сбоку на заборе – щеколда была с секретом – и проник во двор. Хозяева – дисциплинированное семейство старого речника – пили чай на веранде.

– Добрый вечер, – сказал Марк приветливо. Ему хотелось поговорить сегодня с этими славными людьми, которые превратили свой дом в смешной и загадочный ящик, хотелось, чтобы они пригласили его к столу.

– Марк Николаевич, вам почта.

– Да? Интересно.

Он вошел в дом и боком мимо печки пробрался в свою комнату. Конечно, опять зацепился пле-

чом за гвоздь. Надо будет завтра пойти посмотреть эту квартиру в новом доме. Обязательно. Интересно, от кого письмо? Где же лампа, черт побери? Фу ты, где же она?

Так и не найдя лампу, он достал карманный фонарик и направил луч света на стол. В мутном желтом кругу он увидел большой конверт со штампом наверху – «Ленинградский научно-исследовательский институт...». Он усмехнулся и полез в чемодан за новой пачкой сигарет. Он знал, что там, в этом конверте, – замаскированное округлыми словами «иди ты к черту». Месяц назад по объявлению в «Медработнике» он послал документы на конкурс в этот институт, описал свои работы в студенческом научном обществе. От этой жизни и не то взбредет в голову. Почему это именно он, Марк, деревенский лекарь, пройдет в этот всемирно известный институт? Мало ли в Ленинграде талантливых и преуспевающих парней? Детские мечты.

Он затыкнул пару раз, сунул сигарету в рот и рванул конверт: «...сообщаем Вам, что дирекция и Ученый совет института одобрили Вашу кандидатуру на должность младшего научного сотрудника отделения экспериментальной патологии».

Вот это да! Померещилось, что ли? Нет, все верно – «...одобрили... на должность...». Боже мой! Целый шквал счастья! И неожиданно, как всегда. Ну и день!

Он снова схватил письмо и впился глазами в текст. Внизу, ниже подписи, была приписка: «Рекомендуем прибыть для оформления в самый кратчайший срок».

Марк быстро вышел на веранду и обратился к хозяину:

– Борис Егорович, когда ближайший пароход на Ленинград?

Все изумленно уставились на него.

– «Шексна» сейчас стоит на пристани, – хозяин вынул часы, – через пятьдесят минут отвалит.

– Ах черт! А следующий?

– Следующий только через два дня будет.

Два дня и двадцать часов хода до Ленинграда. А за это время какой-нибудь прохиндей завернет в институт и... Знаем, как это делается. Недаром же они пишут «рекомендуем». Еще могут пересмотреть. Иначе писали бы «просим». На «Шексне» завтра к вечеру можно быть в Ленинграде. Взять такси. Успею до закрытия!

Марк круто повернулся, вбежал в свою комнату, вытащил чемодан, свалил туда какие-то вещи, быстро пересчитал деньги, надел пиджак. Не отвечая на вопросы хозяев, он пробежал через сад и устремился к больнице.

Кулагин жил во дворе больницы во флигеле. Марк ворвался к нему в тот момент, когда он, окончательно ожесточась в холостяцкой мерзости своей комнаты, привычным движением сдирал сургуч с поллитровки.

– Лука! – крикнул Марк с порога и бросил на стол письмо. – Смотри!

Кулагин взял бумагу, прочел и печально взглянул на Марка.

– Ты уже с чемоданом?

– Да, бегу на пристань. «Шексна» стоит. Расчет по почте. Что головой качаешь? Прошедших по конкурсу удерживать не имеют права. Я законы знаю.

Кулагин встал, быстро хлебнул из горлышка и подошел вплотную к Марку:

– Хочешь водки?

– Только скорей.

Марк выпил полстакана, вытер губы рукавом и торопливо сказал:

– Ты понимаешь, там большие дела делаются. Наука... Я тебе напишу. Прощай!

Они обнялись. Марк бросился к двери, распахнул ее и, задержавшись на мгновение, сказал:

– А здорово мы с тобой здесь оперировали. Просто здорово, Лука.

В окно Кулагин видел, как Марк пробежал к квартире шофера. Пять минут спустя «санитарка» выехала из ворот больницы.

«Через год он забудет мое имя», – подумал Кулагин и резко, как бы набравшись мужества, повернулся лицом к своей комнате.

«Шексна» – трехэтажная плавучая вилла – сияла широкими стеклами и белизной окраски. Это был экскурсионный теплоход, но иногда его пускали и по пассажирским линиям Северного пароходства.

Марк поднялся на самый верх – свободные места были только в первом классе. Отражаясь сразу в нескольких зеркалах, он прошел по коридору, нашел свою каюту, бросил туда чемодан и вышел на палубу. Все. Завтра он будет в институте. На пристани возьмет такси и... Проспект Обуховской Обороны, потом выезжаем на Старо-Невский... Площадь Восстания. Дальше или по Невскому – боже мой, Невский! – или можно через Литейный мост, Гренадерский... Какое там оборудование, в этом институте! Он видел раз в киножурнале. Электронная техника, изотопы... Кажется, там кто-то работает из их выпуска. Снова настоящая жизнь, настоящий ритм. Люди, люди, множество лиц, множество оригинальных идей, острых слов. Надо будет сшить новый костюм. Самый модный. Мравинский взмахивает палочкой, мощные волны Пятой симфонии идут по залу. А он, Марк, как в студенческие годы, на галерке. Нет, теперь уже внизу, в партере. Как-ни-

как научный сотрудник. Младший. Ха-ха, сегодня младший, а завтра... А в общем, это ерунда – новый костюм. Нужно будет много работать, варить котелком. Конечно, трудно придется сначала. Пока овладеешь методикой, наладишь контакт с людьми, то да се... С пропиской, наверное, не будет трудностей. Надо будет снять комнату где-нибудь на Петроградской, на проспекте Щорса или на Карповке. Эстрадные концерты в «Промке»... Раз в неделю, нет – раз в месяц...

Он пошел на корму и заглянул в окно ресторана. Там было пусто, только у буфета что-то подсчитывала молоденькая крашеная официантка. Он вошел в ресторан и обратился к ней:

– Можно у вас водки выпить?

Она удивленно и заинтересованно посмотрела на него.

– Вообще-то можно.

– А в частности?

– А в частности мы уже закрылись.

Марк легко улыбнулся. Ему было приятно смотреть на официантку, на ее прическу и фасон платья.

– Вы сами из Ленинграда? – спросил он.

Официантка кивнула, но тут же заметила:

– Буфет уже закрыт, ничего не отпускают.

– Я тоже ленинградец, – снова улыбнувшись, сказал Марк.

Официантка ответила ему довольно откровенной улыбкой.

Внизу загудели турбины, судно качнулось. Марк вышел на палубу. Теплоход быстро удалялся от причала, на котором стояли безучастные и громоздкие грузчики. Теплоход сделал поворот, и пристань осталась за кормой. Открылась светящаяся в прозрачной северной ночи водная дорога. На горизонте в густой синеве краснел глазок бакена.

«Черт, в этой спешке не успел сообщить Клаве», – подумал Марк.

Эта мысль пронзила его как ток, но он постарался перевести ее в бытовую интонацию. Не беда, он сообщит ей завтра. Прямо с ленинградской пристани даст телеграмму. Да она и сама узнает. Завтра весь поселок будет знать. Но он все равно даст телеграмму и в тот же день напишет письмо. И будет писать ей каждый день, каждую неделю. Она не обидится, она же умная девочка. Она придет к нему, и они будут жить вместе на проспекте Щорса или на Карповке...

– Хорошее будет лето, – услышал он рядом женский голос.

Близко от него стояла, опершись на перила, официантка. У нее было усталое и не очень молодое лицо.

– Откуда вы знаете? – резко спросил Марк.

– А я уже второй год на этой линии стою. Все местные приметы знаю. Сегодня Самсониха, а вчера был Самсон...

Стиснув зубы, Марк большими шагами ушел на корму. Самсон и Самсониха, думал он. Прогноз счастья на целый год. Она проснется завтра утром и первым делом посмотрит на небо. На небе не будет ни облачка. О, как бы я хотел, чтобы завтра было безоблачно!

Теплоход, бурля винтом холодную ртуть реки, выходил на фарватер.

# СЮРПРИЗЫ

Записи! Достает Л.Соколов. Герка все знает.

Что получится, если ежа женить на змее? Ответ:  
два метра колючей проволоки.

Ее зовут Людмила Гордон. Ого!

Современный стиль «бибон» связан с именем головокружительного Чарльза Паркера.

Татьяна, ты роковая женщина.  
А ты болван!  
Сама дура.

В понедельник комсомольское. С занесением  
в личное, как пить дать.

Мраморный зал. А 0-00-04.

Выпивон – Герка, закуски принесут девочки. Музыка притащат медики, дух взаимопонимания внесу я.

Мне тошно.

Констебль и Тернер похожи на импрессионистов, а жили гораздо раньше.

Художники хорошие у англичан, мощные писатели, а композиторы? Не знаю ни одного. Узнать!

Блок писал, что для того, чтобы понимать лирику, надо самому быть «немного в этом роде».

Позвонить Соколову насчет записей.

Кирилл, смотаемся в перерыве?

?

На «Плату за страх»?

Михаил лежал с ногами на диване и читал свою старую записную книжку, которая неожиданно обнаружилась в ящичке письменного стола. Кажется, мама за эти три года не притрагивалась к его бумагам. Михаил шевелил пальцами босых ног и улыбался. Веселое было время. И когда все вместе, и с девушкой, и грусть даже была веселой. Идешь один, тошно тебе, тучи грозятся на горизонте, и вдруг струя какого-то особенного ветра или запах мокрых листьев на бульваре – и тебе хочется рвануться и побежать-побежать-побежать... И бежишь как бешеный (хорошо, что еще не зажгли фонарей), заскакиваешь в телефонную будку, вынимаешь вот эту записную книжку и, услышав чей-то голос, начинаешь басом читать стихи, а сам смотришь стеклянным взглядом за чер-

ный контур Ленинграда и, холодея, чувствуешь, что там море. Сейчас все как-то иначе. Время прошло, прошла юность. Сейчас идет молодость. Зрелая молодость, хе-хе-хе. И вот спустя три года ты садишься к своему старому письменному столу и находишь в нем все так, как было. Стол стоит, словно памятник твоему прошлому. Не рано ли тебе воздвигать памятники? Но все-таки это очень приятно, что здесь все так, как было. Это очень чутко со стороны мамы.

Михаил отложил записную книжку и обвел глазами комнату. В зеркале, висящем на прежнем месте, отражались голые ступни и раскрытый чемодан. Михаил прилетел в Ленинград несколько часов назад. В ушах его еще стоял грохот и свист невероятной дороги. Самолет Певек–Магадан, самолет Магадан–Хабаровск, самолет Хабаровск–Москва, самолет Москва–Ленинград. Двадцать четыре часа грохота и свиста! Неистовая техника двадцатого века проволочка его через весь континент и сбросила на старый диван, который равнодушно и радушно принял в свое лоно хозяина, маменькина сынка Мишу, стильного малого Майкла, двадцать пятый номер факультетской баскетбольной команды. Словно и не было этих трех лет. Откуда может знать старая рухлядь про эти три года? Старая, дореволюционная, выцветшая, пообтрепанная рухлядь? Давно пора все это выбросить отсюда и заменить современной мебелью. Старые друзья нашей жизни! Милые добрые памятники юности!

Зазвонил телефон. Чутко со стороны мамы, что даже телефон она оставила здесь. Когда-то Михаил потребовал, чтобы телефон из бывшего кабинета отца был перенесен к нему в комнату. Он объяснил, что телефон необходим ему для

«творческих консультаций». Тогда они вдвоем с Кириллом писали киносценарий. И это действительно было очень удобно: не вставая с дивана, он мог трепаться с Кириллом, и с Людкой Гордон, и со всем городом, с кем угодно.

– Алло!

– Старик! – завизжал в трубку Кирилл.

– Это ты, старик? – изумленно спросил Михаил.

– Конечно, старик, это я.

– Боже мой, это ты!

– Ну да, старик.

– Это ты, старик, черт тебя подери!

– Ты не помешался, старик, после перелета? – заботливо спросил Кирилл своим удивительным ребячьим голосом.

– Прости, старик, последнее письмо я получил от тебя с Урала, поэтому я и был поражен сейчас.

– Последнее письмо! – засмеялся Кирилл. – Это было больше года назад, и ты, конечно, не ответил.

– Я ответил. Месяца через три. Ночевали в Усть-Маёе, и я настроил тебе целое послание, шедевр эпистолярного жанра.

– Хорош ответ! Я получил его через полгода в Питере. Ребята с Урала переслали мне его сюда.

– Какого же черта ты не отвечал?

– Как раз собирался ответить, старик.

Они захохотали. Михаил легко представил, как трясется от смеха его толстый друг, обжора и выдумщик. Наконец Кирилл собрался с силами:

– Слушай, старик. Мне вчера Антонина Сергеевна сообщила, что ты везешь свои кости обратно, и я уже все обдумал.

– Ты уже все обдумал! – восхитился Михаил.

– Все до мелочей. Собираемся у меня в восемь. Постараюсь, чтобы были все старики, все, кто

сейчас в городе. Есть кое-какие сюрпризики для тебя.

– Выкладывай сейчас.

Кирилл немного помолчал.

– Сам увидишь. Итак, сэр, без церемоний, просто в смокинге, ровно в восемь. Тряхнем старинной, а?

После Кирилла позвонил Глеб Поморин. Оказалось, что он уже знает о сборище у Кирилла.

– Я к тебе сейчас приеду, и пойдем вместе, – предложил Михаил.

– Ладно, приезжай. Только я теперь не там живу.

– Где же?

– Ты помнишь адрес Татьяны?

– Танькин дом? Еще бы не помнить. Что? Ты теперь там живешь? Давно? Два года уже? Сын уже у вас? Черт бы вас побрал, старики!

Михаил повесил трубку и стал надевать ботинки. Он испытывал странное чувство, похожее на ревность, хотя никогда не ухаживал за Танькой и никогда... Нет, однажды на вечеринке он попытался ее обнять, но это было просто так. Ему тогда казалось, что все девчонки в него влюблены. Получил по щеке. Очень был расстроен, а через пять минут целовался с Людой на балконе. А Кирилл стрелял в них из водяного пистолета. В тот вечер все словно с ума посходили. Надо будет отыскать Люду, но это потом.

Михаил оделся очень тщательно (пусть не думают, что на Севере одичал), поговорил с мамой (ну конечно, мамочка, до развода мостов обязательно. Правда, я повзрослел и поумнел. Да-да, завтра собирай всех родственников, отдаюсь на растерзание), вышел на улицу, посмотрел, как разъезжаются такси со стоянки, вдохнул всей грудью ленинградский воздух (о да, это ленинградский воздух!) и пошел по проспекту.

«Я люблю этот город, – подумал он, – и пойду по нему пешком».

Идти было как-то странно, он не понимал отчего, а потом догадался: руки не заняты ничем. Он уже отвык ходить со свободными от ноши руками. Он долго шел, пока не вышел на набережную канала, где высился серый Танин дом. Пошел к дому, с удовольствием стуча каблуками по старым каменным плитам, и тут увидел Таню. Она шествовала навстречу и катила перед собой детскую коляску. В коляске стоял и смотрел вперед, как капитан, маленький Поморин. Таня, как и раньше, была очень модно одета. Михаил остановился. Татьяна равнодушно прошла мимо.

– Здорово, мать, – сказал он.

Она вздрогнула и обернулась.

– Мишка!

И бросилась целоваться.

«А раньше-то не разрешала дотронуться», – подумал он, целуя ее.

– Познакомь с Глебовичем, – попросил он.

– Ваня, это дядя Миша, – сказала Таня.

– У-у, – грозно сказал малыш.

– Это он тебя пугает. Он всех незнакомых сначала пугает.

Михаил протянул малышу шоколадку.

– Ты с ума сошел! – закричала Таня. – У него всего три зуба, а ты ему шоколад. – Она посмотрела на этикетку. – Съем сама.

Они сели на гранитную скамейку. Стали есть шоколад и болтать.

– Ну, как живешь?

– Как тебе сказать? Как и все.

– А Глеб?

– Учится на заочном, на следующий год кончает. Ты его не узнаешь. Он такой стал... не такой, как был. Еле уговорила его уйти из рабоче-

го общежития. Вот видишь, ты даже не знаешь, что он там жил. Только когда я, – она нарисовала пальцем в воздухе, – только тогда он переехал к нам. Тесно, из-за этого и ругаемся, наверное, – закончила она задумчиво, глядя в сторону.

– Танька, а разве вы с Глебом раньше?..

– Да. Он мне писал стихи.

– Кто тебе не писал стихов? Я тоже писал.

– Ты только издевался надо мной. И в стихах тоже. Ведь у тебя же не было ко мне ничего серьезного. Правда, Мишка? Нет, ты скажи прямо.

– Конечно, не было, – сказал Михаил.

Появился здоровенный неузнаваемый Глеб. Минуты две Глеб и Михаил хлопали друг друга по спине и мычали нечленораздельное. Потом вышла Танина мама и увезла Ваню. Малыш помахал Михаилу ручкой. Супруги Поморины покосились на Михаила. Тот изобразил восторг. Он знал, что маленькими надо восторгаться.

– Ты все-таки надел этот галстук? – ядовито спросила Таня у мужа.

– Да, я надел этот, – твердо ответил Глеб и посмотрел на нее.

Второй сюрприз сразил Михаила. Это была Людмила Гордон в очень широкой блузке, которая, однако, уже ничего не могла скрыть. Люда открыла им дверь Кирилловой квартиры и, увидев Михаила, сразу же покраснела. Поморины прошли вперед, а Люда и Михаил с минуту молча смотрели друг на друга, оба красные. Потом Михаил подошел к ней и поцеловал в щеку.

– Видишь, какой я стала уродиной, – сказала Люда.

– Чудачка, что может быть прекраснее этого? Ты лучше скажи, кого мне надо было в свое время пристрелить на дуэли?

– Его. – Люда качнула головой в глубину квартиры, где слышался ослепительный тенорок Кирилла.

«Так, – подумал Михаил, – значит, он неспроста стрелял тогда в нас из водяного пистолета».

Пышущий, сверкающий, сверху напомаженный, снизу лакированный Кирилл влетел в прихожую, словно шаровая молния. Он сразу кинулся на Михаила и смял его дружеским напором. Он сразу смял какую-то гадость, которая стала подыматься в Михаиле.

– Ну, как ты находишь мою уродину? – закричал он, широким жестом демонстрируя Люду. Но когда они пропустили Люду вперед и пошли за ней в комнаты, Кирилл надавил Михаилу на плечо и прошептал: – Старик.

Словно плеснуло чем-то влажным и широким (то ли музыка, то ли водопад), когда Михаил вошел в комнату и все уставились на него. Друзья, приятели, девочки, черти полосатые. Переженились и ждут детей. И всем он дорог. Все пришли сюда из-за него. Нужно будет следить за собой, а то еще разревусь. В комнате было человек двадцать, не меньше. Друзья филфаковцы, художники, Ласло Ковач почему-то здесь оказался, а из медиков только Сашка Зеленин, а вот и «просто девочки» – Сима, Клара, а эта... Как же ее зовут?.. Помню только, что познакомилась с ней в Одессе, она ныряла с аквалангом.

Все окружили Михаила и стали с ним целоваться. Его целовали и лупили, хватали за костюм (какие ткани, ребята! Мишка-золотишник приехал!). Кто-то совал рюмку. Михаил опомнился, когда поцеловал совершенно незнакомую девушку.

– А это, между прочим, моя жена Инна, – растерянно сказал Сашка Зеленин.

– Что ты говоришь! И тем не менее! – закричал Михаил, оттолкнул локтем Сашку и еще раз поцеловал его жену. Кругом захохотали. Сомнений не было – приехал тот самый Мишка, которого все помнили и любили.

Сначала все пошло по-старому. Кто-то танцевал. Кокнули пару пластинок. Изнемогая, острил Кирилл. Борька, как всегда, сразу «накирлялся», и аквалангистка вывела его на балкон.

«Ясно, они муж и жена», – с некоторым раздражением подумал Михаил, снял пиджак и сделал стойку на руках, а потом обратное сальто. Он сделал это для того, чтобы показать, что он тот же самый, кого все знают и любят, молодой, свободный, неженатый... Но почему-то ему стало после этого неловко. Он надел пиджак и отыскал взглядом Сашину жену Инну. Та улыбнулась ему так, как улыбаются детям.

И только за столом стало выясняться, что вечер не получился. То есть это был оживленный, веселый вечер, много музыки, много вина, остро-ты сыпались и новые анекдоты, и уже зашумело в голове, но – это был не тот вечер. И в промежутках между общим смехом Михаил слышал со всех сторон разное.

Л ю д а. А где ее достанешь, хорошую? Нет, Миша, извини, мне нельзя ни капли.

Т а н я. Подождала бы ты полгода, я бы тебе отдала Ванькину коляску.

З е л е н и н. Мы сейчас работаем с аппаратом «сердце-легкие».

А к в а л а н г и с т к а (*тихо*). Постыдился бы, вести себя не умеешь. Посмей только. (*Громко*.) Клара, вы все-таки решили купить эту финскую спальню?

К и р и л л. Книжка выходит в начале следующего года. Обещают приличный тираж.

А Глеб почему-то сидит чужаком и рассеянно слушает Сашку.

– Глеб! – крикнул ему Михаил. – Твое здоровье! – И приподнял рюмку. Глеб улыбнулся застенчивой и рассеянной улыбкой – прежний Глеб.

– Почитаешь что-нибудь новое? – спросил Михаил.

Глеб покачал головой так, что можно было больше не спрашивать. Это было выше понимания: раньше после трех рюмок Глеба нельзя было удержать – читал и читал.

– Туго было на Севере, Миша? – спросил Сашка Зеленин.

«Вот кого я люблю, – подумал Михаил, – его и всех тех медиков».

– Тише, друзья! – крикнул Кирилл. – Сейчас нам Мишка будет рассказывать о Севере. Расскажи нам, Миша, про медвежье мясо, про торосы, про самородки, про бандитов и про чистый спирт.

Все зашумели.

– Расскажи нам про мясо!

«Спешу и падаю», – подумал Михаил и сказал басом:

– Мясо. Дайте мне колбасы.

Наш, наш прежний, добрый, старый Мишка.

– Спирт. Налейте мне коньяку.

Тот, тот самый, молодой, веселый, неженатый...

Вечер не получился. После ужина это стало особенно ясно. Общество разбилось на кучки, и везде разговаривали о диссертациях, или о книгах, или о картинах, о финской мебели, об уходе за новорожденными и о жилищной проблеме. А когда подходил Михаил, разговор прерывался и говорили:

– Майкл, расскажи нам о мясе.

- О золоте.
- О торосах.
- О бандитах.
- О спирте.

И заранее смеялись. А потом все вроде пошло хорошо. Кирилл сел к пианино, пели «Через тумбу» и «Чаттанугу», «Наши зубы остры», «Шар голубой», «Безобразия».

- Пойдем, старик, потолкуем, - сказал Кирилл и повел Михаила на балкон.

Черный контур города на фоне бледно-зеленого неба напоминал горную цепь. А огоньки окон там словно горные аулы. Внизу, прямо под балконом, дико заскрежетал трамвай. Он шел с островов и был полон молодежи.

«О трамвай! Я люблю тебя за то, что у тебя нет пневматических дверей. Таких, как ты, мало осталось».

- Тебе немного не по себе, - сказал Кирилл, - я вижу. Как ни говори, а оторвался ты от всего этого. Правда?

«Ты везешь мою любовь, старая колымага. Тащишь ее с островов, откуда уходят яхты, где байдарки уложены на берегу, словно сигары, где шумит асфальтированный лес, где урчит и рывкает стадион, тащишь через весь город мимо темных домов, каждый из которых словно целая поэма, тянешь ее над Невой, малыш, такой самоуверенный и гордый, будто не можешь свалиться в воду, и бочком вокруг центра тащишь ее все дальше, в дымную и шумную страну окраин».

- Пора, старик, нам перемениться. Все это прекрасно, наша юность. Приятно вспомнить прошлое, но ведь нам уже двадцать шесть лет...

«Ты деловой и рассеянный - вон ты что-то рассыпал. Кучу серебра и фосфора. Или это ты

приветствуешь меня на прощанье? Ты такой, такой, такой... Я могу заплакать из-за тебя, носильщик моей любви, потому что не видел тебя три года, потому что я выпил лишнего сего дня».

– ...Да-да, старик, начинается наше время. Мы в таком возрасте, когда надо выходить на активные позиции жизни. И сейчас особенно важна дружеская спайка.

– Это верно, – пробормотал Михаил. – Что верно, то верно.

Трамвай скрылся за углом. Уже появился со стороны островов новый, но это был другой трамвай. До Михаила дошло.

– Слушай, старик, – воскликнул он, – ты здорово сказал! Ты сформулировал то, о чем я последнее время думаю.

Кирилл довольно усмехнулся.

– Мы с тобой всегда находили общий язык.

– Вот именно, возраст такой, – продолжал Михаил. – Я словно подхожу к какому-то барьеру. Перемахнешь его – и все изменится, и сам станешь другим.

– Неужели ты еще не перемахнул барьер? Подумай, может быть, уже?

– Не знаю. Вряд ли, – задумчиво сказал Михаил. Ему доставлял большое удовольствие этот разговор. Он любил серьезные и не совсем отчетливые беседы.

Кирилл обнял Михаила за плечи.

– Дружище, я ведь на год раньше тебя вернулся и сейчас, кажется, крепко встал на ноги. Книжка очерков скоро выходит. Везде меня уже знают. Думаю, что скоро попаду в штат... (он назвал крупную газету). Тебе теперь легче будет. И ничего тут нет такого. Это закон дружбы. Ух ты, Мишка, – задохнулся он от радостного возбуждения, –

мы с тобой теперь развернемся. Можно тот сценарий наш двинуть. Как ты думаешь?

– Можно, конечно. Почему бы нет, – пробормотал Михаил.

Он не мог даже представить себе, что снова сядет за тот сценарий.

Весь длинный путь до дома он прошел пешком.

«Почему я не сказал Кириллу, что собираюсь вернуться туда? – думал он. – Ведь мы всегда были откровенны друг с другом. Люда пришла на балкон, поэтому я и не сказал. Эх... если бы я написал ей хоть одно письмо с Севера, может быть, все было бы иначе. Глупости, ничего не могло быть иначе. Раз что-то произошло, значит, иначе и не могло быть. Герка стал бандитом и сидит в тюрьме, а Глеб – передовик производства, студент-заочник и Танин муж... Сашка Зеленин – ученый-хирург. Разве могло быть иначе? Кирилл – журналист, очеркист, оптимист и муж Люды. Все изменилось, и дело вовсе не в должностях. А я? Что со мной стало? Перешагнул ли я через барьер?»

Он пришел домой, открыл дверь своим ключом и, сняв ботинки, бесшумно, как кошка...

– Мишенька, что ты там уронил? – крикнула мама.

...прошел к себе. Повалился на диван. Раскрытый чемодан так и стоял возле дивана. Старая записная книжка лежала на столе. Михаил сунул руку в чемодан и вытащил блокнот, исписанный от корки до корки там, на Севере.

Сопки без конца. С самолета все это выглядит как бесчисленное стадо верблюдов.

Ни дня без строчки. Стендаль.

Маркшейдер Иванов, обогатители Петров, Сидоров, экскаваторщик Бурокобылин взяли на себя обязательства...

В обстановке огромного трудового подъема горняки прииска «Золотистый»...

Я называю героями не тех, кто велик мыслью или силой, но только тех, кто велик сердцем.

...Где нет великого характера, там нет великого человека, там только идола, изваянные для низкой толпы. Ромен Роллан.

Сколько можно заседать, Женька? Терпенье лопается.

Не устраивай истерики. Лучше выступи сам и дай им жизни.

А что! Сейчас выступлю. (Половина листочка оторвана.)

Может ли вегетарианец полюбить женщину?  
 Ответ: может, если женщина ни рыба ни мясо.

Отвечая на благородный почин тружеников Индигирского управления, коллектив прииска «Буранный»... Я лопну от злости из-за этого языка. А напишешь иначе о том же – режут!

Я никогда не вел дневника и никогда не буду вести. Это первая и последняя запись, что бы там ни было. Почему меня сейчас потянуло к карандашу? Потому что я еще жив, черт побери! Игоря уже не потянет к карандашу. Да его, собственно, и никогда к нему не тянуло. Его тянуло к спирту и к знаменитой красавице «Машке с бензоколонки». Интересно, подумал ли он о ней в последний момент? Боже мой, я никогда этого не забуду! Да

разве сможет кто-нибудь из тех, кто выберется отсюда, забыть это? Раз в Ленинграде мы зажгли свечи и стали трепаться о том, кто какой выбрал бы способ переселения в мир иной. Я сказал «авиационная катастрофа», и все со мной согласилось. Потому что это захватывающе! Дурачье! Что мы знали об авиационных катастрофах? Но я видел это, видел – и пока еще жив, вот ведь удача!

Я сидел рядом с Игорем. Мы словно висели в вате. Ребятам в фюзеляже было наплевать на туман. Они слышали шум моторов и знали, что машину ведет Игорь. Валялись на мешках. Кто спал, а кто трепался. Не знаю, случилось ли что с приборами или что-то случилось с Игорем, но вдруг прямо по носу появилось и мирно надвинулось на нас что-то серое и огромное. Я увидел рот Игоря и его бешеные глаза. Он притянул меня вплотную и проорал: «Влопались! Беги в хвост, Мишка!» – и вышвырнул из рубки. Когда я покатился по мешкам, ребята чертыхались. Самолет чуть ли не встал на попа. Мы все кучей ворочались в хвосте, и я видел только чей-то вылупленный глаз и рот с plombированным зубом. В последний момент соседа вырвало прямо мне в лицо.

Игорь сделал все, что мог, но он уже ничего не мог сделать. Теперь, когда остатки проклятого тумана, словно клочки шерсти, висят кое-где на вершинах сопки, я вижу, куда мы тогда попали. Мы прошли по коридору прямо в котел. Как это случилось? Друг Игорь, спи спокойно – следователю теперь до тебя не добраться.

Мы все переломали кости, и нас разбросало по склону. У меня, кажется, сломана только нога. К утру сползло к обломкам самолета восемь человек. Потом мы с Костей приволокли Сидорова и грузина, не знаю, как его зовут. Кажется, он уже готов. Нет, пошевелился. Сколько народу

погибло сразу, я до сих пор не знаю. Видел только Игоря и радиста. Ну, а мы, оставшиеся? Мы съели почти все, что у нас было. Связи нет. Жечь уже нечего. Лежим кучей в шалаше из обломков самолета. Четвертый день. А солнце как горит над этой белой страной! Нет, я не проклинаю эту страну. Я люблю ее, хоть... она и переломала мне кости.

Все-таки я что-то делал здесь, я, Мишка-корреспондент, известный всем шоферам колымской трассы. Я видел здесь настоящих людей и писал о них дубовым языком дубовые заметки, но все-таки писал о них. И если я останусь жив, я буду писать о них, но не так, как раньше. А если нет? Сейчас я буду писать, пока не подохну. А летом, когда эта сопка зарастет брусникой... Нет, мы будем живы, ребята! Сейчас я всех вас растолкаю и покажу – смотрите, там, по руслу замерзшего ручья, бегут две собачьи упряжки.

Костя стреляет в воздух.

Это орочи, я узнаю их по одежде...

1959

# С УТРА ДО ТЕМНОТЫ

Иногда меня охватывает отчаяние. Иногда мне становятся противны мои любимые мыши, кролики и даже обезьянка Стелла. Видеть я не могу в такие дни свои суперфильтры и сверхсовременные термостаты.

Мне хочется хватить кулаком по столу, выйти из лаборатории, насвистывая: «Лечу я, ого!» – распахнуть дверь в кабинет шефа, крикнуть «Гуд бай, пузанчик!» – потом спуститься вниз, в отдел кадров, хватить кулаком по столу, забрать свою трудовую книжку и выйти на волю.

Где-то люди занимаются парусным спортом и подводной охотой, и снимаются в кино, и поднимают вверх самолеты, и играют на саксофонах. Масса парней моего возраста занимается великолепными делами, а я... А я бесконечно вожусь с мышами, с кроликами, с обезьянкой Стеллой, колю их иглой, некоторых убиваю, дрожу над жизнью других, делаю срезы, записываю показания приборов.

А Степка Черкасов, которого выгнали за академическую задолженность еще с четвертого курса, сейчас играет в футбольной команде мастеров. Изъездил весь Союз, был в Англии и в Италии. Одет как дипломат.

Ну хорошо, мне все понятно. Как говорит шеф на собрании научных сотрудников института: «Задача, равной которой по благородству нет, стоит перед нами. Человечество ждет, друзья!»

Это верно, человечество чего-то ждет от нашего шефа. Но ждет ли оно чего-нибудь от меня? Я титрую мышей и фильтрую культуру и каждую неделю отношу результаты – даже не самому шефу, а одному из его заместителей. Правда, через месяц мне обещают дать тему диссертации, но что это будет за диссертация?! «Наблюдения над некоторыми изменениями некой субстанции при некоторых условиях». Добросовестная компиляция, список протудированной литературы, какой-нибудь жалкий опыт. Сдвинется ли с места воз хотя бы на микрон от всех моих трудов? С таким же успехом на моем месте мог бы сидеть Степка Черкасов, а я, думаю, был бы неплох на его месте инсайда.

Говорят, эпоха гениальных одиночек прошла. Нельзя, просидев сто ночей взаперти, отрастив бороду и обовшивев, изобрести космический корабль. Тысячи людей в нормальных условиях, охраняемые профсоюзом, трудятся и, как видно, добиваются неплохих результатов. Так же, говорят, обстоит дело и с нашей проблемой. Только нам нечем похвастаться.

Но мне почему-то кажется, что воз сдвинет с места какой-нибудь гений. Может быть, он уже ходит где-нибудь, тихий и незаметный, а может быть, еще не родился.

Но уж я-то не гений, это точно. Не похож я на гения. Это будет, наверное, мозговик мар-

сианского типа с большим черепом и хилым телом. А я не такой. Я какой-то уж чересчур нормальный.

– Юра, вас к телефону! – кричат мне из коридора. Я встаю и потягиваюсь так, что хрустят плечевые суставы. Вижу в окне, как Кешка, шофер нашего шефа, ходит вокруг машины и поливает ее из шланга. Кешка похож сейчас на китайского фокусника. Голый по пояс, бронзовотелый, он играет с тяжелой ослепительной струей, которая кажется мне каким-то чудом природы.

Я рад, что меня позвали к телефону. Работа не клеится. Не клеится она у меня в такие погожие дни.

– Юрик, это ты? – слышу я в трубке взволнованный женский голос.

– Лена? – Я изумлен.

Лена в моем сознании всегда связана с вечерами, с нарядной толпой возле метро, с неоновыми вывесками, с какими-то джазовыми аккордами. Никогда она не звонила мне в такое время. Никогда в это время я не думаю о ней.

– Юра, мне нужно срочно тебя увидеть.

И тут я обнаруживаю, что говорю с ней по внутреннему телефону.

– Ты что, у нас внизу?

– Да. Спускайся скорей.

– Женщины! Сколько ученых вы погубили! – говорю я.

– Довольно! Спускайся скорей!

Она должна была прибавить «ученый балбес» или что-то в этом роде, но не прибавила.

Я бегом спускаюсь по лестнице и вижу Лену.

– Откуда ты, прелестное дитя? – кричу я.

Это последняя попытка. Я уже понял, что что-то случилось, но мне не хочется этого. Не люблю, когда жизнь приоткрывает свой трагический

лик. Живешь, смеешься, ссоришься, и вдруг – на тебе – что-то случается.

– Что с тобой, Ленка?

– Юра, я пришла к тебе как к врачу.

– Я не врач, а младший научный сотрудник. Что случилось, говори скорее, а то мне кисло становится.

– Понимаешь, три дня назад папа пришел с работы на три часа раньше...

– Заболел?

– И да, и нет.

– Что же тогда?

– У них было какое-то поголовное обследование, смотрели на рентгене, и у папы в легких обнаружили затемнение. Предполагают туберкулез.

– Вот тебе раз!

– Он никогда ни на что не жаловался... никогда ни на что, – говорит Лена и начинает плакать.

– Ну-ну, собери и проглоти все свои слезинки. Это ведь только так страшно звучит – туберкулез. Сейчас он полностью излечивается.

– Правда?

– Ну конечно. Дай бог, чтоб у твоего отца был туберкулез.

– А что может быть еще?

– Ну... Значит, чувствует он себя хорошо?

– Что может быть, кроме туберкулеза, Юрий?

– Ну, мало ли что.

– Неужели может быть это?

– Исключено.

Я вынимаю сигарету, закуриваю и повторяю с металлической нотой:

– Исключено.

А Лена заглядывает мне в глаза так, как это бывает в кино.

– Юра, я имею право просить твоей помощи?

– Что за дикий вопрос? Кто же, если не ты...

– Помоги устроить папу в какую-нибудь хорошую клинику. У тебя, наверное, есть знакомые.

– Попробую. Подожди немного.

Я звоню по телефону в институт туберкулеза. Там учится в аспирантуре мой однокашник.

– А, это ты, старик, – говорит Борис. – Как жизнь?

– Прекрасно, – отвечаю я. – Слушай, – говорю я ему. – Знаешь, что мне от тебя нужно?

– Денег нет, – хохочет Борис.

– Боже мой, – вздыхаю я, – как тупеют люди после первого года аспирантуры.

Рассказываю ему обо всем. Человек быстрых решений, Борис кричит, чтобы я немедленно вез «старикашку» к ним в консультационное отделение, так как там сейчас будет принимать сам Метелицын.

– Подожди, Лена, – говорю я и бегу наверх. Отпрашиваюсь у шефа, излагая ему суть дела, причем Лена фигурирует в рассказе как двоюродная сестра.

– Это та девушка, что приходила к нам на первомойский вечер? – вдруг спрашивает «пузанчик».

– Да, – по-дурацки отвечаю я.

– Кузина! Знаем мы этих кузин. Старый и вечный юный треп. Идите, Юра. Может быть, написать записку Метелицыну?

Я бегу вниз, хватаю за руку Лену, бежим через вестибюль и вылетаем из подъезда. Солнце и ветер ударяют мне в лицо. Я ничего не вижу и вдруг осознаю, что чертовски рад оттого, что вырвался на свежий воздух, что держу за руку Лену. В первый раз мы вместе не вечером, а днем, впервые вместе под солнцем. Невероятно, но факт. И это не так уж плохо. Но я вспоминаю причину и приструниваю себя.

Начинаю различать дома на улице, по которой мы быстро идем, вижу впереди сквер и вижу, что именно туда и тянет меня Лена. Там, на скамейке у входа, сидит и читает «Огонек» замечательный старик. Бритый, жилистый и сильный, он похож на старого спортсмена, на тренера по теннису, на чемпиона Санкт-Петербурга по конькам или на бывшего летчика. Я сразу его узнаю. Я был у Лены, когда ее родители уехали на дачу, и мельком видел семейный портрет на стене.

– Юра, вот мой папа, – говорит Лена. – Знакомьтесь.

– Я вас сразу узнал, – говорю я.

– Простите, каким образом? – удивляется он.

– По портрету.

Лена тихонько стучает меня по спине, но я упорно поясняю:

– Ваш большой семейный портрет. В столовой, кажется, он висит.

– Да, в столовой, – говорит он и смотрит на Лену.

– Папа, Юра обещал помочь нам. Сейчас мы поедем на консультацию к профессору Метелицыну.

– Объясните ей, пожалуйста, что вся эта паника напрасна, – говорит отец Лены. – Туберкулез сейчас полностью излечивается. Правда ведь?

– Конечно. Несколько месяцев лечения, и все в порядке. Я уже объяснял.

Мне кажется, что Лена немного успокоилась. Она даже улыбается и шепчет мне:

– Ты с ума сошел! Он же ничего не знает.

Это про мое посещение их квартиры.

Мы выходим на улицу и берем такси. И Лена снова начинаем волноваться. А старику хоть бы что. Он сидит совершенно спокойный.

Профессор Метелицын идет по коридору. На лоб падает седая челка, в руках он несет горящую

папиросу. Это особый профессорский шик – ходить по лечебному учреждению с папиросой. Профессор худой и длинный, как и отец Лены. Я думаю, что они составили бы вполне приличную пару на теннисном корте.

За профессором – обычная свита. И Борька тоже там. Я оставляю Лену с отцом на диване и, салютуя, подхожу к Борьке.

– И где ты только откапываешь таких девочек? – спрашивает он, заглядывая мне через плечо. – Можно позавидовать. Ну ладно. Снимки и анализы есть у старика? Порядок.

Он достает мне халат, и мы входим в обширнейший кабинет, где за столом возле негатоскопа восседает Метелицын, а вокруг человек двадцать врачей. Они по очереди читают истории болезней, ставят на негатоскоп снимки. Метелицын курит, кивает головой, смотрит на снимки. Иногда он коротко бросает диагноз, а иногда предлагает коллегам «порассуждать сообща».

Наступает наша очередь. Борис рассказывает профессору про отца Лены, показывает анализы, ставит один за другим снимки.

Метелицын долго молчит, очень внимательно смотрит на прямой снимок, и мы все смотрим на четкое, круглое, величиной с детский кулачок, пятно в правом легком.

– Страшная штука, – говорит профессор, снимает очки, и я вижу, что у него очень усталое лицо.

– Вы считаете, Антон Петрович, что здесь?.. – спрашивает Борис и бросает на меня испуганный взгляд.

– Да, конечно, это рак. Неоперабельный центральный рак.

Я ошеломлен. Это была моя первая мысль, когда Лена сказала, что у отца что-то нашли, но по-

том я произнес железным тоном глупое слово «исключено» и сам уверовал в это. Я подумал, что эти страшные мысли появляются у меня из-за моей работы, и даже в глубине души посмеялся над собой.

Профессор долго рассказывает аудитории о рентгенологическом диагнозе рака, о том, как на это дело смотрят в Америке, говорит, что, разумеется, необходимо дополнительное обследование, чтобы диагноз стал бесспорным, что данного больного он возьмет к себе в диагностическое отделение и, ну да, ну да, применит к нему курс рентгенотерапии, – и все это он говорит обычным ровным тоном.

Но я уже видел его лицо, когда с него вместе с очками съехала обычная маска третейского судьи. Я понял, что он устал, что ему тяжело выносить приговоры.

– Пойдемте в рентгеновский кабинет. Я хочу осмотреть больного под экраном.

Толпа врачей с грохотом приподнимается со стульев. Я первым выскакиваю в коридор. Что-то в нем изменилось. Вероятно, это лица больных, уставившихся на меня.

А отец Лены спокойно читает еженедельный иллюстрированный журнал «Огонек». Торчит его сухое колено, обтянутое хорошей серой тканью, и покачивается великолепный черный ботинок.

Лена беседует с какой-то женщиной.

Все это в высшей степени странно.

Я подхожу и слышу голос Лены.

– И вы совершенно выздоровели? – спрашивает она женщину.

– Да, совершенно, – отвечает та.

– Профессор хочет посмотреть вас, – говорю я.

Старик отдает Лене журнал и встает.

И снова мы видим это страшное пятно теперь уже на голубоватом экране. Теперь оно движется и не кажется таким круглым, как на снимке. Профессор руками в перчатках из толстой резины двигает за экраном отца Лены.

– Нео, – говорит он, – бесспорно, нео.

Зажигается свет. Профессор встает и кладет руку на плечо отца Лены. Как они похожи друг на друга! Великолепная пара теннисистов – два сухих высоких старика.

– Ну, голубчик, я кладу вас к себе в отделение. В диагностическое отделение.

– Разве диагноз не ясен? – спрашивает отец.

– Еще не совсем ясен.

– Благодарю вас.

Профессор, а за ним все врачи уходят из рентгеновского кабинета.

Остаемся только мы с Борькой и отец Лены. Он одевается.

– Ну вот, – говорю я, – сам Метелицын вас будет лечить.

– Оставьте, – глухо произносит старик. – Вы думаете, я не знаю, что такое нео? Это означает – новообразование.

– Ну и что же, – лепечу я, – что же из этого? Бывают и доброкачественные новообразования.

– Оставьте, – повторяет старик, застегивая верхнюю пуговицу рубашки и подтягивая галстук. – Вот что я вас прошу, Юра, – говорит он, – разберитесь с Леной. Не надо так, как сейчас. Лучше уж совсем не надо. Идет?

– Да-да, – говорю я, и мне становится стыдно оттого, что я даже не знаю его имени.

Я беру со стола записку Метелицына, и мы выходим в коридор.

Лена там ходит.

Прогуливается с выздоровевшей женщиной. Видимо, Лена совсем уже успокоилась. Весело улыбается при виде нас.

Я смотрю на ее нарочито растрепанные волосы и искусно подмазанные губы, и на туфельки «гвоздики», и на широкую юбку – на все, что раньше приводило меня в восторг, и все это кажется мне сейчас какой-то дикой чепухой.

Я вижу девушку, которая еще ничего не знает. Девушку, которая, оказывается, мне дорога.

– Спасибо, старик, – говорю я Борису.

Лена прощается с женщиной, и мы втроем спускаемся с лестницы.

– Леночка, Метелицын берет меня в свое отделение. Это большая удача.

– Чудесно! – говорит Лена. – Юрка, ты просто чудесно все устроил.

Да, как это я все чудесно устроил. Все хорошо, что хорошо кончается, – так, видимо, думает Лена.

Я вынимаю сигарету. Теперь я буду курить без передышки.

– Дайте сигарету, – шепчет мне на ухо старик. Я тайком сую ему пачку.

На улице продолжается солнечный ветренный день. На углу торгуют мороженым. Публика толпится возле автоматов с газированной водой. Тяжелый грузовик с прицепом везет бетонные плиты. Милиционер в голубой рубашке бегом пересекает улицу. Проходят туристы с непомерно огромными рюкзаками. Всюду на лотках масса клубники. Темно-красные горы клубники. Роскошные бомбочки с зелеными хвостиками и мятые ягоды. Лужицы красного сока. Черные пальцы продавщиц. Афиша летнего мюзик-холла. Парень прошел в потрясающей рубашке. Дзинь-дзинь – падают монетки. Кто-то целуется. Раскрытый в хохоте рот за стеклом телефонной будки.

– Я сейчас поеду на завод. Нужно ввести в курс дела Бунина. А ты поезжай домой и скажи маме – пусть соберет мне вещи в больницу.

– Хорошо, папочка.

Отец подставляет ей щеку, и Лена прикасается к ней своей щекой. Боится испачкать помадой. На мгновение я вижу рядом два глаза – отца и Лены – и поражаюсь, как это могут быть так близко два столь разных глаза? Старик протягивает мне руку.

– Я рад был вас узнать, – говорит он.

Я тупо молчу и смотрю на наши руки, на его пальцы с желтоватыми плоскими ногтями, обхватившие мою ладонь.

Старик уходит, и я долго не могу оторвать взгляда от его элегантной фигуры, мелькающей в толпе. Голова у него лишена малейших признаков облысения.

– Понравился он тебе? – слышу я Лену.

– Очень.

– Ты знаешь, Юрка, мне рассказывала женщина там, в коридоре. Она учительница, и когда она заболела туберкулезом, ей пришлось оставить школу. А сейчас она полностью излечилась! Настолько, что ей разрешили снова преподавать. Она там ждала какую-то справку. Здорово, правда?

– Я же тебе говорил, – мямлю я.

– Что с тобой, ученый муж?

– Лена! – говорю я и беру ее за руку. – Я буду думать о тебе всегда. И когда я не буду о тебе думать, все-таки я буду думать о тебе. Так и знай. Всегда и везде.

– Что с тобой?

Я притягиваю ее к себе – и в окружении мороженщиц, продавщиц клубники, туристов, пиджонов (всех призываю в свидетели!) целую.

И больше уже не могу. Сажую ее в такси, а сам бегу в метро, бегу по эскалатору, вскакиваю в вагон,

растягивая смыкающиеся двери, сажусь, потом встаю и прохожу в конец вагона, заглядываю через плечо человеку, читающему газету, прочитываю заголовки передовицы, потом (когда он переворачивает) что-то о футболе, выхожу на моей станции, бегу вверх по эскалатору, наверху покупаю мороженое («Ленинградское», которое ненавижу), выбегаю на нашу площадь и, только увидев широкие стекла и лобастый фасад института, перехожу на шаг.

Удивленно смотрят на меня в проходной. Я поднимаюсь по лестнице, иду по коридору, и острый запах вивария, словно нашатырь, приводит меня в себя.

Я поправляю галстук, приглаживаю волосы, осторожно бросаю в урну омерзительную бумажку из-под мороженого и вхожу в лабораторию. Анна Леоновна уже снимает халат.

– Что это вы, Юра, прискакали? Рабочий день окончен.

– Я хочу тут немного побыть, – говорю я.

– Мысль?

– Да, мысли.

Я подхожу к окну.

Отмытая до невероятного блеска машина выезжает со двора. Сейчас Кешка подгонит ее к подъезду. В коридоре уже слышатся медленные стариковские шаги шефа.

Я беру с полки журнал и начинаю читать статью нашего шефа, в которой он полемизирует с одним зарубежным исследователем рака.

Я засижусь здесь сегодня до темноты.

Нужно привыкать. Теперь я часто буду здесь засиживаться.

Проходит десять минут, двадцать. Постепенно до меня начинает доходить смысл статьи.

# КАТАПУЛЬТА

## 1

Я впервые видел Скачкова таким элегантным. Все на нем было прекрасно сшито и подогнано в самый раз, а я выглядел довольно странно. На мне были засаленные измятые штаны и зеленая рубашка, которую я каким-то образом купил в комиссионке. Думал, черт-те что покупаю, а оказалось – самая обыкновенная зеленая рубашка. Итак, грязные штаны и зеленая рубашка. В таком виде я возвращался из экспедиции.

Поездка на теплоходе по этой тихой северной реке доставляла нам обоим большое удовольствие. Мы прогуливались по палубе от носа к корме и обратно по другому борту, приятно было.

Одного я только побаивался – как бы нам не вломили по первое число. Прогуливаясь по палубе, я прикидывал, кто из пассажиров мог бы нам вломить. Скорее всего, это могли сделать летчики – двое с желтыми погонами (летный состав) и один техник-лейтенант. Да, это будут они.

Я оглянулся – летчики удалялись, помахивая фотоаппаратами. Я посмотрел на Скачкова. Кажется, он и не думал об этом. Он был невозмутим и спокойно рассказывал мне, вернее самому себе, о своих творческих планах.

С него хватит. Это мне все эти церквушки в диковинку, а ему они – вот так! По своей натуре он не научный работник, а скорее художник. Конечно, древнее зодчество, фрески, прясницы, мудрая простота, тра-та-та... Это много дает поначалу, но он не может все время исследовать, он должен создавать. Ведь он художник, и неплохой, скорее первоклассный.

– В Питере покажу тебе свою графику. Это что-то необычайное, – сказал он, улыбаясь.

Мне нравился Скачков. Я понимал, что он над собой издевается. Есть такие люди, что постоянно играют сами с собой. Казалось, что для Скачкова его собственная персона – только объект для наблюдений. Казалось, что все его улыбочки и ухмылки относятся к нему самому и имеют совершенно определенное словесное выражение: «спошил», «ну и тип», «разнюнился», «вот дает» и т. д. Скачков был спокоен и ироничен. Я чувствовал, что это философ. Честно говоря, я немного восхищался им и думал, что в дальнейшем буду таким, как он. Прямо скажу – я совершенно серьезно относился к своей зеленой рубашке. Скачков был старше меня на 6 лет. Мне было 24 года, а ему 30.

Мы познакомились с ним в экспедиции. Он учил меня ловить щуку на спиннинг.

– Это же так просто, – говорил он, – смотри! Бросаешь блесну – следовал размах и мастерский бросок, – подождешь немного и накручиваешь.

Мне нравилась эта охота, интересно было смотреть, как меж колеблющихся подводных стеб-

лей появлялась серебристая блесна, а за ней с грузной стремительностью летела щука. Потом Скачков делал какое-то движение, и щука уже билась в воздухе словно повешенный.

У меня не получалось. Мне казалось, что размахиваюсь я не хуже Скачкова и накручиваю я точно, как он, но, видно, все-таки я делал что-то не так. Я вообще «неумека», как называли меня в детстве. Я думал, что навсегда погиб в глазах Скачкова, потому что мы каждый вечер охотились на щук, и я за все время не поймал ни одной. Наши лодки стояли в камышах, а над озером на холме чернела церковь, построенная без единого гвоздя, а у подножия холма в тихой заводи стоял наш катер. Катер с мягкими сиденьями и эта церковь. Термосы и костер. Щуки и спиннинг. Мне казалось, что я смог бы построить такую церковь, но разобраться в моторе катера было мне не под силу.

Скачков посмотрел на свое отражение в стеклянной стене ресторана, одернул пиджак и усмехнулся.

«Ишь ты, обарахлился», – казалось, говорила его усмешка.

Стекла ресторана полукругом выходили на нос теплохода. Я увидел там внутри Зину. Она сервировала столы к обеду. Я подмигнул ей. Она как-то смущенно улыбнулась и зыркнула в другую сторону. С другой стороны стеклянного полукруга в ресторан смотрели летчики – летный состав и техник-лейтенант. Мы пошли и столкнулись с ними на самом носу.

– Осторожней надо ходить, – сказал старший по званию, капитан.

– Виноват, – рассеянно произнес Скачков, и мы разошлись с летчиками.

Я посмотрел теперь на Зину с другой стороны, с правого борта. Она шла с подносом между

столиками, нарочно глядя прямо перед собой, не обращая внимания ни на нас, ни на летчиков. Она была черненькая, маленькая, вся какая-то отточенная, словно шахматная фигура. Я представил, как стучат там, за стеклом, ее каблучки и как тихо позванивают пустые фужеры на ее подносе. Она такая и есть – четкий стук и тихий звон.

«Да-нет, есть-нет, вот счет – спасибо, уберите руки», – это четкий стук.

А что в ней тихо звенит, я не знал. Такое сразу не увидишь.

– Хорошая девчонка, – сказал Скачков, – женись на ней.

Я даже вздрогнул от неожиданности.

– Да ты что?!

– А что? Лучшие жены получаются из таких.

– Из каких это таких? – спросил я.

Скачков посмотрел мне в лицо и усмехнулся:

– Из таких маленьких и четких.

Ее четкость, понял я, для него не секрет, но знает ли он про звон?

На корме мы снова увидели летчиков. Двое из них стояли обнявшись на фоне флага Северо-Западного речного пароходства, а третий наводил на резкость фотоаппарат. Мы остановились. Капитан опустил камеру и пробурчал:

– Ну, проходите.

– Делайте ваш снимок, – приятно улыбаясь, сказал Скачков.

Он щелкнул, мы прошли.

– Эй, зеленая рубашка! – позвали меня.

Старший лейтенант протягивал мне камеру со словами:

– Не можешь ли ты, друг, щелкнуть нас втроем?

Чуть поспешней, чем надо это было сделать, я взял аппарат. Я увидел в видоискателе их всех

троих. Теперь у меня была возможность рассмотреть их лица.

Капитан был в возрасте Скачкова. Он хмурился, как бы давая мне понять: «Снимаешь? Снимай! Твое дело – только нажать затвор, и все. И можешь идти. Раз-два!»

Старлей был помоложе его года на три. У него было лицо из тех, что называют открытыми. Он шурил хитроватые глазки и, видимо, был очень доволен тем, как ловко он приспособил меня для этого дела.

Техник-лейтенант был, наверное, моим ровесником. Он думал только о том, как он получится, и весь одеревенел под объективом.

– Внимание, – сказал я.

Летчики приосанились. Эти славные ребята понимали значение фотографии.

– Пятки вместе, носки врозь, – тихо сказал за моей спиной Скачков. – Грудь вперед, живот втяни.

. Кажется, капитан расслышал. Я сделал снимок и отдал ему камеру. Мы со Скачковым снова пошли к носу теплохода и остановились, облокотившись о борт, возле ресторана.

Зина сидела, положив подбородок на кулачок, и смотрела вдаль на реку, залитую солнцем, и тихие лесистые берега. Другая официантка сидела рядом, что-то быстро говорила ей и смеялась. Но Зина будто ее не слушала, она смотрела вдаль, нет, не то чтобы мечтала, а просто смотрела на реку, а не на свою товарку и не на сервировку.

«Вот сейчас в ней и идет этот тихий звон», – подумал я и спросил Скачкова:

– А ты бы женился на ней?

Прежде чем ответить, Скачков посмотрел на реку и на Зину.

– Сейчас женился бы не раздумывая, но тогда не женился бы.

– Когда?

– Когда я женился на своей жене.

Вторая официантка что-то сказала Зине на ухо, хотя в зале никого не было, и та вдруг резко, вульгарно рассмеялась. И оттого, что звука не было слышно, впечатление от ее распахнутого рта с мостом и коронкой на верхней челюсти было особенно неприятным.

Я беспомощно посмотрел на Скачкова. Как мы будем выходить из этого положения? Ведь нагроворили черт знает что.

Скачков смотрел на хохочущую официантку, потом сам засмеялся и посмотрел на меня. Я понял, что чуть было не сел в лужу, точнее, сижу уже в ней по горло, а он опять на высоте. Ведь он снова блефовал, вел свой обычный розыгрыш то ли самого себя, то ли меня, а скорее всего и себя, и меня, и всего вокруг. А я чуть было не рассказал ему про выдуманный мной «тихий звон».

## 2

Река текла нам навстречу совершенно неизменная, такая же, как триста лет назад, если не обращать внимания на бакены. Длинные отмели, частокол леса или свисающие к воде ивы, редкие хмурые избенки, женщина с коромыслом на мостах, и вдруг за поворотом все изменилось. Здесь было водохранилище и шлюзы, гидростанция и маленький городок при ней. Мы стали чалиться.

За пристанью был маленький базарчик. Торговали застарелой редиской, огурцами и ягодами. Мы купили клубники. Кулечки были свернуты из листков школьной тетради в косую клетку. Я различал слова, написанные фиолетовыми чернилами.

ми: «Этапы развития капитализма в Европе.

1) Борьба феодалов с горожанами».

Скачков развернул свой кулечек и хохотнул:

– Вот они – приметы нового, так сказать.

После «борьбы феодалов с горожанами» ничего нельзя было разобрать, все расплылось. Чернила смешались с кроваво-красным клубничным соком.

Мы увидели, что неподалеку, с какого-то старого причала, прыгают в воду пассажиры нашего теплохода. На краю причала в красном купальнике стояла Зина, похожая на статуэтку.

– Пошли выкупаемся, – сказал Скачков.

Рядом с Зиной готовились к прыжку в воду летчики. Они были мускулисты и неплохо сложены, но их сильно портили длинные синие трусы. Я ни за что не остался бы в таких трусах. Плавки на мне были что надо, а на Скачкове – вообще блеск.

Летчики стали прыгать в воду, вернее падать в нее. Они прыгали солдатиком, ногами вниз, очень неумело и смешно. Вынырнув, они поплыли грубыми саженками, а то и по-собачьи, отфыркиваясь и счастливо смеясь.

– Зиночка, прыгайте! – крикнул капитан, и они все уставились на причал.

Зина жеманно заерзала.

– Ой, боюсь! Какая вода?

– Мо-о-края! – закричал техник-лейтенант.

Скачков, расправляя плечи и поигрывая отличными мускулами, направился к краю причала. Он прыгнул не вниз, а вверх, вытянулся в воздухе, как струна, потом сложился комочком и, вытянув руки над самой водой, вошел в нее без брызг.

– Ой-о-ой! – восхищенно воскликнула Зина. Она подалась вперед и сияющими глазами следила за Скачковым, а я смотрел на нее. Она была то-

ненькая-тоненькая, а грудь – с ума сойти, и ручки, и ножки...

А Скачков внизу выдавал стили – и брасс, и кроль, и баттерфляй.

– Сколько вам лет, Зина? – спросил я.

– Все мои, – машинально отпарировала она, но вдруг медленно повернулась ко мне и спросила: – А что?

– Знаете кто вы? – сказал я. – Вы – четкий стук и тихий звон.

– Оставьте ваши шуточки при себе, – быстро сказала она и стала смотреть в воду, но вдруг опять повернулась и заглянула мне в глаза. – Что это? Я не понимаю... Тихий звон...

Голос ее звучал робко, и вся она в этот момент была – неуверенность, и робкость, и трепет молодого клейкого листочка.

– Ну что же ты? Прыгай! – закричал из воды Скачков.

Я прокашлялся и засмеялся.

– Будильник, – сказал я. – Четкий стук – тик-так, тик-так, и тихий звон – тр-р-р... Будильник с испорченным звонком.

Она захохотала, как тогда, резко и вульгарно.

– Ну и комик! – сказала она и очень по-бабьи, по-деревенски, спрыгнула в воду.

Я прыгнул за ней. Прыгнул не с таким блеском, как Скачков, но все-таки достаточно спортивно.

### 3

За обедом Скачков, виновато улыбаясь, сказал, что считает себя самым что ни на есть идиотским фанфароном и сопляком. Зачем ему понадоби-

лось демонстрировать перед летчиками свое превосходство в прыжках в воду, показывать свой высокий класс? Все это очень глупо, но...

– Понимаешь, когда я раздеваюсь и если к тому же на мне хороший загар, я сразу становлюсь шестнадцатилетним пацаном. Просто чувствую каждую мышцу и весь свой сильный организм.

– Кончай рефлексировать, – с некоторым раздражением сказал я, – ты просто сделал хороший прыжок, и все. Летчики уже давно забыли про все прыжки на свете. Вон, посмотри, как обедают.

Летчики обедали шумно и напористо. Весь стол у них был заставлен бутылками пива и «Столичной».

Мы выпили по второй. Зина принесла суп. Мы съели суп и выпили по третьей.

– Ты знаешь, что у меня два года назад была выставка? – вдруг спросил Скачков.

– Нет, не слышал.

Он горько усмехнулся:

– Никто об этом не слышал, потому что выставка не представляла интереса.

– Да? – сказал я, глядя в окно.

Собственно говоря, я почти не знал его, талантлив ли он или нет, и для меня вовсе не было ошеломляющим открытием то, что его выставка не представляла интереса.

– Я тебе все сейчас расскажу, – возбужденно сказал Скачков. Я его еще не видел таким. – Пейзажики. Я выставил свои пейзажи – акварели и масло. Я не люблю свои пейзажи. Я люблю свою графику, но ее-то и не выставил. Потому что выставку организовал один кит из академии, а ему не по душе была моя графика. Потому что он сам пейзажист, а я, значит, представлялся почтеннейшей публике как один из его старательных учени-

ков. Потому что пейзажики у меня были кисло-сладкие, добропорядочный импрессионизм, и вашим, и нашим, а графика его раздражала. Потому что в ней я был самим собой, а это его не устраивало. Не надо дразнить быков, говорил он, наверное, имея в виду и самого себя как одного из быков. Давай выпьем еще. Зиночка, мы хотим еще. Я мог все-таки выставить графику, поставить его перед фактом. Кое-кто советовал мне сделать это. Можно было даже протащить через комиссию. Если бы я это сделал, ты бы знал, что у меня два года назад была выставка. Но я не сделал этого. Ну, давай выпьем. Будь здоров! Я не хотел рисковать, решил дождаться лучших времен. Решил не дразнить быков. Решил, что не стоит рисковать с первой выставкой. А потом плюнул на все и ушел в институт, изучаю древнерусское зодчество. Давай еще по одной?

– Может, хватит тебе? Выставишь еще свою графику.

– Будь здоров! Может, выставлю, а может, и нет. Ну, если не выставлю, то что? Что произойдет? Ничего особенного. Каждому – свое. Правильно? – Последний вопрос был обращен к летчикам.

Те уже съели второе и теперь курили, попивая водку и пиво. Старлей что-то рассказывал, они смеялись и не слышали Скачкова. Он налил себе рюмку и встал.

– Пойду поговорю с ними за жисть-жестянку. Они все знают. Ты ни черта не знаешь и не можешь пролить бальзам на мои раны, а они все знают и прольют.

– Сядь, Скачков. Не лезь к летчикам.

Но он направился к ним, высокий, коротко остриженный, в сером пиджаке с двумя разрезами. Он подошел к ним и что-то сказал, они потесни-

лись, и он сел, положив руку на спинку капитанского стула. Неужели он начнет им сейчас рассказывать про свою графику?

Тут включился в работу радиоузел теплохода, и заиграла музыка из «Оперы нищих». Я сидел и думал, что лирикам моего типа легче жить. У нас все неясно: грусть и недовольство собой, а стоит увидеть девушку или радиоузел начнет работу, и – все меняется. Мы похожи на радиоприемники с плохой комнатной антенной – много разных звуков и много помех, ничего не поймешь. А стоит ли выводить антенну наружу да еще делать ее направленной? Куда направлять ведь неизвестно, и пусть так будет, все лучше, чем психология Скачкова, с которой жить, должно быть, почти невозможно.

– Дайте счет, Зина.

Она вынула из кармана блокнот и стала считать. Она стояла совсем близко, точеное, как шахматная фигура, существо в черной юбке и нейлоновой кофточке, и считала:

– Солянка два раза, бифштекс два раза...

– Сколько же вам все-таки лет? – спросил я.

– Двадцать, – сказала она тихо. – Я из Павловска.

Ей-богу, она чуть не плакала. В ней, должно быть, в эту минуту звонили все ее тихие колокольчики и пустые фужеры...

– Вечером погуляем по палубе? – осторожно спросил я.

Она кивнула и отошла.

В эту минуту с грохотом отлетели стулья, и я увидел, как вскочили капитан и Скачков. Капитан взял Скачкова за лацкан пиджака.

– Что-о? – гремел он. – Пятки вместе, носки врозь? Это мы-то? Ать-два?

– Осторожно, – сказал Скачков, освобождаясь, – я владею приемами бокса и самбо.

Вскочили старлей и техник-лейтенант.

– А по по не по? – улыбаясь сказал старлей, поворачивая Скачкова за плечо.

Это означало – «а по портрету не получишь?».

Я подбежал и стал оттирать Скачкова от летчиков.

– Товарищи, вы же видите, он пьян.

– Сопляки и дерьмо! – гремел капитан. – И ты дерьмо, хоть и демобилизованный! – крикнул он мне в лицо.

Почему демобилизованный, обалдел я и понял – зеленая рубашка.

– Выбирайте выражения, штабс-капитан, – процедил Скачков.

– Выйдем отсюда, – сказал капитан, и летчики зашагали к выходу на палубу.

Я понял, что нам сегодня вломят по первое число. Выходить не хотелось, но надо было идти. Мужской закон – раз тебе говорят «выйдем отсюда», значит, надо идти.

На палубе мы снова сгрудились в кучу и взяли друг друга за одежду.

– Ты знаешь, сколько раз я катапультировал? – сказал капитан, приближая ко мне свое лицо с холодными и затуманенными зрачками. – А Мишка, а Толька? Знаешь, сколько раз мы катапультировались? Это тебе ать-два?

Палуба покачивалась у нас под ногами сильнее, чем это было на самом деле.

– А ты думаешь, я не катапультировал? – с отчаянной решимостью крикнул я. – Почему ты решил, что я ни разу не катапультировал?

Капитан был озадачен.

– Иди ты, – сказал он.

– А ты думаешь, он не катапультировал? – осмелев, крикнул я, резко кивнув на Скачкова.

– Так вы, ребята, летчики? – Капитан сдвинул фуражку на глаза.

– Я так и думал, что этот друг катапультировал, – сказал старлей, кивая на меня, и повернулся к Скачкову. – И ты, значит, тоже?

Он облегченно засмеялся. Он, видно, не любил драться.

– Естественно, – сказал Скачков, – катапультирование – мое обычное состояние.

– Значит, знаете, что это за штука, – улыбнулся капитан, – а я уж думал, сейчас как дам наотмашь. Ну, давайте будем друзьями.

Мы пожали друг другу руки и разошлись. Я отвел Скачкова в каюту, и там он рухнул на диван.

## 4

Я вышел на палубу. Летчики стояли на корме, разламывали булку и бросали куски мартынам. Птицы пикировали и хватали куски на лету. Я поднялся на верхнюю палубу, где капитанский мостик, и сел там, притулившись к вентиляционной трубе. Я старался не смотреть на берега, и надо мной было только огромное небо. На нем не хватало лишь белой полосы от реактивного самолета. Сколько раз я видел эти бесконечные хвосты, ползущие за еле заметной и изредка вспыхивающей на солнце точкой. На невысказанной высоте, на сверхразумной скорости проходили военные машины. Трудно было представить, что там люди, а они там были. Парни в длинных трусах, ультрасовременные люди крестьянского происхождения.

Весь свист и рев раздираемого пространства обрушился на меня. Человек мечтал когда-то уподобиться птице, а превратился в реактивный снаряд. Смертельная опасность, собранная в каж-

дый километр, а километр – это только подумать о маме. Прекрасен пущенный в небо серебристый снаряд и человек, находящийся в нем. Человек взял в руки машину и перенял ее смелость, ибо что же тогда такое катапультирование, как не общая смелость человека и машины? Катапультирование ради спасения себя как ценного авиакадра и ради эксперимента, а то и просто «отработка техники катапультирования»???? Это та же смелость, что смелость сопла, изрыгающего огонь, и смелость несущих плоскостей. И ни минуты на мысль, ни секунды на трусость. Нажимайте то, что надо нажать, проигрыш или выигрыш – это будет видно внизу. Смелость, естественная, как дыхание, потому что там, на большой высоте, не быть смелым – это все равно что прекратить дышать.

«А на земле другие законы, – думал я. – Например, когда ты стоишь перед человеком, которому хочется плюнуть в лицо. Ты знаешь, что он заслужил добрый плевок в переносицу, и все в тебе дрожит от желания плюнуть. Конечно, это риск, но риск-то дерьмовый по сравнению с катапультированием на большой высоте. И ты понимаешь это, но... можно плюнуть, а можно и не плюнуть...»

Это как прыжок с парашютной вышки. Можно прыгнуть, а можно в последний момент сказать, чтобы тебя отвязали. И ступешаться, тихо спуститься по лестнице. Внизу этого могут даже не заметить, потому что толчея, а вокруг и других аттракционов полно.

Я учился в школе и окончил ее. Учился в институте и его окончил. Сейчас вот работаю. Прочел много книг. Занимался спортом. Написал несколько картин, а сейчас пробую свои силы в литературе. У меня есть умные друзья, достойные подражания, и девушки, с которыми прият-

но проводить время. Но почему вдруг сейчас мне стало горько оттого, что я никогда не набирал высоты, на которой перестают действовать земные законы? Никогда мой пульс не превышал ста ударов в минуту (даже после баскетбольного матча), и формула крови всегда была в покойном и прекрасном состоянии. Никогда я не терял сознания. Никогда катапульта не выстреливала мной в разреженную жгучую атмосферу.

## 5

Я спустился с верхней палубы в тот час, когда зажглись первые звезды, и радиоузел начал свою работу опять с «Оперы нищих». За дальним лесом было светло, как возле витрины универмага, – там была луна. Крытая палуба была освещена слабо. Я вспомнил о Зине и пошел к корме, разыскивая ее.

Я увидел ее, только когда сделал почти полный круг. Она стояла с техником-лейтенантом. Они облокотились на перила и смотрели в воду.

– Вы сами откуда? – спрашивал лейтенант.

– Откуда я, там меня нету, – хрипловато засмеялась Зина.

– А я из Череповца, – ласково сказал лейтенант.

Я прошел мимо и быстро пошел по другому борту снова к корме. Луна уже поднялась над верхушками деревьев. Когда я снова поравнялся с Зиной, на ее плечи был наброшен лейтенантский китель с серебряными погонами.

– И вы тоже, значит, катапультировались? – совсем как маленькая спросила Зина. Ярко блеснул ее правый глаз.

– Нет, – сказал лейтенант печально, – не катапультировал. Я техник. А без нас, знаете, ни одна машина не полетит...

Теплоход выходил в озеро, а луна набирала высоту. Я постоял немного на корме наедине с лунной и с флагом Северо-Западного речного пароходства. Потом снова пошел к носу.

– А я из Павловска, – тихо сказала Зина лейтенанту и склонила голову. Она не видела, что выделял лейтенант своей левой рукой. Его рука витала над ее спиной, не решаясь опуститься. Когда она опустилась, я ушел.

Скачков сидел на диване и читал журнал «Пионер». Это была одна из его удивительных странностей – он любил с глубокомысленным видом читать этот журнал.

Он был без пиджака, но галстук затянут, а мокрые волосы расчесаны на пробор. Видно, он принял душ и очухался.

– Очухался? – спросил я, садясь напротив.

Он поднял на меня белесые, горящие дьявольской насмешкой глаза.

– Ах, не волнуйся, – сказал он, – ничего не поделаешь, каждому свое.

– Отвяжись ты от меня, очень прошу, – сказал я через силу.

Он кивнул.

– Gute nacht.

И перевернул страницу.

# ЯПОНСКИЕ ЗАМЕТКИ

## ГОРА

Когда сейчас при взгляде на карту мира среди крутобоких материков я вижу тоненькую цепочку японских островов, мне даже не верится, что именно на этих ярко окрашенных камешках я провел три удивительные недели, что именно на них я встретил такое множество разных людей, что японская земля в течение трех недель замыкала мой горизонт.

Почему-то хочется начать этот сумбурный рассказ с описания Горы.

Мы много болтали о ней на обратном пути из Хиросимы в Токио. Неизменно все наши разговоры в конечном счете сводились к одному: увидим ли мы Гору? Она уже навязла в зубах, и шутки по ее адресу уже становились банальными. Последний взрыв остроумия возник тогда, когда администрация экспресса «Утренний ветерок» нижайше извинилась перед пассажирами за то, что из-за густой облачности им не удастся увидеть Гору.

Тут мы пошутили немного и подумали: «Ну, хватит!»

Однако мы продолжали вяло чесать языки и тогда, когда на такси поднимались из приморского курорта Атами в горный курорт Хаконе.

Желтое солнце плавало в легких неподвижных тучах, и шофер наш огорчился, и Хара огорчился, что из-за этих странных пустяковых туманностей мы не видим Гору. В конце концов была высказана надежда, что, может быть, завтра у нас это получится.

Честно говоря, я уже и не особенно хотел увидеть ее завтра. Столько было ожидания и столько было брошено на ветер слов, что я боялся разочарования. Ну, гора есть гора, а эта уж не так и высока ведь. Может быть, лучше, если она по-прежнему будет скрываться за этим таинственным желтым свечением, таинственная, недосыгаемая для глаз чужеземцев Гора?

Отель, в котором мы поселились в Хаконе, был огромен и пуст: зима была, не сезон. Только три старые английские дамы встретились нам утром. Печаль какая-то была в этом отеле, а в холле внизу под фотографией маститого попугая висело объявление: «Мы с прискорбием сообщаем о кончине нашего старого попугая Бимбо, которого многие наши гости хорошо знали и любили. Мы благодарим вас за привязанность к этому существу. Менеджер».

Присоединившись к скорби администрации, мы с Харой отправились играть в пинг-понг. Везде было пусто: и в баре, и в бассейне, и в спортзале. Шаги наши гулко стучали в высоких пустых коридорах. Я вообразил себе одинокую и печальную жизнь миллионера, и мне захотелось в Москву, в свою двухкомнатную квартиру или в компанию друзей, в галдящую толпу вокруг кофеварочной машины.

– Такуя, ты хотел бы один владеть этим шикарным домом? – спросил я Хару.

– Ага, – сказал он, но это не значило, что он хотел бы им владеть. Это означало, что он воспринял мой вопрос, зафиксировал его и сейчас готовит ответ.

Друг мой Такуя Хара блестяще владеет русским литературным языком, но разговорная речь для него пока несколько сложна, и ему требуется несколько секунд для ответа.

–Нет, пожалуйста, не хотел бы, – ответил он. Ну, поиграли мы с ним в пинг-понг, потом выпили немного в баре, посмотрели в телевизоре ковбоев и отправились спать.

Утром всем было очень весело. Вальдемар Кристопович сильно шутил, Ирина Львовна тоже сильно шутила, я тоже сильно шутил, и очень сильно шутил Хара. Вообще мы как-то нарушали чинную тишину завтрака и, может быть, даже несколько шокировали пожилых леди. Шутили мы по поводу густой облачности, по поводу молочно-серого неба.

Мы уже забыли про эту Гору, поднимаясь ввысь в вагончике канатной дороги и наблюдая другие, более доступные горы, покрытые хвойным лесом, и наблюдая домики внизу, и переваливая один перевал за другим, и остря по поводу прочности канатов, и болтая, болтая, болтая, радуясь долгожданному отдыху, венчавшему нашу поездку по Японии, когда Хара вдруг толкнул меня в бок и вскричал:

– Фудзи!

Я обернулся – и даже «ах!» застряло у меня в глотке.

Она была видна вся и занимала полнеба. Она была белая и большая среди зеленых и небольших. Наша желтая букашка, подвешенная в про-

пасти, ползла мимо нее. Это было совершенно невероятно – то, что она открылась нам вдруг вся и так просто! Лица наши осветились ее белым сиянием, а кроткое обычно лицо Хары стало торжественным.

Что-то было в этой Горе не передаваемое словами. Что-то было в этих минутах важное и сокровенное. Это была сильная и простая Японская Гора. Симметрия ее и тройная ее вершина гармонизировали всю округу, а может быть, и всю эту страну. Это было то, что для нас, русских, составляет Волга. Молча и медленно мы проехали мимо Фудзи в нашем смешном вагончике, с орехами в кармане и с «Торрис-виски».

Второй раз мы увидели Фудзияму, когда уже отправлялись домой и стартовали из аэропорта Ханеда на Гонконг. Это было ранним утром. «Боинг» пропорол облака, Япония скрылась, и только снежная, розовая от вставшего солнца Фудзи, возвышаясь над облаками, долго провожала нас. Долго виднелась, чтобы мы получше ее запомнили.

## ЯВЛЕНИЕ ТЫСЯЧЕРУКОЙ

Когда поезд, постукивая, покачиваясь и виляя, выбирается из каменных джунглей Токио, иностранный пассажир прилипает к окну, желая увидеть сельский японский пейзаж, какие-нибудь домики, какие-нибудь рисовые поля под луной, перевернутые лодки, то есть хочется немного идиллии. Огней становится все меньше, меньше, меньше, потом побольше, еще больше, больше и снова через десять минут кажется, что ты и не выезжал из Токио.

Я вспомнил обширные пространства моей родины и полную, непроглядную темноту за стеклом, когда ты ночью покуливаешь в тамбуре. Здесь на всем пути от Токио до Хиросимы только дважды за окном наступала полная темнота, и оба раза это был тоннель.

Светящиеся иероглифы и латинские буквы трепетали всю ночь внутри нашего спального вагона. Соусы «Мицу-ва», бурильные машины «Микаса», шоколадные конфеты «Гончаров», бензин «Эссо»... «Санья!», «Сони!», «Аполло!», «Сантори!», «Мариман!»...!..!

Но вот из ночи, поднимаясь над горизонтом, выплыла гигантская, подсвеченная прожекторами богиня Каннон. Тысячерукая Каннон – одно из воплощений Будды. Высеченная из камня, она возвышалась в этой сумасшедшей ночи над всем мельтешением реклам, как гора, как Фудзи. Светящаяся гора с древней непонятной улыбкой.

А у ее подножия мертвенно отсвечивало под луной скопление яйцеобразных газгольдеров.

## БОГИ, ХРАМЫ, ГАДАНИЯ

Мы в буддийском храме в районе Асакуса, в Токио. Алтарь Будды от толпы молящихся отделяет четырехугольная яма, взятая в крупную решетку. Туда бросают монеты. В храме довольно шумно: люди входят, выходят, не болтают, конечно, между собой, но сморкаются, кашляют. Призывая внимание бога, похлопывают в ладоши. Через головы летят монеты, звякают о решетку. Словом, довольно деловая обстановка. Ничего похожего на воскресные мессы в католических соборах или на православное богослужение.

Древние храмы отданы туристам. Вот храм Дайбутсу в священном городе Нара. Мы приближаемся к нему по священному парку, а за нами бегут ласковые, но несколько нахальные священные олени, выпрашивают печенью. Тычется теплым влажным носом священный олень тебе в ладони, а сзади тебе под зад поддает другой олень: обрати, мол, и на меня внимание.

В билете указаны габариты гигантского Будды, скрытого под крышей храма. Высота тела – 16,21 м, окружность лица – 4,84 м, окружность глаз – 1,18 м, длина носа – 0,48 м. Будда этот очень велик, несколько мрачен и суров. Конечно, снимать его запрещается, но вокруг трещат кинокамеры – японцы, американцы и прочие туристы усердно выполняют свои туристские обязанности. Я тоже, не будь дураком, навожу свой «Кварц» на Будду.

В одной из колонн храма круглое отверстие – кто пролезет через него, тот, значит, будет счастлив. Отверстие рассчитано на изящное японское телосложение. Неприятность случилась с одним американцем. Задорный этот человек полез в дыру, старательно ввинчивался и – застрял: ни назад, ни вперед! Плечи мешают, и другое место не способствует. Мы все, кто тут был, без различия политических взглядов и вероисповеданий, стали его тащить. «Мирное сосуществование», – подумал я, ухватившись за американскую ногу. Вытащили недотепу!

По дороге к синтоистскому храму на острове Миядзима бойко торгуют мелкие торговцы. «Сэр, купите любопытную чашечку!» На дне чашки изображена девица в прельстительном туалете. Наливаешь в чашку какую-нибудь жидкость, и пожалуйста – девица предстает в обнаженном виде. Деревянный древний храм прекрасен. Он

стоит на сваях над голубой прозрачной водой. Ворота его, похожие на иероглиф, далеко в море. Мимо них проплывают старинные стилизованные кораблики, драконы с дизельными моторчиками. Несколько монахов деловито принимают деньги; они продают «омамори» – амулет для мореплавателей и путешественников. Монахи не последние люди в туристском бизнесе.

Однажды я решил получить информацию о своей судьбе. Это было в Токио, в парке Уэно. Перед буддийским храмом стояли гадальные автоматы. Цена пустяковая – 10 иен. Я опустил монетку и вытащил длинную бумажку, испещренную маленькими иероглифами. (Вообще я полюбил иероглифы. Они очень красивы сами по себе, что бы они ни означали. Недаром каллиграфия считается в Японии искусством.) Потом Ирина Львовна любезно перевела мне предсказание. Начиналось оно стихами:

Когда приблизишься,  
По рукаву потянутся блики  
От белых цветов хачи.  
Цветы благоухают в лунном свете.

Затем следуют практические советы:

Нужно быстро идти вперед, не упуская момента.  
Если все будут действовать дружно, будет удача.  
При этом все-таки надо быть осторожным.  
Не следует идти туда, где, как вы знаете, плохо.  
То, что вы утратили, вряд ли вернется назад.  
Путешествие будет удачным, без неприятностей.  
В коммерческих делах вы будете иметь прибыль, но небольшую.

В области науки (искусства), если будете прилежным, добьетесь успеха.

Счастье вам принесет восточное направление.

В споре вы победите, но не нужно быть крикливым.

В отношении ваших служащих пока следует преждать – не увольнять и не нанимать новых.

И т. д.

Спустя несколько дней вечером мы гуляли с Такуей Хара и с Хироси Кимура по кварталу Синдзюко. На углу под черным зонтом сидел пожилой человек в черном шерстяном кимоно и в черной круглой шапочке. Иногда он зажигал ручной фонарик, давая понять, что гадает по линиям руки. Желая позабавиться, я бодро протянул ему ладонь. Толя (Такуя) и Сережа (Хироси) взялись переводить.

– Вы чужеземец, – сказал старичок.

Я поразился его проницательности.

– Вы литератор, – сказал он и после этого, быстро крутя мою ладонь, стал давать мне советы, аналогичные советам автоматического оракула из парка Уэно.

На перекрестке гулял сильный ветер, и в узких улочках Синдзюко раскачивались бумажные фонари и гирлянды. Сильный ветер гнал мою судьбу по улочкам этого странного города, и лишь цепкие пальцы старого колдуна мешали мне броситься за ней вслед. Что же мне делать с моими служащими и принесет ли мне счастье восточное направление? Все-таки я до сих пор надеюсь, что это была шутка Сережи и Толи.

Буддизм, синтоизм, амулеты, гадальные автоматы – то, что имеет отношение к судьбе и душе человека, в тех или иных видах мелькало в пестрой и бесконечной ленте нашего путешествия. И наконец мы подошли к Саду Камней – это святилище поклонников философии

дзен. Дзен – религия, не имеющая персонифицированного бога, религия, которая призывает смотреть в глубину своей души. Сад Камней – символ вечности. Отбросьте все ваши эгоистические мысли и побуждения, не воспринимайте внешних звуков, не думайте ни о чем, садитесь и спокойно смотрите на Сад Камней, попытайтесь раствориться в нем. Попытка к растворению в вечности – это и есть ваш молебен дзен.

В самом деле, эти камни, разбросанные с естественностью, свойственной только природе, как острова, и симметричные линии гравия, этот макет бесконечности, действуют каким-то странным образом, если долго смотреть. Может быть, моя попытка испытать состояние дзен и удалась бы, если бы не внезапный вой сирены «скорой помощи», донесшийся из-за стен.

## Улицы города Токио

По вечерам на самых людных перекрестках столицы зажигаются объявления:

«Сегодня в городе Токио убито 7 человек, ранено 123».

Вот час пик в районе Гинза. Без конца, без конца, без конца тянутся блестящие автомобили. Проносится надземка. Наконец перекресток открыт. В путь устремляются бесчисленные рати белых воротничков, сверкающих ботинок, серых и коричневых пальто. Над толпой плывет и рвется сигаретный дым. Шарканье подошв, болтовня, смех, пузырьки молчания...

Над перекрестком проносится хриплый крик: «Абнай!» Это означает: «Опасность!»

Опасный город, огромный город, волшебный, качающийся, мглистый и тревожный, магнитный город, плещущийся, лакомое блюдо, спрут, звезда – самый большой город мира.

Мы летели в Токио ночью все время над морем в крошечной темноте. И когда он появился внизу, с самолета, с десятикилометровой высоты, могло показаться, что все перевернулось и мы подлетаем сейчас к какой-нибудь туманности Андромеды.

Потом с автомобильной эстакады меня поразило безумие светящихся газов района Гинзы. «Безумие, ярмарка, водоворот! Как тут люди живут!» – так сказал однажды о Москве мой казанский приятель. А в общем-то ведь и в Токио, и в Париже, и в Москве люди живут себе – и в ус не дуют! У каждого своя циркуляция, свой уют, свой пузырь, который он проносит в любой самой шумной толпе.

Есть люди на вечерних улицах, объединенные чем-то общим. К примеру, рабочие в брезентовых робах, в желтых и зеленых касках. Может быть, их объединяет компрессор, подающий сжатый воздух к их перфораторам? Может быть, их осеняет длинная лапа экскаватора? Быстрые и веселые рабочие на вечерних улицах города Токио, что же вас объединяет в вашем ловком труде? Как называется эта объединяющая сила?

Должно быть, что-то объединяет и скупающих элегантных господ, подъезжающих в шикарных автомобилях к подъездам ночных клубов. Определенно, у них есть что-то общее, хотя каждый замкнут в сферу хромированного металла и толстого стекла. Как именуются нити, связывающие этих господ?

А вот и девушки, встречающие джентльменов, девушки в кимоно, сгибающиеся в традиционном поклоне. Их, конечно, объединяют традиции.

Девушки из бара «Альбион», длинноногие европеизированные бестии, затянутые в белые брючки и белые курточки... Этих прелестниц объединяет ритм твиста.

А вот одинокий предприимчивый жук – кепка сдвинута на нос, кашне до ушей.

– Сэр, ду ю лайк герлс?

– Но.

– А! Бойс?

– Но.

– О! А ю америкен?

– Но.

– Фрэнч?

– Но.

– Джермен?

– Но.

– Ху? – Жук в полном недоумении.

– Рашен.

– О! О! – Жук отбегает в сторону и смотрит издали в спину.

А вот одинокий печальный Санта-Клаус с рекламным плакатом на спине.

А вот человек с мегафоном в руке. Он кричит, надрывается: его дядю несправедливо привлекли к суду. Все, кто любит справедливость, должны явиться на процесс и защитить его дядю.

Прошли, растирая синие носы, два американских солдата в штатской, не по сезону легкой одежде. Похоже, что сорвались парни в самоволку. Трепещут на зимнем ветру свечи на лотках продавцов газет. Трепещут старухи, чистильщицы сапог. Трепещут нейлоновые елочки. «Мерри Крисмас!» («Веселого рождества!») «Тра-ля-ля, тра-ля-ля!» – медовый голос Фрэнка Синатры.

Течет мимо толпа одиночек: усталые клерки, подтянутые гуляки, девушки с кукольными личиками...

Вот я иду, одинокий иностранец: польский плащ, английские штiblеты, отечественный костюм. Я иду и ничего не понимаю – вышел на пятнадцать минут, а хожу уже два часа. Скажете вы, этот город мало приспособлен для прогулок. Да, это верно. Но почему он тянет меня все дальше и дальше в свой бензиновый, соевый, сигаретный лабиринт? Может быть, виной тому бесконечные светящиеся иероглифы, загадочные, как детские конструкции из спичек? Или бумажные фонари, качающиеся в узких переулках? Может быть, это столица Марса? Недаром так странны контуры рекламных башен.

Вот развеселая улица: с одной стороны – сплошной ряд стрип-шоу, с другой – кинотеатры. Справа нависают над тобой связки, гирлянды обнаженных женских грудей, слева на тебя нацелены бесчисленные гангстерские пистолеты. Здесь впору вконец растерять чувство юмора. Ходу, парень, ходу!..

Район Гинзы затихает рано. В 11 часов вечера уже почти нет прохожих, только шелестящие автомобильные реки текут по мостовой. Рабочие греются у костров. На перекрестках появляются маленькие дымящиеся тележки; они набиты «якитори» – удивительно вкусными шашлычками на деревянных палочках. Здесь закусывает простой люд. Хозяин ставит скамейку, трое или четверо присаживаются к тележке. Хозяин опускает брезентовую штору, замыкает пространство – и вот перед тобой только свеча, потрескивающие «якитори», усталые лица сотрапезников. Хозяин дружелюбно подмигивает иностранцу.

Я иду дальше по пустым улицам. Путь мой похож на полет летучей мыши. Где мой отель?

Приближается музыка, гул сотен голосов, шарканье подошв, и я вхожу в какой-то незна-

комый квартал, где, оказывается, и не собираются ложиться спать. Снова блестящие автомобили, франты, девушки, раскрытые двери бесчисленных ночных клубов и баров, рекламы, бумажные фонари. Но в боковую улицу сворачивает одинокий велосипедист. Он едет замкнуто и шатко, пожилой человек в шапке с длинным козырьком, только нос торчит и поблескивают бедные очки. Он удаляется, а мне хочется его догнать и побежать рядом. Нет, я не собираюсь к нему приставать с расспросами. Просто он очень близок мне, я слишком хорошо понимаю, что значит везти свой внутренний мир на двух маленьких колесах, на хрупких спицах уезжать в темноту. Я уважаю его – и все.

ТАКОЕ СЛОВО -  
«СПЛОЧЕННОСТЬ»!

Вот приплясывает на ветру группа смеющихся парней в зеленых нейлоновых куртках и каскетках. В руках у них плакаты с наспех накорябанными иероглифами. Ирина Львовна читает надписи:

- «Наш хозяин Макумато – главный жадина Японии! Все на похороны главного жадины!»

Эх, как весело этим ребятам! Как они смеются, представляя себе своего хозяина, награжденного таким титулом! Они приплясывают, хлопают себя по бокам и друг друга по плечам. Все новые и новые ребята в каскетках подбегают к ним; их становится все больше и больше. Трепещи, Макумато! Вот слово, которое объединяет этих парней: «сплоченность»!

Бесшумно летят вверх скоростные лифты гигантской Токийской башни. Девушки с кукольными личиками – лифтерши – тихими, нежными голосами благодарят туристов за посещение. «Спасибо, большое спасибо!» («Аригато, домо аригато!») На рукавах у девушек красные повязки с надписью: «Сплоченность!» Это знак солидарности с бастующими шахтерами.

Ах, девушки, милые девушки, оказывается, вы не просто рекламные символы высшего японского сервиса!

Шахтеры съехались в столицу из разных префектур. Намечена была грандиозная демонстрация перед парламентом в знак протеста против закрытия многих шахт. Отряды шахтеров двигались по мостовой, большие отряды коренастых людей в брезентовых робах и желтых касках с красными повязками на них. И на повязках опять это слово: «Сплоченность!»

Они шли и пели, пожилые рабочие сдержанно улыбались, молодые хохотали. Я уверен, что у каждого из них в душе царила в эти минуты тревожная революционная праздничность.

Они шли не в ногу и размахивали руками не в такт, но не сбивались в кучи и не топтались на месте. Их объединял в этот момент не пронзительный свист милитаристских флейт, не гром устрашающих барабанов, не субординация, не погоны, а одно лишь торжественное слово – «сплоченность»!

Цепенея, я смотрел на их движение, и кожу мою охватывал озноб, который возникает от прекрасной музыки или от стихов, возникает у человека в минуты высшего душевного подъема.

Толпа на тротуарах молчала, и дрожали от непонятных чувств оскаленные радиаторы в автомобильной пробке.

## ПАЧИНКО

В промозгом, сыром бензиновом чаду дрожат, переливаясь нежным голубым светом, буквы, составляющие дикую абракадабру: «Интернейшнл центр пачинко Нью-Мексико». Из окон на мостовую низвергаются джазовые обвалы.

С улицы виден большой зал с длинными рядами таинственных блестящих аппаратов. Сквозь джаз прорываются резкие звонки, слышится грохот скатывающихся металлических шариков. То тут, то там вспыхивают красные лампы.

Перед машинами стоят сумрачные мужчины с пустыми глазами. Правая рука непрерывно нажимает рычажок – вылетают и кружатся по лабиринтам металлические шарики. В левой руке – дымящаяся сигарета. На голове – кепка, на шее – шарф, под ногами – окурки.

Пачинко – это азартная игра, завезенная в Японию из Гонконга. Вы покупаете в кассе несколько шариков и идете к аппарату.

Перед вами застекленная поверхность с несколькими отверстиями. Цель – загнать шарик в одно из этих отверстий. Если вам это удастся, раздастся звонок, загорится красный свет, и аппарат выбрасывает вам премию – определенное количество шариков. Но чаще всего шарики, бестолково покружив по поверхности, продравшись сквозь частокол маленьких столбиков, исчезают в нулевом отверстии, и вы оказываетесь на бобах. Если же вы в выигрыше, то можно подойти к кассе и обменять выигранные шарики на сигареты, консервы, конфеты, жевательную резинку. Нужно только усилием воли прекратить эту заразную игру.

Пачинко – это огромный бизнес. Во всех городах и на железнодорожных станциях существуют

бесчисленные павильоны пачинко. Иногда это грязные забегаловки, иногда крупные заведения вроде «международного центра Нью-Мексико».

«Нью-Мексико» располагался напротив нашего отеля. Там я тоже однажды попал в эту азартную карусель. Купил десятка два шариков и стал неумело запускать их по одному, нажимая на рычаг. Рядом работал «профессионал». Он только презрительно покосился на меня. Презрительный глаз его сверкнул из облака сигаретного дыма. Карманы его оттопыривались: в них лежало несметное количество шариков. За стеклом перед ним одновременно плясало не меньше десятка шариков. Большой палец его правой руки непрерывно нажимал на рычаг, а остальные пальцы непрерывно запихивали в аппарат все новые и новые шарики. Аппарат его почти непрерывно звонил, выбрасывая премиальные порции. Мне удалось выиграть какую-то ерунду только на пятнадцатом шарике. Вместо двадцати у меня оказалось их теперь всего десять, но радость, возникшая при удачном попадании, была так сильна, что я снова пустился в игру. Сосед работал рядом в непрерывном грохоте и звоне. Вдруг он затих. Я повернулся к нему – оказалось, что он совершенно прогорел в каких-нибудь несколько минут. Мой аппарат зазвонил и звонил после этого почти не переставая. Карманы мои разбухли от шариков. Сосед с философским спокойствием наблюдал за мной, а я совсем ошалел. Сосед тронул меня за плечо: хватит, мол, парень, иди получай выигрыш. Но я только помотал головой и, нажимая, нажимая, нажимая на рычаг, в две минуты просадил все. Сосед хрипло расхохотался и приподнял кепку. Я побрел к выходу.

На улице я долго стоял и смотрел в окно на зал пачинко. Сосед мой уже выкладывал у кассы но-

вые денежки. Другие мужчины упорно торчали перед аппаратами, тупо глядя перед собой, не видя вертящихся шариков, чуть покачиваясь под грохот музыки, занимаясь этим общим делом каждый в одиночку.

### ХИРОСИМА И ГЕРНИКА

– Япония – печальная страна, – сказал как-то раз поэт Кусака.

Мы прогуливались по узким улочкам в районе Синд-зюко. Над нами в вечернем зеленом небе висела чудовищная реклама турецких бань.

Я вспомнил крики бейсболистов и взмахи их бит, крепкий шаг веселых демонстрантов, мелькающие рекламы, бешеный торговый раж Японии, поразительную автоматику заводов, и опять бейсболистов, и хриплые выкрики борцов «смо»...

– Печальная? Почему?

– Печальная страна, – повторил Кусака и отвел взгляд в сторону.

Крепенький такой, невысокий поэт, деловой ежик волос, деловые очки.

– Вы поэт, Кусака; вы ищете печаль.

Он не ответил. Что мог он объяснить мне, заезжему иностранцу? Поэты знают, где живет печаль, но это их секрет.

Я вспомнил, что мне рассказывали о Токио первых послевоенных дней. Гигантское пепелище, над которым поднимались лишь бесчисленные несгораемые шкафы – все, что осталось от семейных очагов. Вокруг этих шкафов начинала возрождаться жизнь – копали землянки, огораживали садики. Вон как вымахала эта жизнь –

в стальной, железобетонный и алюминиевый город, лихорадочно деловитый город, где печаль – ищи-свищи!

Но вот наш поезд приближается к центру японской печали, к центру всемирной печали – к Хиросиме. Прямо с вокзала мы приехали в отель, в потрясающий модернистский «Хиросима Гранд-отель». Был яркий солнечный день, и мы отправились по бурлящим хиросимским улицам к тому месту, где когда-то на стене банка отпечаталась тень сгоревшего, испепелившегося в один миг человека.

В толпе туристов мы постояли перед этой тенью. Стрекотали кинокамеры. Вдали виднелось произведение Корбюзье, Музей атомной бомбы – стеклянный пенал на железобетонных ногах. Мы подошли к памятнику и возложили венок. Рядом с памятником несколько торговцев продавали памятные открытки и сувениры.

В мрачном и странном тоннеле памятника, в его внешней и внутренней сферах было много скорби, но все-таки как-то не верилось, что здесь, на этом месте, когда-то бушевало смертоносное пламя. Может быть, яркое солнце, и купы чистой зелени, и вид города с рекламными башнями были тому виной, но надо было все время себя контролировать, все время напоминать себе о том, что это здесь, здесь, что это было здесь, где ты сейчас стоишь.

При возвращении из Парка Мира в отель мы прошли мимо бейсбольного стадиона. Оттуда доносился рев хиросимских болельщиков.

Со странным чувством я покидал этот город. Если чем и потрясла меня Хиросима, так это своей благотворной забывчивостью.

Под ярким солнцем в элегантных аллеях парка трехсоттысячный шумный город экспонирует пе-

ред многочисленными туристами последние следы своего горя.

Шофер такси рассказывает. Да, у него здесь погибли родственники, но сам он в это время был в Квантунской армии. Свидетелей взрыва сейчас осталось мало, в основном живет здесь приезжий народ.

«Искусство лучше напоминает о страшных днях человечества, чем вещественные доказательства», – подумалось мне, когда я вспомнил «Гернику», выставку Пикассо в токийском парке Уэно.

Страшные плакальщицы Пикассо и раненые кони, напоминающие о Лорке, весь раздираемый, разрушаемый звериной фашистской силой человеческий мир, все Герники, Ковентри, Киевы, Варшавы глядели на нас с огромных панно, с бесчисленных этюдов великого мастера.

И в поднятых кверху лицах молодых японских студентов жила память о Хиросиме.

Так, должно быть, и надо: забывать – и жить, а страшной памяти посвящать только значительные минуты одиночества. Ведь когда смотришь на «Гернику», остаешься совсем один, в какой бы плотной толпе ты ни стоял.

## ПИСАТЕЛИ

Вот один из людей, знающих адрес печали: писатель Кайко, мой сверстник. Замшевая куртка, грубый свитер, резкий голос, отрывистый хохот, надменно вскинута голова. Жизнь его странным образом связана с производством и распространением спиртных напитков. В пору своей бедности он служил в рекламном отделе фирмы, произ-

водящей виски и саке. В ту пору он изобрел странного, смешного человечка, эдакого японского Париока, чудака и недотепу, большого поклонника продукции этой фирмы. Человечек появился на рекламах, в газетах и стал чрезвычайно популярным. Теперь он живет своей особой, независимой от Кайко жизнью. Тексты для него пишут другие.

– Реки виски, озера саке – вот источник моего пессимизма, – говорит Кайко.

– А вы пессимист?

– А как вы думаете? Лучшие годы молодости я посвятил черному делу.

– Это ужасно, да?

– Ужасно!

– Советую вам стать сторонником сухого закона. Может быть, избавитесь тогда от пессимизма.

– Ваше здоровье! – хохочет Кайко.

Мы ведем этот шуточный разговор, держа в руках подогретые бутылочки саке.

Шутки шутками, но Кайко описывает жизнь токийского дна. Он имеет доступ в те кварталы, где респектабельным джентльменам появляться не рекомендуется. Это остросоциальный и гневный писатель.

Мы сидим в баре «Вантей». Вдоль всей стойки тянется вделанная в нее полоса жести – это жаровня. Юноша-бармен перед каждым посетителем смазывает жаровню маслом, бросает устриц, тонкие ломти мяса, лук, какие-то корни, поджаривает это на ваших глазах, ловко орудуя длинными деревянными палочками – «хаши».

Рядом с Кайко сидит его друг, совсем молодой писатель Оэ. В противоположность Кайко все на нем подогнано ниточка к ниточке, волосок к волоску – аккуратная прическа, элегантный кос-

твом, за толстыми стеклами очков улыбающиеся вежливые глаза. У этого благовоспитанного молодого человека достало мужества написать резко антифашистский роман, непосредственно откликнувшийся на события политической жизни Японии.

Все помнят, конечно, как прямо на трибуне ножом фашистского убийцы был заколот генеральный секретарь Социалистической партии Японии.

Оэ написал об убийце. В его романе это юноша из уважаемой буржуазной семьи, жалкий мальчик, занимающийся онанизмом, измученный своими комплексами, стремящийся к самоутверждению любой ценой. Его приводит в стан фашистов преклонение перед их силой, жестокостью и решительностью, стремление и самому стать таким «суперменом».

После опубликования романа эти «супермены» настойчиво тревожили Оэ телефонными звонками, сипло выли в трубку и угрожали.

Ладно, что там о них говорить, разве мало других тем? Мы сидим с Кайко и Оэ в баре «Вантей» и говорим, говорим о пессимизме и оптимизме, о «новом романе» и о старом романе, о милых наших женщинах и детях, о разных морях, над которыми летали. Мы познакомились еще в Москве несколько месяцев назад, а сейчас сидим здесь. Тепло, потрескивает странное жаркое, за окнами квакают «форды» и «ниссаны». Бармен усиливает звук радио, хохочет Кайко, улыбается Оэ... Где же адрес японской печали?

...Однажды я проснулся рано и смотрел с десятого этажа вниз на мокрый утренний Токио, покрытый разноцветными кружками зонтов. Зонты бежали в разных направлениях, пути их пересекались, они кружили, исчезали, но появ-

лялись новые. Тогда мне стало вдруг печально. А может быть, старый велосипедист, мой друг, ехал как раз по тому адресу? Страна эта показалась мне близкой, но в то же время далекой и туманной. Что узнал бы я о ней за три года, за десять лет? Можно досконально изучить язык и историю и располагать самыми точными статистическими данными, но раствориться в чужом народе нельзя. У души нет «НЗ», вся она отдана своей стране. Должно быть, поэтому и нельзя узнать точный адрес чужой печали.

### РУССКОЕ ПЕНИЕ

Однажды профессор Курода пригласил нас в университет Васэда. Великий знаток русской литературы, профессор ни о чем другом, кроме этого предмета, говорить не может. Мы шли по территории университета и вели какой-то литературный разговор, когда послышалось пение. Изумлению нашему не было предела – это была популярная наша песня: «И снег, и ветер, и звезд ночной полет...»

На ступенях административного университетского здания, стилизованного под Кембридж, молодежный хор распевал советскую песню. Парни и девушки в свитерах и джинсах покачивались обнявшись, а толпа слушателей, черноголовых студентов, бурно их приветствовала. Рядом стоял грузовик, в котором перемещаются по стране артисты этого популярного хора.

Пение вообще очень популярно в Японии. Поет 65 процентов населения. Есть бары, где только поют и почти ничего не пьют. Они так и называются – «поющие бары». Там собирается моло-

дежь, сидят с песенниками в руках и поют хором. О популярности русских песен можно судить уже по тому, что самый известный такой бар называется «Катюша».

Есть еще бар «На дне». Он стилизован под мхатовские декорации к горьковской пьесе, и все надписи внутри сделаны по-русски. Курода повел нас однажды в этот бар. Там была печь, возле нее сидели певцы и подбрасывали в пламя поленья. Пели «Степь да степь кругом».

– Вот русские, – представили нас хозяину.

Хозяин, молодой, ослепительно улыбающийся человек, вежливо нас приветствовал, но был, должно быть, разочарован тем, что на нас обычное европейское платье, а не сапоги и поддевки. Бар приносит хозяину доход незначительный, потому что в нем обычно сидят певцы, а не пьяницы, но он содержит его, потому что «самому интересно». Человек этот, должно быть, основательно погружен в мир этой странной, стилизованной России, в мир косовороток, самоваров, балалаек.

Мы уже испытывали сильные приступы ностальгии, и поэтому нам было приятно в этом баре, хотя многое и смешило.

Странное свойство есть у современных людей: как сильны в нас традиционные представления о чужих странах, идущие из далекого прошлого! Конечно, все японцы знают о спутниках и русских космонавтах, но где-то в глубине их ума живет привычный образ России – необъятная снежная степь, оглашаемая только звоном валдайских колокольников.

Кстати, и у нас так же. Перед отъездом моим в Японию многие мои высокоинтеллигентные знакомые хитро подмигивали и говорили:

– Понятно, старик!.. Гейши, рикши!..

Понятно, Япония – страна гейш, «чайный домик вроде бонбоньерки», и семеро самураев, и т. д.

Стоит ли говорить о том, что рикш в Японии нет ни одного, а что касается гейш...

## ГЕЙШИ

Настоящие японские гейши сохранились только в городе Киото, в знаменитом квартале Гион. Во всех других местах если и есть что-нибудь похожее, то это только подделка, рекламная стилизация.

Гейши в квартале Гион живут своей обособленной от американизированной Японии жизнью, и в самом квартале свято поддерживается стиль и дух XVII века.

Нас привез туда господин Иода, сценарист знаменитого фильма «Рошамон». Гион поразил нас своим неожиданным после неоновой свистопляски центра спокойствием, сумерками и тишиной. Здесь нет ни одной световой рекламы. Над входом в маленькие легкие домики висят только тихие – электрические все же – фонари.

Хозяйка чайного домика, старушка с удивительно добрым лицом, встретила нас традиционными поклонами. Вместе с ней кланялось еще несколько старушек. У входа мы расстались со своими ботинками, надели шлепанцы и поднялись по лестнице. Наверху мы расстались и со шлепанцами и в одних уже носках ступили на «татами». Расселись вокруг низкого – два вершка от пола – стола.

Хозяйка внимательно посмотрела на Вальдемара Кристаповича и сказала:

- Какое у вас умное, хорошее лицо.
- Ну что вы... – засмутился наш руководитель.
- Как вы перенесли путешествие? – с непередаваемым участием поинтересовалась хозяйка.
- Спасибо, хорошо, – с некоторой растерянностью пробормотал он.

Хозяйка повернулась ко мне:

- Какое у вас умное, хорошее лицо.
- Вот как?.. – глупо ухмыльнулся я.
- Как вы перенесли путешествие? – посочувствовала она и мне.
- Запросто, – буркнул я.

Ирина Львовна на те же фразы, обращенные к ней, реагировала спокойно. Она-то знала, что хозяйка просто-напросто выдерживает ритуал XVII века.

Появились две гейши, совсем молоденькие девушки в старинных кимоно, с невероятно высокими и замысловатыми башнями причесок. Это были даже не гейши, а так называемые «майко» – девушки, ждущие посвящения в сан гейши. К их туалету и прическам предъявляется гораздо больше требований, чем у взрослых гейш. Чего только не было в их волосах: цветы, гребни, какие-то серебряные перекладки, гирлянды маленьких колокольчиков.

Девушки присели рядом с нами и стали подливать нам зеленый чай и sake и занимать приятной и легкой беседой. «Как вы провели путешествие? Какое у вас умное, хорошее лицо!» и т. д. Постепенно все-таки мы отошли от ритуала, и я рассказал несколько невинных анекдотов. Майко-сан весело смеялись.

– Какой у иностранцев интересный юмор! – сказала одна.

Другая взялась рисовать и очень быстро каждому из нас преподнесла по портрету.

Появилась взрослая, царственно красивая и величественная гейша. Нам объяснили, что это одна из самых популярных гейш – телевизионная «звезда». Да-да, эти девушки XVII века выступают по телевидению.

Потом пришла пожилая гейша, почти уже вышедшая в тираж. Она взяла струнный старинный инструмент, так называемый «шамисэн», заиграла на нем и запела гортанным горьким голосом. Майко-сан начали танец. Вслед за ними соло танцевала красавица гейша. Как выяснилось потом, танцы эти были уже сверх программы, только лишь из уважения к русским гостям.

В загадочных этих танцах было много еле уловимых движений, наполненных символами, недоступными нам, грубым чужеземцам. Лишь Иода, великий знаток старины, все это прекрасно понимал и был в полном восторге. Мы же лишь догадывались, что в этом есть что-то важное, значительное. Нам лишь оставалось любоваться старинной грацией танцовщиц.

После танцев мы откланялись. На прощание я поцеловал руку хозяйке, что привело ее в легкое смятение. Я нарочно подчеркиваю целомудренность нашего визита к гейшам для того, чтобы рассеять не совсем правильные представления об этом институте. Настоящие гейши из квартала Гион – это отнюдь не женщины легкого поведения, это артистки, волей или неволей посвятившие свою жизнь поддержанию угонченнейших традиций японского Средневековья. Жизнь их оплетена сложной сетью старинных предрассудков и, может быть, даже феодальных порядков, но так уж они живут.

Другое дело токийские проститутки, рядящиеся под гейш. Их можно видеть каждый вечер на задних сиденьях гигантских автомобилей с по-

чтенными пьяными господами, директорами компаний и концернов.

Традиции квартала Гион – это очень дорогие традиции. Иода, человек с гипертрофированным чувством гостеприимства, сильно раскошелился, пригласив нас туда. Но богатство не всегда открывает двери чайных домиков. Рокфеллер, сунувший под дверь банковский билет в миллион долларов, был бы немедленно выставлен вон. Надо быть другом дома или иметь очень солидные рекомендации, для того чтобы увидеть танцы гейш и услышать звуки шамисэна.

Впрочем, в Японии много традиций, доступных всем, даже Рокфеллеру.

## ПРАЗДНИК В АСАКУСА

Однажды я случайно наблюдал собрание токийских пожарников. Это были не простые пожарники, а старейшины, человек пятнадцать, мудрецы и казначеи этого цеха. Они вошли в помещение в черных средневековых костюмах – на плечах пелерины с красными геральдическими знаками, худые старческие ноги обтянуты рейтузами. Они были преисполнены суровости и важности. Сели, поджав под себя ноги, на татами и, попивая кока-колу, приступили к обсуждению предстоящего традиционного праздника пожарных команд.

Но самое удивительное сочетание традиций и модерна пришлось нам наблюдать на предновогоднем народном празднике «хагоита».

Некогда, несколько веков назад, при дворе императора самураи ввели в ход игру, напоминающую бадминтон. Ракетками они перебрасы-

вали друг другу волан с хвостиком из птичьих перьев.

С тех пор ракетки «хагоита» утратили свое значение и превратились в украшение для жилищ. За неделю перед Новым годом в районе Асакуса устраивается традиционный базар «хагоита». Сотни ларьков разбиваются на площади перед буддийским храмом. Здесь продают «хагоита» самых всевозможных расцветок и размеров, от маленьких до гигантских и очень дорогих. На ракетках изображения артистов театра «Кабуки» или других популярных людей. В 1961 году самой ходкой ракеткой была ракетка с изображением Юрия Гагарина.

Здесь развлекался простой народ. Жарили «якитори», жарили орешки, в медленных центрифугах взбухала розовая сахарная вата. Над головами плыли резиновые крокодилы, драконы, зайцы, длинные колбаски, огромные шары. В ларьках энергично торговали «хагоита» молодые продавцы в кимоно. «Хай!» – кричали они, когда кто-нибудь делал покупку.

А если ты покупаешь самую дорогую гигантскую ракетку, продавцы окружают тебя, хлопают в ладони и трижды кричат: «Хай! Хай! Хай!»

Тут уж операторы телевидения и фотокорреспонденты бросаются со всех ног.

Музыка, музыка... Японские песенки, твист, «Катюша»...

«Цок-цок-цок!» – некто прошел на деревянных колодках вместо башмаков.

Почтенные господа с зонтиками в руках.

Тедди-бойс в кожаных куртках.

Дамы в мехах.

Бедные девушки на тоненьких каблучках.

Предсказатель судьбы перед черной доской с мелом в руке словно учитель.

Объявление полиции:

«Берегитесь темного босса!

Здесь действует темный босс».

Люди «темного босса» – трое ухмыляющихся  
квадратных парней.

– Хай! Хай!

Башня вся в огнях. Огненное небо.

В зубах у вас сахарная вата, в одной руке «хаго-  
ита», в другой трещотка.

До свидания, Япония!

Я обрываю здесь свои записки, хотя мог бы их продолжать еще на сотне страниц. Все это – случайные наблюдения. Это Япония, показавшая мне несколько из своих тысяч лиц. Когда-нибудь, надеюсь, мне удастся еще раз посетить эту страну. Сосед наш с маленьких островов за небольшим Японским морем – это человек крепкий, деловой, интересный. Надо почаще встречаться с ним.

1963

# ПОД НЕБОМ ЗНОЙНОЙ АРГЕНТИНЫ

## 1. ОТЪЕЗД

Странным образом иной раз складывается наша жизнь: сидишь, работаешь, прикидываешь – не съездить ли куда-нибудь, но время терпит, а дома дел хватает, договор, аванс, ой-е-ей! – а днем московская суета и гонка на такси, и дела тебе нет до каких-то отдаленных точек земного шара, но в это время кто-то где-то произносит твое имя, и собеседник незнакомца кивает головой, у этих двух людей возникают свои планы на твой счет, снимается трубка, звонок, еще звонок, а ты в это время останавливаешься возле какой-нибудь кофеварочной машины, а твой дружок из толпы машет тебе рукой и кричит:

– Тебя весь день разыскивают какие-то шишки! Тебя посылают на кинофестиваль в Аргентину! А ты смотришь на него с печалью, «совсем забегался мой товарищ, как-то глупо стал шутить», но на другой день начинаются сборы, и ты уже чувствуешь себя чужаком в крикливой толпе возле кофеварки и на вопросы отвечаешь:

– Нет-нет, я уезжаю в Аргентину.

– Это невозможно, я еду в Аргентину.

– Что? Какая ерунда! Я лечу в Аргентину.

Право, человек, уезжающий через пару дней в Аргентину, обладает некоторыми преимуществами перед другими мирянами. Он может даже совершить какой-нибудь глупый поступок, и никто на него особенно не обидится. Что, мол, с него возьмешь, ведь он через пару дней куда-то уезжает.

В последние часы перед отлетом ты убеждаешься, подобно некоей сумасбродке из стихов Винокурова, что «мир – это легкая кутерьма». Будто ты едешь в Ленинград, столь же естественным образом ты собираешься в дорогу, бросаешь в чемодан какое-то бельишко, какие-то книжки, лепечешь какие-то чужеродные слова – «таможня», «виза», «досмотр», выбегаешь, погоня за зелеными огоньками, суতোлка Столешникова перулка, его наивная роскошь, а также ночь, стоп-сигналы муравьиными отрядами убегают вверх по Самотеке, кружение снега, напоминающее о литературе XIX века, но хотя бы что-нибудь у тебя сосало под ложечкой, ты прыгаешь кузнечиком из такси на асфальт, с асфальта – в магазин... Ох, выйдет тебе боком эта суета!

Под небом знойной Аргентины,  
Где небо южное так сине,  
Где женщины как на картине,  
Там Джо танцует с Клё...

## 2. КОКТЕЙЛЬ

Белые смокинги и черные смокинги, а я – в сереньком пиджачке. Даже английские «ангримены» вырядились в смокинги, а я, балда эдакая,

на ночном коктейле в «Алвеар-Палас-отеле» – скромняга парень в сереньком пиджачке.

Президент фестиваля сеньор Марио Лосана – это: тоненькие усики, офицерская статья, кастильская кровь, а? – без всяких примесей, сочная улыбка любителя сочных бифштексов.

– Господа, туалет чехословацкой актрисы Валентины Тиловой превзошел все наши ожидания. Мы можем поздравить сеньору Валентину и вручить ей...

Американский актер Чак Паланс – это: ручки ниже колен, ручки при медленном движении проносятся чуть впереди тела, ручки в основном, но плюс к ним бесстрастная маска бывалого ковбоя.

– Ар ю рашен? Ай есть украинец, май батько Охрименко...

Телевизионная звезда Аргентины Амбар Ла-Фокс – это: грудь, грудь, грудь, грудь, грудь, грудь и плюс бедра.

– Да, господа, да! Да-да-да! Оп-ля, тра-ля-ля!

Профессор Бомбардини – это: голубые, представьте, очки, внушительный массив лба, но, вообразите, – вертлявый зад.

– Неореализм себя изжил, сюрреализм себя изжил, реализм не существует, авангардизм дышит на ладан, а неоавангардизм изжил себя, еще не родившись. Вот так, сеньоры, печальная картина.

Французская актриса Фабиана Дали: умопомрачительное золотое платье со шлейфом, за шлейфом хвост фоторепортеров, томные взгляды на мужчин, на профессора Бомбардини, быстрые взгляды на Амбар Ла-Фокс, Валентину Тилову и других прелестниц, которым нет числа, – еще посмотрим, кого объявят «Мисс Фестиваль».

– Да, месье. О нет, месье! О нет, нет, нет...

Промышленник Сиракузерс, буйвол мясной индустрии: характерные черты буйвола мясной индустрии, мощный загривок, седая щетка на голове, черные брови, золотой зуб соседствует с платиновым, палец с бриллиантом чешет ухо, в котором – рубин.

– Да-да, господа, так и напишите – я за слияние мясной индустрии с кинематографом.

Английский актер Том Куртней, одинокий стайер писателя Силлитоу и режиссера Ричардсона: низкий рост, быстрые движения, резкий смех, уверенность в себе, чувство юмора, чувство гнева, как и полагается «ангримэну».

– Я сердитый молодой человек. Я вот говорю с вами, сеньора, а сам оглядываюсь все время во гневе, оглядываюсь во гневе, честное слово.

Генерал в отставке Пистолетто-Наганьеро: каска, латы, ржавый меч, три метра аксельбантов, полметра усов, на одной руке четыре кольца, на другой – семь.

– Мне все понятно, сеньоры, – плутократы и коммунисты хотят поспорить нашу авиацию с флотом, столкнуть лбом мотоциклетные и саперные части, ефрейторов натравить на сержантов. Не выйдет, сеньоры, я – начеку!

Продюсеры, режиссеры, правительственные чиновники, дипломаты, военные в белых и черных смокингах, в мундирах, декольтированные жены этих господ и звезды в драгоценностях беспрерывно и медленно перемещались под лепными, вычурными потолками, проходили мимо с улыбками, представлялись друг другу, поднимали бокалы с gin-n- tonic, с hayball, с martini, украдкой почесывались, позировали спящим по залу фотографам, и мне совсем что-то стало скучно и тоскливо, хотя я впервые был на таком буржуазном коктейле и мне должно было

быть хотя бы любопытно как писателю. Еще не прошло и двух дней, как я вылетел из морозной Москвы, расстался с сердитыми и встревоженными друзьями, с больной женой, с маленьким Китом, пролетел над Европой и попал в Париж, где бушевал мартовский ветер и хлопали шторы на улице Риволи и осыпались стеклянные витрины на Елисейских Полях, а потом – ночью – в «Боинге» над Испанией, над Средиземным морем, над Африкой, и – чашка кофе в Дакаре из рук сенегальца, и – над южной Атлантикой, и – над Рио-де-Жанейро, где косо под крылом простерлась Копакобана и обозначилась Сахарная голова, и – над желто-зеленой Южной Америкой, и вот попал в эту парилку, в толпу статистов среди аляповатых декораций «Альвеар-Палас-отеля». Весь этот коктейль показался мне сценой из дурного фильма тридцатых годов. Я уже много путешествовал до этого, но нигде не приходилось видеть такой жизнерадостной и старомодной буржуазности, такой отрыгивающей буржуазности, такой, черт возьми, совершенно карикатурной буржуазности.

Потом, в середине фестиваля и к концу, когда помпезность лопнула и все малость слиняло и стало нормальной, естественной, я понял, что был несправедлив и зря представлял себе публику в «Альвеаре» как сплошную буржуазную массу. Там, конечно, бродили в толпе симпатичные и толковые люди – тот же Том Куртней, и Тони Ричардсон, и Станислав Ружевиц, и мексиканец Рубен Рохо, и Амбар Ла-Фокс оказалась вполне «свойской бабой», и там был Васко Пратолини, но я его тогда не знал, да и вообще почти не различал лиц, а видел только груди, пузища, зады, зобы, стекляшки, пуговицы, и парился, и злился в своем сером пиджачке.

- А кто этот господин в сером?
- Это, конечно, русский офицер. Его прислали сюда под видом писателя.

### 3. ПРИЕЗД

В аэропорту Буэнос-Айреса нашу делегацию сразу отделили от всех других пассажиров, завели за какой-то барьерчик и здесь сфотографировали, ослепили вспышками, небритых, помятых, в шерстяных рубашках и теплых куртках. Фотографов было человек тридцать, но вот странность: снимок появился только в одной маленькой газетке.

Снимок был черен, но все же четыре белых пятна – наши лица – смутно маячили на нем. Подпись к снимку гласила вот примерно что: «На международный кинофестиваль в Мар-дель-Плата прибыла делегация русских. Слева направо: Борис Ситон, русский писатель, друг Чехова (это глава нашей делегации Виктор Сытин), Базили Либанов, продюсер-финансист (это артист Вася Ливанов), Альберта Бурлак, киноактриса (это наш переводчик Альберт Бурлак, лысоватый, небритый парень), Борис Арсенов, офицер пожарной охраны киностудии «Мосфильм» (это – я).

После фотографирования нас провели в таможню, в отдельное помещение, где осуществлен был досмотр наших чемоданов. В досмотре участвовало от десяти до двадцати усатых, волооких красавцев. Из чемодана Базили Либанова была извлечена металлическая трубка.

– Ля бомба, – неудачно сострил Либанов.

Красавец нажал кнопку, из трубочки с двух сторон что-то выскочило. Красавец отбросил трубочку и упал на пол. Все красавцы залегли. «Баси-

ли» поднял трубочку над головой. Это были плечики для костюма. Красавцы встали.

– Ну, а это что такое? – спросил старший красавец, вынимая из моего чемодана повесть «Апельсины из Марокко».

– Беллетристика, – поклонился я.

Красавец взялся листать мою злополучную повестушку, потом унес ее к себе, в маленькую комнатушку, видимо увлекся. Вернулся нахмуренный. Усы стояли косо на лице, а брови сошлись и торчали вверх, как редакторская птичка.

– Где вы видели таких молодых людей? – сурово спросил он.

– В жизни, – скромно ответил я.

– Много пьют в этой вашей книжке, – сказал он.

– С полочки, – пояснил я.

– А апельсины – это что, символ?

– Вроде бы так, – сказал я.

– Выходит – символизм? Символический намек, вроде бы так?

– Да что вы, – испугался я. – Никаких намеков. Простая история. Простая жизнь. Любовь.

– Слушайте меня внимательно, – хмуро заговорил он. – Проблема типичности – важнейшая проблема литературы. Типические характеры в типических обстоятельствах, с конкретизацией определенных исторических и социальных предпосылок, а также с учетом морально-этических и эстетических принципов времени – вот что нужно читателю, лирро-бутылло сик!

Мы уставились друг другу в глаза, я в его знойные, туманные очи, он в мои блеклые северные буркала, мы молчали и чуть покачивались, задумчиво мыча. Над нами кружила, жужжа, крупная муха с изумрудным фюзеляжем. Она кружила ровно и монотонно как заведенная, а потом вдруг рванулась в форточку и, набирая высоту, исчезла

в солнечном блеске, – видно, полетела в родную нашу Европу.

– У нас этих апельсинов навалом, – просиял вдруг мой красавец. – С наркотиками бывают перебои, а апельсинов – есть не хочу.

Он бросил книжку на белье и захлопнул мой чемодан.

У дверей таможни толпились и заглядывали внутрь любопытные, главным образом в полицейской форме, было их не меньше взвода. Наконец мы сели в машины и покатали по плоской нежно-зеленой равнине, посреди которой высились гигантские рекламные предметы, сигаретные коробки и бутылки, что в соседстве с маленькими домиками и черепичными крышами сообщало пейзажу какую-то надреальность.

Вполне могло оказаться, что на равнине вдруг появился бы человек, соответствующий своими размерами не домикам, а коробкам и бутылкам. Качнувшись, он отхлебнул бы из бутылки и вытащил бы из коробки сигарету величиной с заводскую трубу.

И вот мы въехали в этот невероятный город, увидели его теснины, шеренги небоскребов, поднимающихся на холмы и спускающихся с холмов, необычайно пышные и огромные памятники бесчисленным генералам, весь этот шумный, лихой и таинственный город в закате лета.

Здесь были и привычные для глаза маленькие площади, перекрестки и углы, похожие на европейские, парижские или даже ленинградские места, но это соседствовало с чем-то особенным, с чем-то не совсем выразимым, с какой-то удивительной странностью, связанной для нас со словами «Южное полушарие», «Новый свет», «под небом знойной Аргентины танцуют все танго»...

Видимо, не только я это чувствовал. Вася Ливанов вдруг засмеялся и сказал:

– Тезка, что-то в этом городе есть пиратское, а? Понимаешь, такое ощущение, как будто что-то здесь осталось от тех времен...

От каких времен, он и сам, конечно, толком не знал, и слово «пиратское» ничего, конечно, не определяло, а только лишь в самой ничтожной степени окрашивало наше сложное впечатление от этого города.

Потом мы увидели, какой необычный здесь проживает народ.

#### 4. ТАНЕЦ

В одном из залов начался твист. Все повалили туда. Фабиана Дали летела, как сказочная золотая кобылка. Подол ее платья вдруг разделился надвое, обнаружив затянутые в золотые же брючки твистовые ноги. Это, конечно, привело фоторепортеров в неистовое состояние. Они совершали гигантские прыжки, ползали под ногами твистующих, чтобы запечатлеть новое достижение «Дома Диора».

А Фабиана-то, Фабианочка! Ух, разошлась с профессором Бомбардини. А у профессора белый смокинг сзади стал темным и прилип к спине, но ему все было нипочем, как и всем другим интеллектуалам с вертявыми задами, как и промышленнику Сиракузерсу, как и генералу Пистолетто-Наганьеро, как и самому сеньору Марио Лосана.

Все вместе выглядело дурнотно и напоминало буржуазное разложение, то самое, да, то самое, тра-ля-ля, буржуазное разложение. Разложение на: а) трясущиеся животы, б) потные спины, в) любимые бородавки, г) пунцовые лысины, д), е), ж)... прочие малопривлекательные элементы.

Это, конечно, не касается прекрасных дам.

Я вспомнил другой твист, твист в Гданьске, в студенческом клубе «Жак», куда мы попали как раз во время празднования «Дней моря». В саду на бетонном кругу танцевало не меньше ста студенческих пар, а Марек в зеленой рубашке кричал в микрофон слова, а из круга летели тапочки и башмаки, а рожи парней были веселые, а у девушек личики были прелесть, и так все это было здорово, и спортивно, и ритмично, и запросто, что даже, я думаю, сердце любого аскета дрогнуло бы от такого твиста.

Бомбардини, Сиракузерс и Пистолетто-Нагальеро нашли друг друга в порыве твиста. Троица, забыв о женщинах, сплелась. Хохоча так, что обнажилась вся клавиатура шести челюстей, троица движениями двенадцати конечностей повергала в изумление весь белый свет.

Из карманов летели киноведческие статьи, адреса старлетов, пачки ассигнаций и чеки, конверты с военными секретами.

Сиракузерс подмигивал красным глазом, сигнализировал им, как маяк-мигалка.

– После танцев, ребята, все ко мне, – хрипел он. – Посидим тихо-мирно, все свои.

– Законно! – завопил профессор Бомбардини. Кажется, у него все уже тормоза отказали.

## 5. ЦВЕТОК

Этот вечер мы закончили на набережной Ла-Плата. Небо было черное, и в нем была луна. Последняя широко озаряла Ла-Плату. Последняя была необозрима, как море, и тут же, на наших глазах, переходила в море, а последнее уже переходило

в сплошной лунный блеск, может быть, прямо в космос.

На набережной вытянулись в длинный ряд маленькие открытые бары, дешевые закусовые, где подают асадо и вино, где хлопают полотняные тенты, где ветер морской и лаплатский продувает твою рубашку, а пиджак просто брошен на перила.

Мы сидели с Васей Ливановым и журналистом Иваном на табуретках, ели асадо, сильно зажаренное мясо и наперченные колбаски, пили вино, смешивая его с минеральной водой, и было нам просто и мирно, а в зеркальце отражались знакомые физиономии, наши физиономии, вызывающие симпатию, и вели тихую беседу на нашем великом и могучем, правдивом и свободном, а буфетчик-аргентинец перетирал посуду и меланхолично гудел себе под нос какую-то мелодию, как какой-нибудь наш простой армянский буфетчик из Гагры, а «небо знойной Аргентины» мирно висело над нами, и лишь временами...

Временами чернота над нами как-то густела, концентрировалась, и слышался нарастающий свист, и кусок этой плотной черноты с ужасающим грохотом проходил низко над нами, опоясываемый мельканием посадочных огней, – это шли на посадку интерконтинентальные «боинги».

– Эй, Вася, и ты, Вася, – сказал Иван, – хотите увидеть Аллею любви?

Он завел свою машину, маленький «пежо», мы проехали по набережной и углубились в парк. Аллеи были ярко освещены, но одна, в которую мы въехали медленно и бесшумно, была темна, и только смутно обозначились силуэты машин, приткнувшихся к обочинам.

– Североамериканская мода, – пояснил Иван, – любовь в автомобилях. Полиция бессильна, за-

крывают глаза на эту аллею, лишь бы не расплозились по всему парку. Попробуй здесь включить фары – и сразу столкнешься с латиноамериканской вспыльчивостью.

Он вдруг включил фары, и мгновенно осветился длинный ряд машин, за стеклами которых мелькали головы любовников, растрепанные волосы, усы, колени, локти, и повернулось, шурясь на свет, сразу множество прелестных женских лиц.

Тут же защелкали дверцы машин, высунулись кулаки, полетела ругань, грохнул выстрел. Пуля пробила заднюю стенку нашей машины, свистнула мимо уха Васи Ливанова и застряла в передней стенке, над ветровым стеклом. Из нее тут же вырос большой пунцовый цветок. Он качался на пружинной ножке и источал сдержанное, но напряженное сияние, подобный раскаленному угольку. Что и говорить – удивительная страна.

## 6. УТРО

Утром Бомбардини вышел из обморочного состояния, открыл было глаза, устремил было их в потолок, но тут же покатился в некую бездонную шахту, в которой роль лифта играла его кровать, затем в этой же шахте взмыл вверх, прилепнулся пузиком к потолку, сплющился, как газетный лист. Оказалось, что прямо на нем, как на газете, напечатана его собственная статья о кризисе мировой культуры, и он стал читать ее, снова падая в бездонную шахту, раздуваясь, как рекламная колбаса, пока не застрял в металлической сетке.

Тут все остановилось, и началась элементарная нечеловеческая головная боль. Бомбардини

вялой, гнущейся, как рыба, рукой нащупал на тумбочке медикаменты, высыпал в ароматичный рот пакетик таблеток «алкозальцер», влил внутрь литра два воды, большой столовой ложкой размешал это все прямо в желудке, а потом опрокинул туда же пузырек витаминных драже. Головную боль как рукой сняло, а возле уха вырос огромный витамин, желтый и плотный, словно бильярдный шар.

Поглаживая этот выросший на виске витамин, Бомбардини погрузился в терзания духа. Пытаясь соединить некоторые запомнившиеся моменты посиделок у Сиракузерса – визгливых, роящихся старлетов, испачканный ковер, разбитый телевизор, – пытаясь все это как-то связать и привязать к собственной персоне, он думал со страхом о чем-то ужасном, о чем-то невысказанно-безобразном, что он мог вчера совершить. Совершил ли?

Врожденная брезгливость мешала ему спустить ноги с кровати и добраться до телефона, поэтому он встал на кровати и перепрыгнул через всю комнату на письменный стол.

Со свистом пронеслись в воздухе влекомые им подтяжки, обрывки сорочки и белого смокинга. Дрожащей рукой Бомбардини позвонил по прямому проводу к Сиракузерсу.

– Гух-гух, – сказал в трубку Сиракузерс. – Кто говорит?

– Привет, старик, – пролепетал Бомбардини и жалобно хихикнул. – Это я – Бомба.

– Бомба, здорово! – заревел Сиракузерс. – Это я на проводе, я – Сиракуза. Узнаешь? Ну как вчера...

Бомбардини вдруг почувствовал, что голос буйвола задрожал от страха.

– Ну как вчера посидели, а? – спросил Сиракузерс и замолчал, видимо терзаемый терзаниями духа.

– Славно посидели, – ободренный мучениями друга, крикнул Бомбардини.

– А я как? Ничего, а? – осторожно спросил Сиракузерс.

– Ты в порядке, – ответил Бомбардини. – А... я как?

– Ты тоже в порядке, – сказал Сиракузерс. – Пистолетто-Наганьеро был – вдребодан, а ты в полном порядке.

– Точно, – хихикнул Бомбардини. – Пистолетто был хорош!

– Ну, пока, Бомба, – сказал Сиракузерс.

– Пока, Сиракуза.

Бомбардини повесил трубку и с веселой укоризной погрозил своему отражению в зеркале. Ух, гуляка, ух, озорник! Но ничего, славно вчера посидели, в самом деле витамин отвалился и с грохотом прокатился по полу – под шкаф.

Раздался звонок. В трубке смущенно хихикал генерал.

– Хорошо вчера посидели, Пистолетто, правда? – сказал Бомбардини.

– Очень даже хорошо посидели, – обрадовался генерал. – А как я?

– Ты был в порядке. Сиракуза поднабрался, а ты держался. А я?

– Ну, ты в полном порядке.

– В общем хорошо вчера посидели?

– Хорошо вчера посидели у Сиракузерса.

## 7. ПАМПА

Утром фестивальный караван покидает Буэнос-Айрес. Двадцать новеньких черных «шевролетов», бесплатно предоставленных фирмой «Дже-

нерал моторс» (разумеется, не без определенных боковых соображений), двадцать лимузинов на одной скорости словно висят кильватером в знойном мареве на широком шоссе среди пампы. Эскорт мотоциклистов перемещается с двух сторон вдоль каравана. У мотоциклистов под шлемами выпяченные челюсти, на задах пистолеты. Впереди идут две полицейские машины. Обгоняя караван или отставая, крутятся на шоссе несколько автобусов с открытыми платформами. На платформах телевизионная братия в ярких майках. Репортаж о движении каравана идет на всю страну и в Уругвай. Над караваном висят стеклянные вертолеты, пускающие по пампе множество солнечных зайчиков.

Мы с Ливановым подпрыгиваем на кожаных сиденьях. Такого мы еще не видели и такого грохота не слышали. Наш водитель Родольфо включает радио. «Эль каравано! Эль каравано! – кричат все радиостанции страны. – Делегацион нортамерикано, делегацией аллемано, делегацион руссо...» Делегацион руссо – это мы. Впереди в «Шевролете» Сытин, Бурлак и аргентинка-переводчица Лиля Мышковская, а мы с Васей следом в отдельном лимузине! – таком просторном, что можно в нем плясать. Родольфо поворачивается, скалит зубы в улыбке, он не понимает ни одного нашего слова, а мы – ни одного его слова, а объясняем мы хохотом, ударами по плечу, какими-то дикими выкриками – хай! хо! ху! Мы как-то взвинчены и чувствуем себя дикарями в ультрасовременном лимузине. Нам предстоит проехать в этот день четыреста километров по плоской аргентинской пампе, в которой стоят бесчисленные стада и медленно галопируют одинокие пастухи – гаучо, мимо маленьких городков, где все население на улицах с раскрытыми ртами

в приветственном реве, навстречу гигантским фургонам-клеткам, из которых торчат рога будущих бифштексов.

– Вася, – говорю я Ливанову, – мы едем с тобой по аргентинской пампе.

– Да, Вася, – отвечает он, – мы едем с тобой по аргентинской пампе.

Я лезу в окно со своим «Кварцем», Ливанов щелкает в другую сторону своим «Зорким». Вот мне удастся сделать редкую съемку – в объектив камеры попадает обгоняющий нас красный «Рамблер», а за рулем шишковато-багровый Сиракузерс, а рядом с ним лимонно-желтый Бомбардини, бешено острящий назад, на заднее сиденье, где, обвитый руками старлеток, весь в розовом пуху, пыжится синий Пистолетто-Наганьеро. Друзья, как видно, решили прокатиться вместе с караваном в Мар-дель-Плата. Скучно стало друзьям в столице.

Вскоре наш караван расстроился: эскорт куда-то пропал, вертолеты улетели, телевизионщики тоже испарились; то одна машина, то другая сворачивали к придорожным барам.

Эти придорожные бары, ультрамодерн или стилизованные под индейские хижины, – сущий рай после раскаленного шоссе. В них в прохладной полутьме вам подадут стакан с пузырящейся кока-колой, в которой плавают кубики льда, или смешают холодное сухое вино с минеральной водой. «Чао!» – скажут вам в этом баре девушки-кинозвезды из вашего каравана, и вы, расшаркавшись, скажете: «Чао!»

Все вчерашнее чинное общество сегодня было в элегантной затрапезе, в брючках, маечках, свитерочках. Все было мило – вольные позы, широкие улыбки, небрежные салюты ручками.

Девушки из мексиканской делегации пригласили нас к своему столу. Они улыбались продолго-

ватыми глазами, покачивали длинными ножками, манипулировали тонкими ручками, с веселым любопытством взирали они на нас, а мы взирали на них с веселым любопытством.

– Вася, – сказал я Ливанову, – мы с тобой среди духовно чуждых, но очаровательных людей.

– Да, Вася, – сказал Ливанов мне, – мы с тобой среди духовно чуждых, но очаровательных людей.

– Артисте руссо, – сказала мексиканка Ливанову, – потанцуем, что ли?

– Давайте потанцуем, мексиканская артистка, – ответил Ливанов.

С редким изяществом долговязый московский очкарик повел мексиканочку в блюзе. Насморк, подцепленный в Париже, еще не прошел у него, украдкой он шмыгал носом, но блаженствовал. Танцую с мексиканочкой, думал он, танцую с мексиканочкой среди аргентинской пампы. Вот я, молодой многодетный отец, танцую блюз в аргентинском баре, Ляля, жена моя, вдумчивый кибернетик, гордись – твой Вася не хуже других!

– Ну, Вася, не посрамил, – сказал я.

– О, артисто руссо! – вздохнула мексиканочка.

Мы помчались дальше. Ливанов сидел в машине молча, остолбенеv от романтики. Джон Грей был силач-повеса, он был, знаете ли, сильнее Геркулеса, храбрый был, чертяка, как Дон-Жуан. Получилось так, что Рита и крошка Нелли пленить его сумели, сразу две, и он в любви им часто клялся обеим, одновременно, и часто порой вечерней с ними, обеими, танцевал в таверне танго или фокстрот. Бывало, при свете лунном кружатся пары, бьют тамбурины там, звенят, понимаете ли, гитары. Денег у Джона хватит, ему не подавать отчета по командировке, Джон Грей за все заплатит, Джон Грей всегда таков!

– Ну, Вася, Вася, это уж ты зря, – сказал я.

– Да, Вася, это я зря, – сказал он, выходя из транса. Мы с Ливановым друзья, мы с ним, как говорится, «на вась-вась».

Перед въездом в городок Каstellи караван опять сформировался. Невесть откуда появились мотоциклисты, вертолеты и телевизионщики. Машины медленно пробирались сквозь густую толщу восторженных горожан к зданию мэрии, на ступеньках которой стоял мэр под руку с «мисс Каstellи». Длинные столы в мэрии были заставлены блюдами с асадо и огромным количеством белого и красного вина. Весь фестиваль уселся за эти столы, и еще много места осталось для «представителей общественности» Каstellи и для «спутников фестиваля», в том числе и для Сиракузерса, Бомбардини и генерала. Начались громогласные речи, и воцарилось шумное веселье, очень приятное, кстати, и совсем не похожее на ночной коктейль в «Алвеар-Палас-отеле», а скорее похожее на грузинский пир где-нибудь в Ахалцихе.

Репортеры утомонились, попрытали свои блинцы, навалились на дармовщинку, на каstellьское асадо и на винцо. Лишь любителям автографов было не до еды, они бродили меж столов, подставляя делегатам спины, чтобы те расписывались на их рубашках.

Сиракузерс в дальнем конце зала, поставив на голову блюдо, отплясывал что-то похожее на лезгинку, а Бомбардини и генерал хлопали в ладоши, и старлетки крутились вокруг буйвола мясной индустрии.

К нам пробрался красный, как перец, наш Родольфо. Рубашка его прилипла к крепкому телу.

– Руссо, советико, рот фронт! – крикнул он.

– Давай на выход, ребята, – сказал он, – надо засветло приехать в Мар-дель-Плата, иначе – горим, как шведы под Полтавой.

Мы выбрались на крыльцо мэрии, зажмурились и заткнули пальцами уши, потому что нас встретили кинжальные солнечные лучи и неистовый рев кастельцев, затопивших площадь.

Я часто думал потом, почему наш довольно скромный фестиваль вызывал у аргентинцев такой бурный, можно сказать – гомерический восторг, ведь на нем не было ни одной из звезд мировой величины, за исключением Марии Шелл, прилетевшей на три дня. На нем не было ни Софи Лорен, ни Бриджит Бардо, ни Антониони, и тем не менее мы почти не могли спать в своем отеле в Мар-дель-Плата: всю ночь ревела под окнами толпа, заглушая шум прибоя и клаксоны машин. Самый простой ответ – латиноамериканский темперамент, но, может быть, дело и посложнее: может быть, в этом восторге сказывалась любовь к прародительнице – Европе. Ведь все эти люди – выходцы из Европы, и все они помнят о ней, хоть и живут уже несколько поколений в этом удаленном углу земли, и вот к ним приехали люди из большого мира, из матушки Европы, и вот этим людям за это – любовь, благодарность и привет. Ну, разумеется, важно еще и то, что люди из кино, слуги волшебного фонаря, сказочники двадцатого века.

## 8. МАР-ДЕЛЬ-ПЛАТА

Небо на западе уже начало зеленеть, когда перед нами открылся лукаво-играющий океан и мы услышали первый удар мощной волны по бесконечному белому пляжу.

Я воображал, что Мар-дель-Плата небольшой курортный городок, вроде нашей Гагры или Хосты, ну, в крайнем случае Ялты, и был весьма удивлен, когда над горизонтом стали вырастать разноцветные небоскребы. Небоскребы были небольшие, этажей по пятнадцать–двадцать, лишь отель «Космос» имел сорок этажей, но все равно зрелище было внушительное и очень яркое, очень открыточное, почти нереальное, декоративное.

Не успели мы опомниться, как выехали в улицы, запруженные полуодетой толпой. Большинство людей были в купальных костюмах, прямо с пляжей, загорелые, с вытаращенными глазами, неистовые. Они колотили по крышам машин, влезали в окна, кричали:

– Какая страна? Советский Союз? Ура, руссо! Артисто руссо! Ура!

Разумеется, так кричали всем, не только нам, восторг – всем без исключения.

Сейчас я не могу вспомнить ни одного человека из этой толпы, за исключением рыжей, невероятно толстой дамы в зеленом купальнике, которая стояла на угловом барьере и делала ножищами канканные движения, а глазами выражала страсть.

Только лишь возле отеля «Эрмитаж» полиции удалось очистить маленький четырехугольник асфальта, оцепить его проволокой. Полицейские крутили дубинками, рычали на напивавших курортников. «Шевролеты» каравана медлительной змеей подползали к «Эрмитажу». Вот стали выходить артисты. Взрыв потряс небо, когда, волоча длинные руки, к стеклянным дверям прошел Чак Паланс. Оказывается, этот парень невероятно популярен среди жителей Нового Света как герой бесчисленных вестернов. Взрыв еще

большей силы раздался, когда продефилировала сияющая танцующая бомбочка – Амбар Ла-Фокс. Каждый шофер Аргентины носит в кармане фотографию Амбар в костюме топлес. И так пошло – взрыв за взрывом.

Вася сделал снимок толпы, напиральной на проволоку, и вот сейчас я смотрю на него. Впереди толстая девочка с авторучкой и альбомом для автографов, рядом мальчик в трусах, очень мускулистый, прямо маленький культурист, парень в полосатой рубашке держит за плечи девушку в купальнике, девушка и сама вроде «эстреллы», то есть звезды, а позади пожилые матроны и усачи, и лица у всех этих людей такие, как будто смотрят они на оживших духов.

Вот, наконец, мы входим в свой номер на пятом этаже «Эрмитажа». Прямо под окнами площадь, забитая людьми и машинами, дальше пляж, просвечивающий белым песком сквозь полосатые тенты, дальше ровная пенная линия прибоя, дальше ровно идущие волны. В волнах раскачиваются огромные бутылки «мартини», «чинцано» и «кока-кола», они укреплены на противоокульных ограждениях. В небе висят рекламные колбасы и шары.

– Вася, где это мы с тобой? – спрашиваю у Ливанова.

– Это что, все существует в действительности? – интересуется Ливанов.

– Ну-ка, отцы, хватит болтать, в темпе бриться и наряжаться, – командует Альберт Бурлак. – Через час гала-парад, старикашечки.

Черт бы побрал эти гала-парады! Сейчас бы на пляж, посидеть бы возле прибоя, а потом выпить бы пива и погулять по этому странному городу. Я отказываюсь, примите мой отказ. Никто отказа не принял.

## 9. КОРОВЫ

Компания Сиракузерса сильно задержалась в Ка-стелли и теперь мчалась в Мар-дель-Плата в пол-ной уже темноте. В машине было очень душно, эр кондишн сломался, не в силах перерабатывать винные пары. Друзья клевали носом, а старлетки дурными голосами пели жалостную песню о по-гибшей молодости. Навстречу тянулись могучие треллеры со скотом. Коровы, узнавая своего хо-зяина, возбужденно мычали. Может быть, каж-дой из них на зеленых пастбищах детства, юнос-ти и зрелости снился иногда страшный сон – летящий в сиянии фар красный «Рамблер» и пун-цово-багровый человек за рулем.

Сиракузерс дремал, навалившись на руль, сквозь сон сигналил своему богатству. Вдруг он встрепенулся, выпрямился, хрюкнул пару раз, прочищая гортань, и заявил:

– Я самый богатый. Я такой богатый, что про-сто ужас. Вы даже не представляете, девки, какой я богатый. Я могу каждой из вас поставить золо-той памятник величиной с Эмпайр-Стейт-Бил-динг. Я богатей первого сорта!

– А я самый умный, – сказал Бомбардини. – Я умный, как все газеты и журналы мира вместе взятые. Я самый умный критик-эрудит, и вдоба-вок я еще философ. У меня мозг как земной шар!

– А я самый сильный, – сказал генерал. – У ме-ня тяга, как у космической ракеты. Я сильный, как крейсер или как танковый полк. Я силач выс-шего порядка!

– А я самая красивая! – закричала первая стар-летка. – Я Клеопатра, Нефертити и Амбар Ла-Фокс, вместе взятые. Я чемпионша красоты!

– Нет, я! – завизжала вторая старлетка.

– Нет, я! – зарыдала третья.

– А я вас всех куплю! – захохотал Сиракузерс. – Забыли, что ли, где живете? В мире, где все продается и покупается. Я ваш ум куплю, и вашу силу, и красоту, конечно, приберу к рукам, а вам всем поставлю золотые памятники. Во!

– Кукиш! Не купишь! – рявкнул генерал.

Началась какая-то странная ссора. Все стали колотить друг друга, вцепляться, пока не сплелись в одно огромное целое. Через минуту лимузин врезался в фургон со скотом.

Ударом «Рамблер» выкинуло в пампу, а фургон завалился в кювет. Коровы мигом разнесли фургон и, выставив рога, помчались к красному лимузину. Сиракузерс, выскочивший из машины, тут же налетел на рог, булькнул и опал. Жилистый парнюга водитель криками и пинками отогнал стадо и подбежал к лежащему Сиракузерсу, вокруг которого в скорбном молчании уже стояли ни капельки не пострадавшие пассажиры «Рамблера».

– Все в порядке, – вдруг весело сказал Сиракузерс, – капиталисты не сдаются. У меня всегда – на всякий пожарный – пластырь с клапаном при себе.

Он вынул пластырь и мгновенно залепил отверстие в пузе. Клапан забулькал и захрипел, отводя газы.

– Это даже полезно иногда, – сказал Сиракузерс, вставая. – Хороший удар рогом в живот иной раз не помешает.

– А вы кто такой будете? – зажимая нос, спросил водитель.

– Я ваш босс, знаменитый Сиракузерс.

– Тогда поделом вам – опять зарплату урезали, – сплюнул водитель.

– Апеллируйте в профсоюз! – рявкнул Сиракузерс.

В фестивальный город Мар-дель-Плата красный «Рамблер» въехал лишь под утро, влекомый упряжкой из трех отборных коров. Старлетки в костюмах топлес сидели верхом на коровах. Репортерский полк мгновенно был поднят на ноги. С этого утра началась головокружительная карьера наших старлетов.

## 10. БЕССОННИЦА

На фестивале вне конкурса демонстрировался «Процесс» Орсона Уэлса по знаменитому роману Кафки. Это был букет звезд первой величины – Антони Перкинс, Жанна Моро, Роми Шнайдер, – и надо сказать, что звезды в этом фильме всерьез показали, на что они способны. Это были бесконечные, совершенно бесконечные, до ужаса бесконечные коридоры и неожиданные тупики, мрачные углы, из которых уже нет выхода.

Что ж, когда заходил спор о праве Кафки, или в данном случае Орсона Уэлса, на изображение такого мира, попытайтесь вспомнить, не было ли в вашей жизни таких моментов, когда вы оказывались в бесконечных страшных коридорах или в сдавливающих тупиках. О себе я знаю: оказывался.

Все-таки после фильма мы долго стояли на набережной, прикасались ладонями к шершавому граниту, провожали взглядами, более долгими, чем обычно, веселых девушек в шортах, а потом наскребли немного песо на виски, скинулись.

Фестиваль открылся показом нашего очаровательного шедевра-фильма «Коллеги» по одноименной повести Бориса Арсенова, офицера пожарной команды «Мосфильма». По этому поводу офицер нацепил галстук-бабочку.

Забавно было мне следить за перипетиями всей этой незамысловатой истории, сочиненной на карантине в ленинградском порту, за печкой у Клавдии Дмитриевны Угаровой, на берегу Свири, на ночных дежурствах в Гребневском туберкулезном стационаре, по дороге от Метростроевской улицы до площади Борьбы, забавно было следить за оживленной игрой Васи Ливанова, Васи Ланового, Олега Анофриева и Нины Шацкой, да еще косить глазом на сеньора Марио Лосана, на прочих сеньоров, сеньор и сеньорит.

Не знаю, какие чувства испытывал Вася Ливанов во время демонстрации, но когда раздались довольно бурные аплодисменты и к нему, подтанцовывая, с поцелуями двинулись мексиканочки и аргентиночки, тут я стал догадываться о его чувствах.

Мы долго гуляли в ту ночь, я все успокаивал взволнованного Васю. Даже последние фанатики разошлись из-под окон «Эрмитажа», когда мы возвращались. Мы пересекли площадь, когда увидели на тротуаре по-заячьи бегущего к отелю Бомбардини.

– Замечательно! Шедевр! – закричал он нам, аплодируя на бегу. – Вы показали новую Россию! Все в пиджаках, брюках, кое-кто даже в галстуках! Не предполагал! Поздравляю!

С этими словами он налетел на невидимую в темноте полицейскую проволоку, кувыркнулся через нее и растянулся на мостовой. Мы подбежали.

– Вот невезуха, – шептал он, поднимаясь. – Вот невезуха – смокинг порвал. Доброй ночи, господа, – и, сумрачно, надвинув лобную кость на переносицу, проковылял в отель.

Итальянская делегация показала фильм режиссера Ризи «Обгон» с блистательным Витторио Гассманом в главной роли. На мой взгляд, это

был лучший и наиболее серьезный из конкурсных фильмов, но приз он получил только за режиссуру.

На экране была жаркая, забитая автомобилями Италия, бары и трактиры с возбужденными людьми, и самый возбужденный, самый прыткий, самый победительный – Витторио Гассман в двухместной спортивной машине «альфа-ромео». Он – победитель, хозяин жизни, и на все ему в общем-то наплевать – на взрослую дочь, влюбившуюся в его сверстника, на жену, на случайного спутника, робкого студента, ошарашенного бешеной гонкой и запрещенными обгонами. Кончается фильм катастрофой – гибелью студента.

Вторым значительным фильмом был «Взгляд на мир» англичанина Тони Ричардсона по повести Силлитоу «Одинокий бегун». Повесть славного Силлитоу, надо сказать, немного скучновата, но фильм представляет собой редкий случай удачной экранизации, он во много раз лучше первоисточника, и маленький жилистый Том Куртней создает живой и яркий образ обозленного английского подростка из бедной семьи.

Соединенные Штаты представили фильм Стенли Крамера с Бертом Ланкастером, исполняющим роль директора интерната для дефективных детей.

Снова, в который уже раз, восхищались мы режиссерским мастерством Крамера, работавшего в этой картине с маленькими, да еще и слабоумными актерами.

Хозяева фестиваля показали фильм «Крысы». Красивый Альфредо Алькон играет молодого ученого, экспериментирующего на крысах. Кроме того, он живет со своей мачехой, да еще в него влюблена и другая дама. Папаша поначалу не

знает ничего об этом переплете, потом узнает, и тут начинаются всякие ужасы. Периодически крупным планом показываются крысы, чтобы напомнить зрителям, что люди порой бывают хуже этих животных или вроде них.

Франция блеснула тридцатью убийствами и голый спиной Фабианы Дали в детективе «Шляпа», где Жан Поль Бельмондо и Шарль Азнавур играли парижских гангстеров.

Очень толковый фильм «Голос с того света» привез на фестиваль скромный поляк Станислав Ружевич, брат знаменитого поэта. Конечно, это был не «Пепел и алмаз», но это была работа на высшем польском уровне, что уже говорит само за себя.

Бразилия показала фильм «Остров», в котором компания золотой молодежи попадает на необитаемый остров и постепенно самоуничтожается. Мексика представила интересный, скорее видовой, чем художественный, фильм из жизни охотников за акулами.

Вот, пожалуй, и все запомнившиеся мне фильмы, хотя были еще и другие, совершенно не осевшие в памяти. Для официального делегата кинофестиваль – штука утомительная, чуть ли не каторга. Каждый день два просмотра – дневной и ночной, и каждый раз надо влезать в крахмальную сорочку и затягивать галстук. А потом еще появилась аргентинская «новая волна» во главе с косматой девушкой Беттиной Худсон, и пришлось еще из солидарности с ними посещать утренние просмотры, смотреть их экспериментальные короткометражки, выдержанные в духе и на уровне курсовых работ наших вгиковцев. А после ночных просмотров – еще ночные приемы, коктейли, и я в конце концов стал уваливать от коктейлей. Пусть не ве-

рят мне мои друзья – а они мне не верят, – но я стал увиливать от коктейлей, от gin-n-tonic, от hayball, от martiny.

## 11. Сон

Мне приснилось, что я сижу в пельменной на Ленинградском, бывшем Инвалидном, рынке в районе метро «Аэропорт», гоняю ложкой пельмени в бледно-желтом, как детские воспоминания, бульоне. Потом один из пельменей превращается в такси, а мы с водителем в нем как начинка. Такси идет по Беговой, мимо Ипподрома. Там, я знаю, мои друзья А. и два Г. в отчаянии просаживают последние рубли – «колхозом» против Аликс-Ганновера. Я туда не хожу, предпочитаю денежно-вещевую лотерею.

У Ваганьковского кладбища метет поземка, здесь зима. В воротах кладбища стоит, улыбаясь, директор, с которым один мой друг, поэт, на всякий случай поддерживает приятельские отношения.

А на Пресне уже весна, все развезло. Над Россией небо синее... Хорошо бы поехать не в Аргентину, а в Канаду: говорят, похожа на Россию. Над Канадой небо синее, меж берез дожди косые, хоть похожа на Россию, только все же не Россия...

Вот спуск к зоопарку. Здесь в трамвае умер от удущья Юрий Андреевич. Вверх по спуску – это подъем, а тротуары на площади Восстания уже сухие.

Вот калиточка, через которую сбежала из отчего дома Наташа Ростова. Тут била копытами тройка Анатоля Курагина. Но сейчас на улице Герцена уже знойное лето. Блаженствуют служа-

щие бразильского посольства. Дрыхнут на подоконниках, видят во сне Копакабану.

Дарю водителю пельменя свою шубу и захожу в прохладный Дом литераторов. Мой друг С. зевает над шахматной доской. Партнером у него – муха. Может быть, это та самая, из таможни? Вместе с С., а муха над нами, входим в ресторан. Вот тебе на – в ресторане, обложившись цыплятами табака, сидит Сиракузерс. Понятно – с культурным визитом. Становится малость тошно – надоел мне Сиракузерс. Приближаюсь – нет, не он, редактор одного журнала. На радостях улыбаюсь даже этой фигуре. Просыпаюсь...

Под окном противоакульки бутылки, атлантический прибор. Рядом на своей койке потный Ливаныч поет: «Над Россиею небо синее...»

## 12. ПОЛИТИКА

Две недели мы жили в праздном курортном Мардель-Плата и три дня в Буэнос-Айресе, в шикарном «Альвеар-Палас-отеле». Мы были замкнуты рамками фестиваля, и поэтому трудно было представить себе обычную жизнь этой страны, ее тревоги, заботы, ее страсть и надежды.

Во всяком случае, о политической активности населения говорят эстакады мостов, заборы и стены, испещренные лозунгами. На окраинах Буэнос-Айреса часто мелькали серп и молот, «вива коммунизм» и «вива Советский Союз», «вива Куба», ближе к центру – «вива Фрондиси» (недавно изгнанный президент) и везде на окраинах и в центре – «вива Перон».

В Буэнос-Айресе часто попадались нам на глаза детские площадки с качелями, каруселями и

прочими аттракционами. Это память о мадам Перон, жене бывшего президента. Сентиментальная дама повсюду строила эти площадки для детей городской голытьбы.

Сам Перон любил митинги. Он выходил на трибуну в рубашке с закатанными рукавами, что в чопорной Аргентине считалось верхом свободомыслия (вольный стиль в одежде до сих пор называют здесь стилем Перона). Он заигрывал с рабочими и яростно громил в речах плутократию. Если его прижимала какая-нибудь хунта, он апеллировал к рабочим и объявлял по стране всеобщую забастовку. В то же время сам прижимал коммунистов и социалистов. Он был ловким политиком и долгое время держал власть в своих руках, пока вконец не разозлил генералов. Потом последовал Фрондиси, потом президент доктор Гидо.

Фестиваль был представлен доктору Гидо. Длинной очередью в великолепном зале президентского дворца мы тянулись к его ручке. Маленький доктор Гидо, похожий на аптекаря, стоял впереди огромных, грудастых генералов и штатских усачей. В дверях с саблями и в треугольниках высились великаны-гвардейцы. Партикулярный доктор Гидо застенчиво улыбался. Он явно чувствовал себя не в своей тарелке. Через три дня после отъезда мы узнали, что военный флот прогнал доктора Гидо.

В дубовых дверях нашего посольства имеется несколько пулевых отверстий, а на стенах близлежащих домов начертаны сакраментальные фразы типа: «Большевиков на виселицу!» Это шутят разные четверть-, полу- и полностью фашистские организации, а главная среди них – «Такуара».

Сотрудники посольства с легкими улыбками рассказывают как о чем-то совсем обычном:

– Иной раз шмыгнет мимо автомобильчик, вылетит из него матерщинка, а за ней пуля. Морские пехотинцы, видели их у ворот, здоровые лбы, к нам уже привыкли, считают своими подопечными, стаскивают автоматы, стреляют в хулиганов, но автомобильчик – сразу за угол и был таков.

Мне попалась в руки газета с репортажем о «Такуара». Здесь был снимок учебного центра. Функционеры стояли в ряд, подняв над головами руки в нацистском приветствии. Программа этой организации выглядит примерно так: борьба против коммунистов, перонистов, националистов, против американского империализма и плутократии, против антисемитизма и еврейского засилья. Поди разберись. Кажется, главный пункт программы здесь тот, о котором не сказано, – бешенство. Простое бешенство, бешенство ради бешенства.

### 13. МЯТЕЖ

Пистолетто-Наганьеро, греясь на пляже, рассказывал:

– Лет тридцать – сорок – пятьдесят, а может быть, и шестьдесят назад я командовал базой москитной артиллерии «Ла Палома». Однажды утром обнаружилось обострение геморроя и вообще недовольство политикой правительства. Я позвонил в Розовый дворец и заявил тому чикито, не помню, кто уж тогда был у нас в президентах, что «Ла Палома» начинает мятеж. Чикито, конечно, рассердился, а я поднял личный состав в ружье, вышел на крыльцо и полоснул оттуда речухой. Пожелания личного состава совпадали

с моими. Запрягли мы мулов и через час поставили свои пушки перед Розовым дворцом.

Солдаты по собственной инициативе притащили какого-то скульптора и ну валять мне памятник в ближайшем сквере. А я гарцую на коне, вроде бы позирую, вроде бы революцию провожу.

Вдруг в Розовом дворце открываются все двери, и оттуда выходит гвардейский полк во главе с генералом Кортес-Писарро-Бальбоа, моим партнером по бриджу.

«Инсургенты, сдавайтесь!» – кричит Кортес-Писарро-Бальбоа.

«Нет, вы сдавайтесь, сатрапы режима!» – кричу я.

Отрыли окопы и мы и они. До обеда ругались, мы их – свиньями, они нас – шакалами.

В обед Кортес-Писарро-Бальбоа поднял белый (относительно, конечно, белый) платок и заорал:

«Эй, Пистолетто-Наганьеро, в «Астории» сегодня фазаны и сабли!»

Сами понимаете, недолго мучилась старушка. Объявил я в революции перерыв и отправился в «Асторию». До утра там прогудели: молодость, сами понимаете...

– А памятник? – спросил Бомбардини.

– А памятник я потом на дачку отвез. До сих пор там стоит. Красивый памятник, правда, незавершенный – не все части тела на месте.

#### 14. КОСТА-ХЕРМОСА

Вася Ливанов в скором времени стал очень знаменит в Мар-дель-Плата. Журнал «Радиоландия» отдал ему целый разворот под шапкой – «Первый триумфатор фестиваля». Бывало, Ам-

бар Ла-Фокс как увидит Васю, так и бежит чмокнуть его в щеку, особенно если фоторепортеры крутятся поблизости. Курортники повсюду узнавали нашего очкарика и лезли к нему за автографами, а однажды благодаря Васиной популярности мы познакомились с Доменико Сьяччи, его женой Эльзой и четырехлетним Клавдио. Это было самое приятное за все время знакомство.

Доменико – красивый сорокалетний итальянец, хозяин маленького кафе в центре Буэнос-Айреса. Он был солдатом и немало повидал на своем веку, посыпала ему голову война жарким песочком в Ливии и штукатуркой в Милане. Европейская почва показалась ему неустойчивой, малопригодной для нормальной жизни, и после войны он снялся оттуда курсом на Аргентину. Тут судьба подгадала ему встречу с польской девушкой Эльзой, и вот результат – итало-польский аргентинец Клавдио в красных штанишках кувыркается на пляже Коста-Хермоса, а две взрослые дочки остались в Буэнос-Айресе.

Мы приехали на этот отдаленный пляж в просторном и удобном рыване семейства Сьяччи, автомашине марки «Кайзер». Пляж этот, в отличие от центральных мардельплатских пляжей, был почти пуст, лишь несколько компаний лежало на его белой поверхности, засунув головы под полосатые грибки и протянув в разные стороны голые ножки, похожие в этом варианте на щупальца морских звезд.

Сразу же мы познакомились с хозяином пляжа, тридцатилетним Аполлоном по имени Хосе Луис. Его избушка на курьих ножках была полна разного люда, который все что-то жарил, что-то выпивал, что-то кушал, пользуясь добротой бесребреника Хосе Луиса. Мы тут же перезнакоми-

лись и с этими людьми, засели с ними за неизменное асадо, пили вино, весело беседовали на невероятном «воляпюке», потому что среди них были и испанцы, и немцы, и один старик хорват. Хосе Луис сказал:

– Вот это номер, что вы советские. Вы первые советские ребята на Коста-Хермоса. Вот ведь брехуны в наших газетах пишут о вас черт-те что, а вы нормальные ребята.

В этих словах Хосе Луиса тоже сказались отдаленность Аргентины. В Европе к советским уже давно привыкли, и никто не заглядывает вам под фалды в поисках хвоста и под шляпу в сладком ужасе перед рожками.

Хосе Луис был очень нам рад, в самом деле искренне рад, он вынес нам шезлонги и денег не взял ни за что – ни за вино, ни за кока-колу, ни за асадо, ни за море, ни за солнце, ни за песок.

Подошла, любопытствуя, черноволосая валькирия в синем купальнике. Величие было в ее чертах и формах.

– Вы мисс Мар-дель-Плата, а может быть, мисс Аргентина! – воскликнул я, пораженный монументальностью девушки. – Фотографирен, цузаммен, чик-чик, порфабор. Май френд мейк пикча – ю энд ай, очень хорошо.

Но только лишь «мисс Аргентина» приготовилась к съемке, как мигом налетел ревнивец с такими усами, будто карандаш зажат между губой и носом.

– Габриэлла! – заорал он и увел девушку, шипя как кот.

Мы побежали к прибою, к шумящей, шевелящейся белой стене. На бегу я заметил в отдалении знакомую тройцу – Сиракузерс, Бомбардини и Пистолетто-Наганьеро расписывали пульку.

Некоторое время прибой швырял нас с Васей, стучал друг о друга, подбрасывал в воздух, волочил по песку, а под конец просто вышвырнул на пляж.

Эльза, вся в улыбках, ямочках, в доброте и благожелательности, стояла рядом с Доменико.

– Летом, в январе, мы хотим поехать в Европу, – сказала она. – Ведь я никогда не видела Польши.

Я подумал о Польше, о Варшаве, Кракове, об Освенциме. Что будет с этой доброй Эльзой, когда она побывает в Освенциме?

Вот пляж, и океан, и солнце, подумал я, и мы, мокрые и веселые, здесь, на Коста-Хермоса, люди разных национальностей, и маленький Клавдио кувыркается в песке, и как трудно сейчас здесь, на этом месте, представить себе Освенцим. А люди в Освенциме, тогда, там, не могли поверить, что есть на свете Коста-Хермоса.

Многообразен человеческий мир, но лучше уж был бы он однообразен, как длинная и широкая полоса океанского пляжа.

## 15. ВСТРЕЧА

– Пойду выкупаюсь, – сказал профессор Бомбардини, бросил карты, игриво задирая ножки, подбежал к океану и нырнул в него.

Он долго плыл на большой глубине, пока не увидел покачивающуюся в зеленоватом сумраке на растопыренных плавниках акулу. Он сразу узнал ее, это была «акула синематотрафико».

– Рад приветствовать коллегу, – сказал он, подхалимски трепеща ручками и ножками.

– Слопаю, – равнодушно сказала акула.

– Много слышал о вас, – любезно улыбнулся Бомбардини, как бы пропуская мимо ушей заявление акулы. – Ваша концепция распада мирового киноискусства мне очень близка, хотя и имеются некоторые основания для полемики, для дружеской полемики, разумеется. К примеру, вы утверждаете...

– Сейчас разгонюсь и слопаю, – сказала акула и действительно стала разгоняться с открытой пастью.

– Ну зачем же так?! – взвизгнул Бомбардини. – Давайте продолжим диалог.

В последний момент он увернулся, и акула проскочила мимо, лишь сорвав шершавым боком кожу с его ягодицы.

– Глупо! – плюясь и рыдая, закричал Бомбардини. – Разве это аргументы? Мы могли бы стать союзниками!

Акула делала круг, разворачиваясь для второй атаки.

– Я тебя слопаю по двум причинам, – сказала она, тряся бородой. – Во-первых, ты продукт питания, а во-вторых, конкурент.

– Тогда я сам тебя слопаю! – завопил Бомбардини и бросился вперед.

Они мчались навстречу друг другу с распахнутыми челюстями. Счет пошел на мгновения. Ой, пропала! – в последний момент сообразила акула и тут же очутилась в животе Бомбардини.

Профессор поплыл к берегу, ощущая в животе приятную тяжесть и прислушиваясь к бурному процессу пищеварения. Он вылез из воды таким же стройным, как и раньше.

– Бомба, есть идея! – крикнул ему Сиракузерс. – Вечером идем в казино. Надоело по мелочи пробавляться.

## 16. «Дунай»

Большие плоские камни на берегу. На них выбивают свои имена и даты желающие увековечиться. Ничего особенного, этим занимаются люди повсюду – в Грузии, в Новгороде, в Риме, – но все же я долго стою над этими камнями и читаю: «Светозар + Амалия», «Карлос + Елена», «Хусейн + Ингрид», «Гарри + Лолита = Любовь!» Написали эти оставили не иностранные туристы, все это имена аргентинцев.

Наша переводчица, двадцатилетняя Лиля Мышковская, познакомила нас со своим женихом, молодым шведом по имени Хуан. Швед довольно бойко разговаривал по-русски, вполне сносно по-шведски, очень хорошо по-английски, а родным его языком был, естественно, испанский.

Однажды мы гуляли по торговым районам Мар-дель-Плата, покупали кое-какую мелочишку. Хозяином первого магазинчика оказался старый поляк, служивший еще в царской армии, хозяином второго магазинчика был экспансивный одессит, в третьем, большом, магазине моментально нашелся приказчик, говорящий по-русски.

Усталые, мы зашли в маленький угловой бар, присели к стойке, взяли кофе. В баре, кроме нас и буфетчика, никого не было. Потом зашел мужчина лет сорока пяти, привалился к стойке, взял из рук буфетчика чашку, лениво заговорил с ним; видно было, что они давно знакомы. Буфетчик глазами показал на нас, шепнул:

– Сеньоры из России.

Мужчина поперхнулся, шально взглянул на нас, отвернулся, опять повернулся, быстро-быстро засуетился, потом взял себя в руки и как бы спокойно спросил:

– В самом деле вы из России, из Союза?

Широкие штаны, тенниска с широкими рукавами, стрижка под полубокс – у него был вид прожженного футбольного болельщика из Лужников.

– Дима, – представился он.

Судьба Димы подобна судьбе того платоновского мужика, который в двадцатом году поехал в соседний уезд за пшеницей, а попал в Аргентину. Помотала судьба Диму по всей Европе, по лагерям перемещенных лиц, а потом забросила в Южную Америку. В Парагвае он женился на кубанской казачке и переехал в Буэнос-Айрес. Работает агентом по продаже холодильников.

– Недавно в Буэносе встретил однокашника. Иду, гляжу – Костя Зыков. Механиком он плавает на советском теплоходе. «А ты как здесь оказался?» – спрашивает. «А я живу здесь». – «Ты что, Димка, власовцем, что ли, был?» А я не был власовцем, честное слово не был, честное слово, ребята милые, не был я власовцем!

Мы выпили с ним едкой «смирновской» водки. Он все расспрашивал о Союзе, о каких-то артистах, с которыми был знаком до войны, потом заплакал.

В один из дней мы, поляки и чехи, были приглашены на банкет славянским землячеством «Дунай». Для банкета был арендован большой спортзал. Произносились торжественные речи на разных славянских языках, провозглашались тосты за Советский Союз, за Польшу, за Чехословакию, за Аргентину, а когда кончился церемониал, славяне шумною толпой со всех столов устремились к нам, окружили, затормошили, зацеловали. Помню, что я изо всех сил боролся с нахлынувшей сентиментальностью, старался не прослезиться.

– Вот, касатик, беда какая, – жаловалась старушка Мария Никифоровна, – дом у меня в Мардель-Плата, никак продать его не могу. Сестра

с Тамбовщины зовет приехать, а я дом никак продать не могу.

Как она попала сюда, тамбовская старушка, связанная платочком в горошек? Она – представитель дореволюционной еще эмиграции искателей счастья.

Нам рассказывали, что в Парагвае в середине двадцатых годов возникли настоящие казачьи станицы. Некий казачий генерал из Европы прибыл в Парагвай, и местность ему показалась похожей на донские степи. Он предложил парагвайскому правительству отдать земли вдоль границ казакам и их семьям, оказавшимся в Европе после разгрома Белого движения. Казаки-де будут обрабатывать эти пустующие земли и нести пограничную службу. Правительство согласилось, и несколько тысяч горемык пересекли Атлантику, и образовалось невероятное «Парагвайское казачье войско». Существовало оно недолго и развалилось из-за экономических причин – некому было продавать пшеницу.

Когда встречаешь заграничного русского, тебя охватывает буря разных чувств, и можно только догадываться о том, какие чувства испытывает он, этот заграничный русский, при встрече с нами, русскими из России.

К четырем часам утра Сиракузерс проиграл все свои тучные стада, все свои бойни, колбасные и консервные заводы, весь свой автопарк. Он совершенно ослеп от вспышек: по меньшей мере сотня фотографов фиксировала каждый момент исторического крушения его империи. В четыре часа в казино наступило молчание.

В полной тишине Сиракузерс стащил кольцо с бриллиантом, сорвал с уха рубин, вырвал золотые и платиновые зубы и бросил все эти предметы на стол перед крупье.

– Шампанского для всех! – заорал он. – Последний нонешний денечек гуляю с вами я, друзья!

Возникло замешательство. Бомбардини швырнул бутылкой в люстру. Пистолетто-Наганьеро выхватил саблю, Сиракузерс бросился на крупье. В кромешной темноте началась ужасная роковая борьба, освещаемая лишь вспышками блицев. Через несколько минут друзья были выброшены из казино на прохладный, безучастный к их трагедии асфальт. Оправляя порванное платье, они двинулись куда глаза глядят. За ними вышел только прихрамывающий элегантный господин с сатанинской улыбкой. Уж не Мефистофель ли?

## 17. ДО СВИДАНИЯ!

В конце марта фестиваль весь вышел, и – с помятыми лицами и отчужденными уже глазами – был отмечен его конец.

Мы начали движение к дому, я лично – к своим двадцати семи квадратным метрам в кооперативном доме у метро «Аэропорт», к ложу, именуемому «кресло-кровать», что совершенно не соответствует действительности, к пельменной на Инвалидном рынке.

Для того чтобы вернуться домой, нам надо было вновь пересечь четыреста километров пампы в любезно предоставленном «Шевролете», два дня провести в Буэнос-Айресе, влезть в пузо «Боинга-707», полететь, опускаясь в Монтевидео, Сан-Пауло, Рио-де-Жанейро, Дакаре, Мадриде, проститься с «Боингом» на парижском Орли, денек проболтаться в Париже, приехать в Ле-Бурже, влезть в родное пузико «Ту-104», приземлиться в Шереметьево, окинуть взглядом березы и взять такси.

Всю дорогу до Буэнос-Айреса мы оживленно болтали с нашим дорогим Родольфо, потому что знали уже десятка два испанских слов, а он – десятка два русских. Родольфо говорил так:

– Вы мои друзья на всю жизнь, и моя жена – друг вашим женам, и мои дети – друзья с вашими детьми.

– И будет так, – отвечали мы.

В Буэнос-Айресе ностальгия стала приобретать уже совершенно чрезмерные формы, мы говорили только о Москве, хотя и блуждали по аргентинской столице с семейством Сьяччи, с поэтессой Лилли Гереро, с художником Карлосом Алонсо, с нашими журналистами и дипломатами, со всеми этими милыми людьми, память о которых нам дорога.

И вот наступил день отлета, и этот час, и эта минута, и мы в толпе пассажиров потянулись к самолету, оборачиваясь, помахивая шляпами, посылая воздушные поцелуи нашим новым друзьям и Аргентине в целом.

Неподалеку от барьера международной зоны стояли три оборванца с гитарами. Они услаждали публику неумелой игрой и жуткими козлетонами, а в их шляпы летели крузейро, центы, песо, сантимы и копейки. Нелегко было узнать в них Сиракузерса, Бомбардини и Пистолетто-Наганьеро, но это были они. Когда мы проходили мимо, они с новой силой ударили по струнам и запели:

Под небом знойной Аргентины,  
Где небо южное так сине,  
Где женщины как на картине,  
Там Джо танцует с Клё...

1963–1966  
*Мардель-Плата–Москва*

# ПЕРЕМЕНА ОБРАЗА ЖИЗНИ

## 1

Авиация проделывает с нами странные номера. Когда я прилетаю куда-нибудь самолетом, мне хочется чертыхнуться по адресу географии. Это потому, что между теми местами, откуда я приехал, и Черноморским побережьем Кавказа, оказывается, нет ни Средне-Русской возвышенности, ни лесостепей, ни просто степей. Оказывается, между ними просто-напросто несколько часов лёта. Два затертых номера «Огонька», четыре улыбки девушки-стюардессы, карамелька при взлете и карамелька во время посадки. Пора бы привыкнуть. Глупо даже рассуждать на эту тему, думал я, стоя вечером на набережной в Гагре.

Над темным горизонтом косо висел тускло-багровый просвет. Море в темноте казалось спокойным, и поэтому странно было слышать, как волна пушечными ударами бьет в бетон, и видеть, как она вздымается над набережной

метров на десять и осыпается с сильным шуршанием.

Ветра не было. Шторм шел где-то далеко в открытом море, а здесь он лишь давал о себе знать мощными, но чуть ленивыми ударами по пляжам.

Отдыхающие рассуждали о воде и атмосферных явлениях. Средних лет грузин, волнуясь, объяснял пожилой паре, отчего колеблется температура воды в Черном море.

– Но, Резо, вы забываете о течениях, Резо! – капризно сказала пожилая дама, с удовольствием произнося имя Резо.

– Течение? – почему-то волнуясь, воскликнул грузин и заговорил о течениях. Он говорил о течениях, о Средиземном море и о проливах Босфор и Дарданеллы. Он сильно коверкал русские слова, то и дело переходя на свой язык. Чувствовалось, что он прекрасно разбирается в существе вопроса, просто волнение мешает ему объяснить все как есть.

– Как, Резо? – рассеянно протянула дама, глядя куда-то в сторону. – Разве сюда втекает Средиземное море?

Ее муж сказал веско:

– Да нет. Сюда идет Красное море от Великого, или Тихого океана, вот как.

Резо трудно было все это вынести. Он почти кричал, объяснял что-то про Гольфстрим, про разные течения и про Черное море. Он прекрасно все знал и, может быть, являлся специалистом в этой области, но ему мешало волнение.

– От Великого, или Тихого, – с удовольствием повторил из-под велюровой шляпы пожилой «отдыхающий».

Нервно, но вежливо попрощавшись, грузин ушел в темноту, а пара направилась под руку

вдоль набережной. Мне стало не по себе при виде их сплоченности. Они были до конца друг за друга, и у них было единое представление о мире, в котором мы живем.

Я тоже пошел по набережной. Огоньки Гагры висели надо мной. Домики здесь карабкаются высоко в гору, но сейчас контуров горы не было видно – гора сливалась с темным небом, и можно было подумать, что это светятся в ночи верхние этажи небоскребов. Я прошел мимо экскурсионных автобусов, они стояли в ряд возле набережной. Шоферы-грузины сидели в освещенных кабинках и беседовали со своими друзьями-приятелями, которые толпились возле машин. Это были люди, каких редко увидишь в наших местах. На них были плоские огромные кепки. Они разговаривали так, словно собирались совершить нечто очень серьезное.

В тоннеле под пальмами плыли огоньки папирос. Я шел навстречу этим огонькам, то и дело забывая, что это именно я иду здесь, под пальмами, подумать только! Я, старый затворник, гуляю себе под пальмами. По сути дела, я еще был там, откуда я приехал. Там, где утром я завтракал в молочной столовой, чистил ботинки у знакомого чистильщика и покупал газеты. Там, где за час до вылета я зашел в телефонную будку, набрал номер и в ответ на заспанный голос сказал, что уезжаю, а после долгих и нервных расспросов даже сказал куда, назвал дом отдыха. Там, откуда я приехал, пахло выхлопными газами, как возле стоянки экскурсионных автобусов, но вовсе не роскошным парфюмерным букетом, как в этой пальмовой аллее.

– Звезда упала, – сказал впереди женский голос, прозвучавший как бы через силу.

– Загадай желание, – откликнулся мужчина.

– Надо загадывать, когда она падает, а сейчас уже поздно, – без тени отчаяния сказала женщина.

– Загадай постфактум, – посоветовал мужчина, и я увидел впереди тяжелые контуры велюровой шляпы.

По горизонту, отделяя бухту от всего остального моря, прошел луч прожектора. Я отправился спать. В холле дома отдыха дежурная передала мне телеграмму, в которой было написано: «Выезжаю, поезд такой-то, вагон такой-то, встречай, скоро будем вместе». Нечего было долго ломать голову – телеграмма от Ники, вернее, от Веры. Дело в том, что ее имя Вероника. Все друзья зовут ее Никой, и это ей нравится, а я упорно зову ее Верой, и это является лишним поводом для постоянной грызни.

Дело в том, что эта женщина, Ника – Вера – Вероника, несколько лет назад вообразила, что я появился на этот свет только для того, чтобы стать ее мужем. Мы все тогда просто обалдели от песенки «Джони, только ты мне нужен». Ее крутили каждый вечер раз пятнадцать, а Вероника все время подпевала «Генка, только ты мне нужен». Я думал тогда, что это просто шуточки, и вот нá тебе!

Самое смешное, что все это тянется уже несколько лет. Я выключаю телефон у себя в мастерской, неделями и месяцами торчу в командировках, встречаюсь иногда с другими женщинами и даже завязываю кое-какие романчики, я то и дело забываю о Вере, просто начисто забываю о ее существовании, но в какой-то момент она все-таки дозванивается до меня или приходит сама, сияющая, румяная, одержимая своей идеей, что только я ей нужен, и красивая, ой, какая красивая!

– Скучал? – спрашивает она.

– Еще как, – отвечаю я.

– Ну, здравствуй, – говорит она и подходит близко-близко.

И я откладываю в сторону то, что в этот момент у меня в руках: карандаш, кассету, папку с материалами. А утром, не оставив записки, перебираюсь к приятелю в пустую дачу. Приветик! Я опять ушел целым и невредимым.

– Во всяком случае, – говорит иногда она, – я освобождаю тебя от определенных забот, приношу этим пользу государству.

Она говорит это цинично и горько, но это у нее напускное.

Я понимаю, что давно надо было бы кончить эту комедию и жениться на ней. Иногда меня охватывает такая тоска... Тоска, которую Вера, я знаю, может унять одним движением руки. Но я боюсь, потому что знаю, что с той минуты, когда мы выйдем из загса, моя жизнь изменится коренным, а может быть, и катастрофическим образом.

Да, мне бывает неуютно, когда я ночью отхожу от своего рабочего стола к окну и вижу за рекой дом, который стоит там триста лет, но ведь человечество настолько ушло вперед, что может позволить отдельным своим представителям не заводить семьи. И наконец, черт возьми, «пароходы, строчки и другие долгие дела»? А может быть, мысли и чувства каждого, сливаясь с мыслями и чувствами поколений, передаются дальше, так же, как гены?

А Вероника и не думает стареть. Она влюбилась в меня, когда ей было двадцать лет, и с тех пор ни капельки не изменилась. Может быть, ей кажется, что прошли не годы, а недели? Шумная, цветущая, она – дитя Технологического института, и отсюда разные хохмы, и резкая манера говорить, а в глубине она до тошноты сентименталь-

на. Мне кажется, что она родилась на юге, но она говорит – нет, на севере.

Черт дернул меня позвонить ей сегодня утром за час до отлета, что я, забыл, дурак, что она не может злиться на меня больше часа? Ведь в то время, когда я летел, она уже развивала свою хваленую активность и, наверно, даже умудрилась достать путевку в этот самый дом отдыха.

– Во сколько приходит такой-то поезд? – спросил я дежурную. Она сказала, во сколько, и я поднялся по темной лестнице, вошел в свою комнату, разделся и заснул.

Надо сказать, что мне тридцать один год. Со спортом все покончено, однако я стараюсь не опускаться. Утренняя гимнастика, абонемент в плавательный бассейн – без этого не обходится. Правда, все эти гигиенические процедуры – а иначе их не назовешь – летят к чертям, когда я завожусь. А так как я почти постоянно на полном «заводе»... В общем, попробуйте поплавать! Во время «завода» я выключаю телефон и не отхожу от своего рабочего стола, спускаюсь только за сигаретами. Хозяйка приносит мне обед и кофе такой, что от него колотится сердце. Почти все мои товарищи ведут такой же образ жизни.

Раньше я работал в проектном бюро. Одна стена у нас была стеклянная, и зимою ранняя луна имела возможность наблюдать за работой сотни парней и девушек, склонившихся над своими досками. Мы все были в ковбойках. В глазах рябило от шотландской клеточки, когда ты после перекура заходил в зал. Грань между институтом и этим бюро для всех нас стерлась, мы все продолжали выполнять какой-то отвлеченный урок, похожий на теорему, которая взялась неизвестно откуда. Чтобы понять, над чем мы ра-

ботаем, нужно было сильно подумать, но многие из нас быстро утратили эту способность. Мне казалось тогда, что весь мир сидит в больших и низких залах, где одна стена стеклянная, вычерчивает разные узлы и насвистывает песенки трехлетней давности. А луна приценивается к каждому из нас.

Потом мне стало представляться, что весь мир сидит до утра в серых склепах своих мастерских, корчится в творческих муках, похожих на задержку мочеиспускания, томится у окна, думая о женской любви, которая, возможно, прочнее любого дома на той стороне реки, наутро начинает кашлять, и вот тебе на! – бац, в легких какие-то очажки!

Потом ты лечишься без отрыва от труда (уколы в правую ягодицу и порошок столовыми ложками), и пожалуйста...

– Теперь вы практически здоровы. А с психикой у вас все в порядке? Вы знаете, в организме все взаимосвязано. Нужно переменить образ жизни.

– Ты что, Генка, взялся за перпетуум-мобиле? Какой-то блеск в глазах...

– ...Как будто бы ты, Геннадий, сам не понимаешь, что организму нужен отдых.

Три года уже я никуда не ездил без дела, и вот я в Гагре. Я сплю голый в большой комнате, и Гагра шевелится во мне, как толстое пресмыкающееся со светящимися внутренностями.

Утром я увидел вместо окна плакат, призывающий вносить деньги в сберегательную кассу. На нем было все, что полагается: синее море, в углах симметрично кипарисы, виднелся кусок распрекрасной колоннады и верхушка пальмы. Я встал на этом фоне и крикнул на весь мир: «Накопил и путевку купил!» Потом вспомнил

про телеграмму и стал одеваться. Посмотрелся в зеркало. Вид пока что не плакатный, но все впереди.

## 2

На вокзале, в кадешках, стояли пальмы. Из раскрытых окон ресторанный кухни веяло меланхолией и свежей бараньей кровью. По перрону, пряча глаза и букеты, прогуливались вразной пятеро мужчин в возрасте. Мне странно было видеть, что они гуляют вразной. По-моему, они должны были бы построиться друг другу в затылок и маршировать. За пять минут до прихода поезда на перроне появились неразговорчивые московские студенты. Из сумок у них высовывались дыхательные трубки, ласты и ракетки для бадминтона. Компания была первоклассная, надо сказать. Потом их бегом догнала одна – уж такая! – девушка... Но поезд подошел.

Первым выпрыгнул на перрон здоровенный блондин. Он бросил на асфальт чемодан, раскрыл руки и заорал:

– О, пальмы в Гагре!

Он был неописуемо счастлив. Со знанием дела осмотрел «ту» девушку, подхватил чемодан и пошел легкой упругой походкой, готовый к повторению прошлогоднего сезона сокрушительных побед.

Поезд еще двигался. Мужчины в соломенных шляпах трусили за ним, держа перед собой букеты, как эстафетные палочки. Я сделал скачок в сторону, купил букет и побежал за этими мужчинами, уже видя в окне бледную от волнения Веро-

нику. Она заметила у меня в руках букет и изумленно вскинула брови.

– Здравствуй, Ника, – сказал я, обнимая ее, – ты знаешь...

## 3

Мы вели удивительный образ жизни: ели фрукты, купались и загорали, а вечером весело ужинали в скверном ресторане «Гагрипш», весело отплясывали под более чем странный восточный джаз, и все это было так, как будто так и должно быть. Мы наблюдали за залом, в котором задавали тон блондины титанической выносливости, и, смеясь, называли мужчин «гагерами», а женщин «гагарами», а детей «гагриками». Совершая прогулки в горы или расхаживая по вечерним улицам Гагры, мы произносили доступные восточные слова: «маджари», «чача», «чурчхела»... Я называл Веронику Никой и каждый день приносил ей цветы, а она не могла нарадоваться на меня и хорошела с каждым днем.

Ей все здесь страшно нравилось: пряные запахи парков и меланхолия буфетчиков-армян, чурчхела и сыр сулугуни и, разумеется, горы, море, солнце... Она уплывала далеко от берега в ластах и маске с дыхательной трубкой, ныряла и долго не появлялась на поверхность. Потом она выходила из воды, ложилась в пяти метрах от меня на гальку и поглядывала, блестя глазами, словно говоря: «Ну и дурак ты, Генка! Где еще такую найдешь?» На пляже мы не разговаривали друг с другом, считалось, что я работаю – сижу с блокнотом, пишу, рисую, обдумываю новые проекты. Я действительно сидел с блокнотом и писал в нем, когда Вероника выходи-

ла из воды: «Вот тебе на! Она не утонула. Ну и ну, на небе ни облачка. Ох-хо-хо, поезд пошел... Ту-ру-ру, он пошел на север... Эге-ге, хочется есть... Че-пу-ха! Съемка грушу...» – и рисовал.

И так каждый день по несколько страниц в блокноте. Я не мог здесь работать. Все мне мешало: весь блеск, и смех, и шум, и гам, и Ника, хотя она и лежала молча. Но все-таки я делал вид, что работаю, и она не посягала на эти часы. Может быть, она понимала, что я этими жалкими усилиями отстаиваю свое право на одиночество. А может быть, она ничего не думала по этому поводу, а просто ей было достаточно лежать в пяти метрах от меня на гальке и блестеть глазами. Наверно, ей было достаточно завтрака и обеда, и послеобеденного времени, и вечера, и той части ночи, что мы проводили вместе.

Она была совершенно счастлива. Все окружающее было для нее совершенно естественной и, казалось, единственно возможной средой, в которой она должна была жить с детства до старости. Казалось, она никогда не ходила в лабораторию, не пробивала свой талон в часах, что понаставили сейчас во всех крупных учреждениях. Никогда она не ежилась от холода под морозящим северным дождем, никогда не простаивала в унижительном ожидании возле подъезда моего дома, никогда не звонила мне по ночам. Всегда она была счастлива в любви, всегда она шествовала в очень смелом сарафане по пальмовой аллее навстречу любимому и верному человеку.

- Привет, гагер!
- Привет, гагара!
- Хочешь меня поцеловать?

Всегда она спрашивала так, зная, что я тут же ее поцелую и преподнесу ей магнолию, и мы чуть ли не вприпрыжку отправимся на пляж.

Вдруг она сказала мне:

– Почему ты ходишь все время в этой? У тебя ведь есть и другие рубашки.

Я вздрогнул и посмотрел на нее. В ее глазах мелькнуло беспокойство, но она уже шла напролом.

– Сколько у тебя рубашек?

– Пять, – сказал я.

– Ну вот видишь! А ты ходишь все время в одной. Может быть, пуговицы оторваны на других? Ну конечно! Разве у тебя были когда-нибудь рубашки с целыми пуговицами!

– Да, нет пуговиц, – сказал я, отводя взгляд.

– Пойдем, пришью, – сказала она решительно.

Мы пришли в мою комнату, я вытащил чемодан, положил его на кровать, и Ника, как мне показалось, с каким-то вождением погрузилась в его содержимое...

Я вышел из комнаты на балкон. Все было как положено: красное солнце садилось в синее море. Все краски были очень точные, югу чужды полутона. Внизу, прямо под балконом, на площадке, наша культурница Надико проводила мероприятие.

– Прекрасный фруктовый танец «Яблочко»! – кричала она, легко пронося по площадке свое полное тело.

Среди танцующих я заметил человека, который в день моего приезда на набережной спорил с грузином Резо по вопросу о течениях. Я с трудом узнал его. Крепкий загар скрадывал дряблость его щек, велюровую шляпу он сменил на головной убор сборщиков чая. Он совершенно естественно отплясывал в естественно веселящейся толпе. Он выкидывал смешные коленца, был очень нелеп и мил, видимо, начисто забыв в этот прекрасный миг, к чему его обязывает за-

нимаемый пост и общая ситуация. Тут же я увидел его жену. Она шла прямо под моим балконом с двумя другими женщинами.

– Вы даже не знаете, какая я впечатлительная, – лепетала она, – когда при мне говорят «змея», я уже падаю в обморок.

Я стоял на балконе и смотрел на Гагру, на эту узкую, просто метров двести шириной, полоску ровной земли, зажатую между мрачно темнеющими горами и напряженно-багровым морем. Эта длинная и узкая Гагра, Дзвели Гагра, Гагрипш и Ахали Гагра, робко, но настырно пульсировала, уже зажигались фонари и освещались большие окна, автобусы включали фары, а звонкие голоса культработников кричали по всему побережью:

– Веселый спортивный танец фокстрот!

Кто может поручиться, что море не вспучится, а горы не извергнут огня? Такое ощущение было у меня в этот момент. Тонкие руки Ники легли мне на плечи. Она вздохнула и вымолвила:

– Боже мой, как красиво....

– Что красиво? – спросил я ровным голосом.

– Все, все, – еле слышно вымолвила она.

– Все это искусственное, – резко сказал я, и она отдернула пальцы.

– Что искусственное?

– Пальмы, например, – пробурчал я, – это искусственные пальмы.

– Не говори глупостей! – вскричала она.

– Зимой, когда уезжают все курортники, их красят особой устойчивой краской. Неужели ты не знала? Наивное дитя!

– Дурак! – облегченно засмеялась она.

– Блажен, кто верует, – проскрипел я. – Все искусственное. И эти парфюмерные запахи тоже.

По ночам деревья опрыскивают из пульверизатора специальным химраствором, а изготавливает этот раствор завод в Челябинской области. Копоть там, вонища! Перерабатывают каменный уголь и деготь...

– Ну хватит! – сердито сказала она.

– Все эти субтропики – липа.

– А что же не липа? – спросила она.

– Дождь и мокрый снег, глина под ногами, кирзовые сапоги, товарные поезда, пассажирские, пожалуй, тоже. Самолеты – это липа. Мой рабочий стол – не липа и твоя лаборатория тоже... Рентген... – помолчав, добавил я.

– Не понимаю, – потерянно прошептала она.

– Ну как же ты не понимаешь? Вот когда строили этот дом и возили в тачках раствор, а кран поднимал панели – это была не липа, а когда здесь танцуют фруктовый танец «Яблочко» – это липа.

– Какую чухшь ты мелешь! – воскликнула она. – Люди сюда приезжают отдыхать. Это естественно...

– Правильно. Но не мешало бы им подумать и о другом на такой узкой полоске ровной земли, – сказал я, но она продолжала свою мысль:

– Ведь ты же сам работаешь для того, чтобы люди могли лучше отдыхать.

– Я работаю ради самой работы, – сказал я из чистого пижонства, и она тут же вскричала:

– Ты пижон и сноб!

Каким-то образом я возразил ей, и она что-то снова стала говорить, я ей как-то отвечал, и долго мы спорили о чем-то таком, о чем, собственно, и не стоило нам с ней спорить.

– Генка, что с тобой сегодня происходит? – спросила наконец она.

– Просто хочется выпить, – ответил я.

«Гагрипш» был битком набит, и мы с трудом нашли свободные места за одним столом с двумя молодыми людьми – блондинами в пиджаках с узкими лацканами. Они сетовали друг другу на то, что в Гагре «слабовато с кадрами, а если и есть, то все уже склеенные (взгляд на Веронику), и как ни крути, а видно, придется ехать в Сочи, где – один малый говорил – этого добра навалом».

Мы сделали заказ. Официантка несколько раз подбегала, а потом все-таки принесла что-то. В зал вошел Грохачев. Он шел меж столиков, такой же, как всегда, иронично-расслабленный, с неясной улыбкой на устах. Увидеть его здесь было неожиданно и приятно. Грохачев такой же за творник, как я, и работаем мы с ним в одной области, часто даже в командировки ездим вместе.

– Эй, Грох! – Я помахал ему рукой, и он, раздобыв где-то стул, подсел к нам.

Оказывается, он оставил жену в Гудаутах и сейчас в гордом одиночестве шпарил в своем «Москвиче» домой.

Мы заговорили о своих делах. Под коньяк это шло хорошо, и мы забыли обо всем. Иногда я видел, как Вера танцует то с одним блондинчиком, то с другим. Они повеселели, им, видно, казалось, что дела у них пошли на лад. Потом они ушли в туалет, и после этого похода Вера танцевала уже только с одним блондином, а другой совершал бесплодные атаки в дальний конец зала.

Потом мы все впятером вышли на шоссе и стали ловить такси. Блондину ужасно везло. Он поймал «Москвич» и уселся в него с Вероникой и со своим приятелем, таким же, как он, блондином. А «Москвич», как известно, берет только троих. Я смотрел в ту сторону, где скрылись стоп-сигна-

лы такси, и слушал Гроха. Он рассказывал о своей давней тяжбе с одним управлением, которое осуществляло его проект. Минут через пятнадцать он опомнился.

– Слушай, у меня же машина в сотне метров отсюда. Зачем ты отпустил Нику с этими подонками?

– Что, не знаешь Нику? – сказал я. – Она уже давно с ними расправилась и ложится спать.

Мы нашли его машину, сели в нее и поехали. Грох спросил:

– Вы с ней расписались наконец?

– Пока нет.

– Чего ты тянешь? Поверь, это не так уж страшно.

– Сколько километров отсюда до Гудаут? – спросил я.

Он посмеялся, и снова мы перешли на профессиональные темы. Странно, несколько лет назад мы могли болтать много часов подряд о чем угодно, а вот теперь, куда ни гни – все равно возвращаешься к работе.

Грох довез меня до дома. Я вылез из машины и сразу заметил Нику. Она сидела на скамейке и ждала меня. Я обернулся. Машина еще не отъехала.

– Грох, ты во сколько завтра едешь?

– Примерно в полдень.

– Твоя стоянка возле гостиницы? Может быть, я поеду с тобой.

– Ну что ж! – сказал Грох.

Он уехал, а я подошел к Нике. Она, смеясь, стала рассказывать о мальчиках, как они ее «кадрилли», как это было смешно. Обнявшись, мы пошли к дому, который белел в темноте, в конце кипарисовой аллеи. Я не сказал Нике, что завтра уеду из этого рая, где наша любовь может расцвести и ок-

репнуть, где люди меняют тяжелые шляпы на головные уборы сборщиков чая. А уеду я не потому, что не люблю ее, а может быть, потому, что Грох катит домой и будет в своей норе раньше меня на неделю, если я останусь в этом раю.

## 5

Утром я уложил чемодан и благополучно проскользнул мимо столовой. Оставил у дежурной записку для Ники и вышел на шоссе. Автобусом я доехал до парка и пошел завтракать в чебуречную. Я знал, что там подают крепкий восточный кофе, и решил сразу, с утра, накачаться кофе вместо всех этих кефирчиков и ацидофилинов, чем потчуют в доме отдыха.

Чебуречная была под открытым небом, вернее, под кроной огромного дерева. С удовольствием я глотал обжигающую черную влагу, чувствуя, как проясняется мой заспанный мозг. Чемодан стоял рядом, и никто в мире не знал, где я нахожусь в этот момент. За соседним столиком ел человек в шляпе сборщика чая. Жир стекал у него по подбородку, он наслаждался, допивая светлое вино, в котором отражалось солнце. Может быть, он наслаждался тем же, что и я.

Вдруг он отложил чебурек и позвал:

– Чибисов! Василий!

Смущенно улыбаясь и переминаясь с ноги на ногу, к нему подошел стриженный под бокс парень в голубой «бобочке» и коричневых широких штанах.

– Курортный привет, товарищ Уваров!

– Садись. Давно приехал? – торопливо спросил Уваров, снял и спрятал за спину свою белую шляпу.

- Вчера прилетел.
- Ну, как там у нас? Пустили третий цех?
- Нет еще.
- Почему?
- Техника безопасности резину тянет.
- Безобразие! Вечно суют палки в колеса.

Они заговорили о строительстве. Уваров говорил резко, возмущенно, а Чибисов отвечал обстоятельно и с виноватой улыбочкой.

– Дайте еще один стакан, – сердито сказал Уваров официантке. Она принесла стакан, и он налил в него «Цинандали». – Пей, Василий!

– За поправку, значит, – с ухмылкой сказал Чибисов и поднял стакан двумя пальцами.

– Ну как тебе тут? – спросил Уваров.

Чибисов залпом выпил «Цинандали».

– Хорошо, да только непривычно.

Уваров встал:

– Ну ладно! Тебе когда на работу выходить?

– Сами знаете, Сергей Сергеич.

– Вот именно – знаю, смотри, ты не забудь. Ну ладно, пока. Пользуйся правом на отдых.

Он ушел. Чибисов сидел за столиком, вертел в пальцах пустой стакан и неуверенным взглядом обводил горящий на солнце морской горизонт. У парня было красное, обожженное ветром лицо, шея такого же цвета и кисти рук, а дальше руки были белые, и, словно склероз, на предплечье синела татуировка. Мне хотелось выпить с этим парнем и сделать все для того, чтобы он поскорее почувствовал себя здесь в своей тарелке, потому что уж он-то знает, что такое липа, а что – нет, и он знает, что рай – это непривычное место для человека. Я встал, поднял чемодан и пошел по аллее. Надо мной висели огромные листья незнакомых мне деревьев, аллею окаймляли огромные голубые цветы. Навстречу мне шла Ника. Я не

удивился. Я удивился бы, если бы ее здесь не оказалось. Эта аллея была специально оборудована для того, чтобы по ней навстречу мне, сверкая зубами, глазами и волосами, шла тоненькая девушка Вероника – Вера – Ника. Она взяла меня под руку и пошла со мной.

– Что же, наша любовь – это тоже липа? – спросила она, улыбаясь.

– Это магнолия, – ответил я.

На шоссе нас догнал Грохачев. Он притормозил и спросил меня:

– Значит, не едешь?

– У меня есть еще десять дней, – ответил я, – в конце концов, я имею право на отдых.

Грох улыбнулся нам очень по-доброму.

– Ну, пока, – сказал он. – Все равно скоро увидимся.

ВЫСОКО ТАМ В ГОРАХ,  
ГДЕ РАСТУТ  
РОДОДЕНДРОНЫ,  
ГДЕ ИГРАЮТ  
ПАТЕФОНЫ И УЛЫБКИ  
НА УСТАХ

Ушаков и Ожегов встретились в аэропорту Минеральные Воды совершенно случайно. Ушаков прилетел из Ленинграда, куда его нелегкая занесла в первые дни отпуска и откуда он едва-едва выбрался с сильно облегченным кошельком. Ожегов же жестоко просчитался в Пятигорске, он ждал одну жестокую гражданку, предмет своих желаний жовиальных, и не дождавшись, он ожесточился по направлению к Сочи.

В это время шли первые дни апреля, и молодые люди обнялись.

Оба они работали в редакции солидного словаря, который составлялся уже седьмой год, давая пропитание и моральное удовлетворение целому батальону сотрудников. Они сотрудничали в соседних кабинетах и часто вместе играли в пинг-понг во время обеденных перерывов, порой необъяснимо долгих. Кроме того, они встречались в том или ином клубе того или иного твор-

ческого союза, похлопывали друг друга по крепкому плечу, слегка амикошонствовали, но никогда не сближались, никогда не беседовали интимно, тем более никогда не обнимались.

Таков русский человек. Стоит ему вырваться из привычного круга, как он тут же начинает по этому кругу тосковать и на любого «своего» человека набрасывается со словоизлияниями, с душой открытой, отзывчивой, трепетной. Особенно это обостряется на чужбине. Помню, в одном славянско-немецком городке в глуши Центральной Европы я встретил человека из Москвы, весьма мало мне знакомого, да и не очень приятного, попросту отвратительного, гадкого. Ну, мы и обнялись, и выпили, и разговорились, а в Москве потом только кланялись друг другу издали.

Что касается Ушакова и Ожегова, то их не разделяла взаимная антипатия, скорее, наоборот, они тяготели друг к другу, а отчуждены были по той простой причине, что один работал в секторе литеры «У», а другой в секторе литеры «О». Стоит ли лишний раз вспоминать о противоречиях между двумя этими литерерами?

Итак, они обнялись, подумав, расцеловались. Вслед за этим поохотали. Потом поговорили бессвязно...

Затем Ушаков осмотрелся.

– Как здесь тепло, – заметил он, – и цветы... и синяя гора...

– Это Машук, – гордо пояснил Ожегов.

Здесь, по законам реалистического повествования, я должен нарисовать портреты молодых людей, причем такие, чтобы читатель их увидел «как живыми» и смог бы различать, где тот, где другой. Это я и собирался сделать, пока вдруг не столкнулся с неожиданной трудностью.

Дело в том, что Ушаков и Ожегов были совершенно неразличимы. Они были молодым человеком лет двадцати-тридцати в замшевом пиджаке, чуть выше среднего роста, а точнее, сто восемьдесят один, волосы у них были каштановые, пробор левый, нос прямой, характер у них был ровный, но с некоторой склонностью к унынию, мировоззрение у них отсутствовало, но присутствовала серьезная начитанность, короче, они были молодым человеком без особых примет, совсем не двойники, отнюдь нет, на взгляд их можно было легко отличить друг от друга, и их, конечно, отличали все без какого-либо труда, но описать это различие не смог бы даже Иван Сергеевич Тургенев.

– Это тот, который молниями мерцающий? – спросил Ушаков про Машук.

– Он самый, – важничал Ожегов.

– И Михаил Юрьевич, значит... где-то там...

– Да, погиб.

Молодые люди помолчали.

– Рванем туда?

– Немедленно.

Через некоторое время они оказались на месте дуэли, и серый сквозной кустарник, путаница кустарника, и склон невысокой горы, и весенний воздух, который был – о, да, о, да! – по-прежнему «чист и свеж, как поцелуй ребенка», заставили их прекратить легкомысленную трескотню. Они замолчали и отвернулись друг от друга, и Ушаков вдруг отмерил шесть шагов, желая воочию убедиться, что значит это страшное расстояние. Отмерив шесть шагов, он обернулся и увидел, что Ожегов находится от него на расстоянии вдвое большем: Ожегов тоже втайне отмерял и сейчас, стоя вполоборота, испуганно смотрел на Ушакова, тоже полуповернутого к нему. Их разделяли

двенадцать (не шесть) шагов. Их, двух московских пустословов. Они смущенно хихикнули, отвлеклись взглядом в небеса, как будто они не отмеряли этих шагов, а разошлись так, случайно, ибо, сами посудите, оказались они друг перед другом в довольно странной позиции.

Где играют патефоны, где улыбки на устах.

Короче говоря, эти двенадцать шагов остались между ними, как секрет, который никогда не выплывет на поверхность.

Они вновь заговорили о дуэли, о том, сидел ли кто-нибудь в кустах и какое настроение было у Лермонтова в то утро, и так далее.

Да-да, вот это интересно – для русского интеллигента тема дуэли Лермонтова – бесконечная и бесконечно волнующая. Как-то раз при мне два писателя чуть не подрались, споря о том, на какой лошади приехал поэт к этому месту. Один, опираясь на свидетельства очевидцев, утверждал, что на вороной, другой с жаром доказывал, что на рыжей.

– Я это вижу! – кричал он. – Вижу собственными глазами. Он спрыгнул с седла и стал отряхивать рыжие волосы лошади, приставшие к его белым лосинам.

Хорошо, крепко спорили писатели, и писатели были оба хорошие.

В дальнейшем Ушаков и Ожегов оказались в Кисловодске.

Они спустились к источнику, встали в подвижную очередь, выпили по стакану отвратительно теплого нарзана, с ужасом подумали о химических процессах внутри организма и поняли, что час пробил.

В винном погребеке № 11 (филиале гастронома № 16) уже началось братание. Красивый черноусый мужчина встретил молодых людей пением:

Нам каждый гость дарован Богом,  
Какой бы ни был он среды.  
И даже в рубище убогом...  
Алаверды, алаверды!

Когда они выскочили из погребка, астрономический синий ветер раскачивал голые ветви, струился нарзан, попукивали автомобили. И Ушаков, приблизив заплаканное лицо к заплаканному лицу Ожегова, срывающимся шепотом спросил:

– Кто мы – фишки или великие?  
– Нализаться-то нализались, но где ночевать?

В уютных окнах санаториев синели ночники, шумела ветреная ночь, и что-то капало с небес. Быть может, одинокие дождевики летели с белых, вдаль бегущих туч. Тучи бежали на ночлег – в горы.

– Завтра и мы рванем в горы, – бодрясь, сказал Ожегов.

– Высоко, там в горах... – пробормотал Ушаков.

– Но где ночевать?

В гостиницы их не пускали. Ушаков остановился у витрины мебельного магазина.

– Может быть, купим кровать?

– Богатая идея.

В освещенном роскошестве мебельного магазина сидел с очками на носу ночной сторож.

– В самом деле, давай купим кровать. У тебя дома есть кровать?

– У меня кресло-кровать.

– А у меня буфет-кровать. Пятнадцать минут работы – и буфет превращается в кровать. Над головой тещин сервиз...

– Я всю жизнь мечтаю о подлинной кровати, о подлинной, а не мнимой.

– И я. Давай купим кровать как памятник. Кровать навсегда. Чтобы что-нибудь после нас осталось...

Сторож без всякого недоумения продал им металлическую кровать, из которой можно было по крайней мере сделать полтрактора, пятьсот утюгов, три тысячи ложек, а стоила она всего 20 рублей 8 копеек.

– Уцененная вещь, – пояснил сторож. – Не понимают нынешние... баре стали... Финскую им подавай, венгерскую... стиль... а хорошая вещь уж восьмой год стоит.

Протащили кровать метров десять по тротуару выбились из сил, повалились на пружинную сетку.

Над головами у них с корабельным скрипом раскачивались каштаны.

– Послушай, друг, имеешь ли детей ты?

– Имею пацана и жду второго, в кооператив я ежедневно волочусь...

– А я люблю жестокую гражданку...

– Предмет твоих желаний жовиальных?

– Я отношусь к поэзии и прозе со всем презрением, чистым и спокойным.

– Послушай, друг, с работы возвращаясь, в метро среди гражданок своенравных, читая распроклятые журналы, где каждый пишет, где меня не знают, не знают моих планов, начинаний, влачаюсь к себе, в свои кооперативы...

– Как мы похожи, Ушаков!

– Ожегов!

Заснули оба, а над ними, кренясь, платаны с корабельным скрипом неслись куда-то...

Да-да, вот так бывает в молодые годы: в обиженном подпитии где только не заночуешь. Пом-

нится, несколько лет назад один мой знакомый ночевал в чугунной вазе на Арбатской площади. Хорошо ему было...

Начальник контрольно-спасательного пункта Семенчук, инструктор альпинизма Магомед, истопник Перовский Коля и бармен-массовик Миша виду, конечно, не подали. Как стояли они возле котельной, так и продолжали стоять, глазом не моргнули при виде двух чудаков, вышедших из здания турбазы «Горное эхо».

Донгайская поляна в это апрельское утро сияла всеми своими стеклами и стеклышками, струями своей дикой речушки, желтела прошлогодней травкой, ослепляла кольцом своих знаменитых ледников.

Чудаки в блуджинсах, в синтетических курточках, в шарфиках и войлочных шляпах стояли, качаясь, обалдев от счастья. Семенчук-то это дело знал прекрасно из книг и по опыту: легкое кислородное голодание, ультрафиолетовое излучение создают так называемую «горную эйфорию». «Так-так, – думал он, – клиенты приехали, рановато что-то, орлы-интеллигенты...»

– Видал, Магомед? – спросил он инструктора.

– Да, вижу, – сказал Магомед. – Рановато, вроде бы не сезон.

– А может, уже сезон? – усомнился Миша, который от многолетней службы в баре почти уже не замечал смены времен года.

– В сезон-то они у меня горохом сыплются, – плотоядно усмехнулся Семенчук. – С одной Чернухи не успеваем подбирать... руки... ноги...

– Дела, – попытожил истопник Перовский Коля. Чудаки с глупыми счастливыми лицами направились куда-то. Путь их лежал мимо котельной.

– Здравствуйте, товарищи, – вежливо поклонились они.

– Здравствуйте, – хмуро ответил Семенчук. Остальные кивнули.

Ушакову и Ожегову захотелось тут же обнять этих «суровых немногословных горян», и они еле сдержались.

– Вот хотим прогулку совершить, – сказал Ожегов, сияя.

– Первую разведку, – сказал Ушаков, подсвечивая сбоку

– Рекогносцировку! – воскликнул Ожегов и широко обвел рукой сверкающие ледники.

– А поточнее нельзя? – спросил Семенчук. – Хотя бы ручкой показать, но поточнее, если можно.

– Пока что просто вверх по реке, – сказал Ушаков. – Все же первый раз в горах.

– Впервые в горах! Впервые в райских куцах! – воскликнул Ожегов и заклокотал по-тирольски.

Семенчук посмотрел на него медицинским взглядом.

Откланявшись, чудаки стали удаляться.

– Хорошо, что на Чернуху сразу не полезли, – сказал Магомед.

– Чернуха что, – сказал Семенчук. – Иной раз приедут шизики и сразу за Али-Хан, к Барлахскому перевалу прутся в полботиночках... самоубийцы...

– Эй, ребята! – крикнул Магомед вслед чудакам. – Если кабан погонится, влезайте на деревья. Поняли?

– Парни не без юмора, – сказал Ушаков Ожегову. – Кабаном пугают.

– Кабан – мирное травоядное животное, – благодушествовал Ожегов.

– Ты уверен?

– Я что-то слышал про них. Костя Колчин из сектора «К» все знает про кабанов, а я зато все знаю про оленей, опоссумов и овец.

– А я про уток, утконосов и упырей.

Тропинка, покрытая желтыми листьями, увела их в лес, под сень огромных сосен и пихт. Замшелые валуны нависали над тропинкой, а с другой стороны шумела река – то где-то совсем рядом клочкотала, то уходила глубоко вниз.

Ушаков и Ожегов, частые посетители лесопарка «Сокольники» (шашлычная), а также зоны отдыха Фрунзенского района в Баковке (волейбольчик), не в первый раз сталкивались с дикорастущей флорой, но здесь, в этом кавказском весеннем лесу, они ошалели. Они шли легкой, крадущейся походкой, воображая себя гайяватами, внимая древним зовам, поднимающимся из пучин филогенеза. Оранжевые фазаны перелетали тропинку перед их глазами, голубые косули выступали из чащи, следя за ними влажными, милыми глазами, зеленокосые девы безмолвно и лукаво появлялись между замшелыми валунами, грузно хрустя валежником, прошептал вниз к реке знаменитый кавказский гиппопотам – ящер, царь царей.

Потом все замерло, и лес стал редеть. Тропинка пошла вниз, меж осин засветилась река, замелькали быстрые тени каких-то животных. Ушаков и Ожегов обнаружили, что тропинка вся перерыта чьими-то копытцами, и вдруг – ах! – из орешника высунулась морда папы-кабана. Все как полагается – торчащие клыки, налитые кровью глазки. Еще секунда – и появился мощный плечевой пояс. Еще секунда – и папа-кабан, не рассусоливая, ринулся на Ожегова.

Ожегов тут же взлетел на осину и закачался на ней, обвиснув сразу всеми членами. Кабан же понытно налетел на осину, боднул ее пару раз и

принялся рыть, подрывать устои клыками и копытами с ужасающим сопением.

Несмотря на всю трагичность момента, в голове Ожегова сформировалась оригинальная мысль.

«Какое счастье все-таки, – подумал он, – что я произошел от обезьяны, а они, – с неожиданным уважением к кабану, – а они все-таки нет».

Ушаков разбежался и – ногой кабану в брюхо, как будто бил штрафной удар. Кабан и ухом не повел, продолжая копать. Его интересовал только Ожегов, хотя, еще раз подчеркиваю, никакой существенной разницы между молодыми людьми не было.

– Какой странный зверь! – крикнул Ушаков Ожегову. – На меня ноль внимания. Даже обидно.

– Беги на турбазу, – прошептал изнемогающий Ожегов. – Зови на помощь. Пусть вооружаются и спасают.

– Ты уверен? – усомнился Ушаков. – Все-таки как-то странно: ты на дереве, а внизу кабан. Начнут иронизировать...

– Я много думал об этом, Ульянов, – простонал Ожегов. – В конце концов, ничего странного – я на дереве, а внизу кабан, ничего парадоксального...

– Я тоже так думаю, Олег, – сказал Ушаков, – все-таки мы высшие приматы, и если логически... Короче говоря, бегу! Продержишься?

– Тут ему работы минут на двадцать, – прикинул Ожегов. – А я уже елочку соседнюю присмотрел.

Ушаков рванул вниз по тропинке.

Он бежал с колотящейся в висках кровью, с колотящейся в голове невесть откуда взявшейся песенкой: дружба всего дороже – это праздник молодежи...

Навстречу медленно брел по тропинке инструктор альпинизма Магомед.

– Спасать!.. Он!.. Кабан!.. На дереве!.. Человек!.. Висит!.. Бежим! – орал, подбегая, Ушаков.

– Спокойно! – рявкнул Магомед, чуть ускоряя шаги.

Когда Ушаков и Магомед вышли на поляну, кабан вдохновенно заканчивал свое дело – клочья корней и комья земли так и летели в разные стороны. На сильно накренившейся осине сидел Ожегов.

– Жорка, пошел прочь, свинья эдакий, шайтан! – крикнул Магомед.

Кабан вздрогнул, отскочил от осины, яростно покопал землю в сторону Магомеда, но был он явно сконфужен.

– Опять эти дурацкие шутки! – орал Магомед. – Проходу не даешь приезжим! Думаешь, если в заповеднике живешь, то все тебе можно? В конце концов, съезжу в Карачаевск, получу разрешение на отстрел, прощайся тогда со своими хрюшками!

Кабан сопел, пятясь задом, как бы говоря: не шуми, понимаю, понимаю, – и наконец, вильнув хвостиком, спрятался в орешнике.

– Ужасный зверь, грубый, – сказал Магомед и повернулся к Ожегову: – Слезай, дорогой товарищ, не смущайся.

В этот вечер на турбазе «Горное эхо» произошло братание. Ожегов и Ушаков слились в вечной дружбе и любви с инструктором Магомедом, начальником спасателей Семенчуком, барменом-массовиком Мишей и истопником Перовским Колей.

– Приезжайте в Москву, ребята, – весь словарь подыдем на ноги... кабинет в «Арагви»... кафе «Лира»...

Между тем происходил вечер отдыха.

Турбаза дрожала от летки-енки, качалась, скрипела. Туристов не было, танцевали повари-хи, официантки, судомойки, инструкторы, библиотекари, все свои. Пришли, конечно, девушки и из соседних ущелий. Их приняли. Пришли, конечно, побезобразничать и геологи из ближнего становища. Их Магомед спустил с лестницы.

– Неужели человек может погибнуть от кабана? – вдруг ахнул Ожегов и побелел. Яркая в своих чудовищных подробностях картина собственной гибели «от кабана» предстала перед ним.

– Человек – эфемерида, – задушевно пояснил Семенчук. – В сезон у меня с одной Чернухи столько сыплется вашего брата, где руки, где ноги – не поймешь. А иной раз сидишь тихо, пьешь чай, вдруг крики, шум – профессор математики в речку свалился, спасайте. Ну, едешь на мотоцикле к Горночкару, к запруде, ловишь профессора.

А в буфете взволнованный Ушаков жаловался затуманенному Мише на непорядки в кооперативах и в редколлегиях толковых словарей.

Вот уже битых два часа Ушаков и Ожегов карабкались по склону Чернухи. Они давно потеряли тропу и шли напрямик через лес. Шли, естественно, на четвереньках от сосны к сосне, хватаясь за равнодушные бока вековых гигантов, временами припадая всем телом к земле, чтобы унять отчаянное биение сердец, измученных черным кофею в московских творческих клубах.

Склон был чрезвычайно крут и к тому же покрыт скользким настом из слежавшейся прошлогодней листвы и хвои. Молодые люди уже не разговаривали друг с другом, уже не делились впечатлениями, уже не обращали внимания на равнодушно-прекрасно-зловещую природу, уже

не вспоминали в ироническом плане классическую поэзию, уже не бодрились, не боялись друг перед другом упасть лицом в грязь, а только лишь ползли вверх, хлюпая потом в подмышках, протирая затуманенные глаза, задыхаясь и охая. Что вело их вверх, какие гордые стремления, какая цель? Нет, ничего определенного не было, а было нечто туманное, словами не выразимое, расплывчатое, лишь некий душевный восторг, следствие горной эйфории.

Ведь очень много есть людей, не имеющих в своей жизни словами оформленной цели, но постоянно чего-то восторженно добивающихся, постоянно идущих куда-то вперед и вверх, постоянно находящихся в состоянии, может быть, даже очень странного душевного подъема. Вот, к случаю, частный пример из личного опыта. Давно пора было бы мне бросить этот рассказ на дно корзины или засунуть в наволочку, ибо какая же может быть цель в повествовании о нелепом отдыхе двух совершенно нелепых (хотя лично мне симпатичных) людей, но я все пишу и пишу, все карабкаюсь куда-то, потому что впереди маячит неясное, что-то мерещится, вроде бы какая-то горная вершина, вроде бы кустики рододендронов.

Впереди кое-где засветились пятна голубого снега. Ушаков и Ожегов приближались к границе леса, за которой начиналась снеговая шапка Чернухи. Они выползли на обширную желтую проплешину между сосен, упали ничком и зарылись носами в сухой, нагретый солнцем мох.

В это время над ними послышался нарастающий треск, и по проплешине в метре от них скользнуло вниз со скоростью торпеды бревно в два обхвата.

Гулко ухая, стучаясь о живые сосны, разламывая подлесок, оно ушло вниз.

– Странное явление природы, – пробормотал Ушаков.

– Красиво, правда? – сказал Ожегов. – Красиво оно неслось.

Помолчали-помолчали, блаженно потягиваясь перед последним рывком к снеговой вершине.

Снова послышался треск. Второе бревно, подобно гигантской акуле, неслось прямо на них.

– Ой, Ульян! – шепнул Ожегов.

– Ой! – подтвердил Ушаков.

Они раскатились в разные стороны. Бревно, жарко дыша, прошло между ними. Мох задымился.

– Очень странное явление природы, – сказал Ушаков.

– Странное грозное явление, – ни к селу ни к городу расхохотался Ожегов.

Они встали на четвереньки и поползли по проплешине вверх.

В это время сверху выскочили три черных человека с топорами и ломачами, лесорубы-карачаевцы.

– Дурак, башка худая! – закричали они. – На тот свет захотел, дурак большой?

– В чем дело, товарищи? – поинтересовались Ушаков и Ожегов, подползая. Поздоровались за руку, познакомились, угостили «мужественных горян» сигаретами с фильтром «Ява».

– У вас в Москве все такие или через одного? – спросил карачаевец помоложе.

Друзья смущенно хихикнули, поинтересовались дорогой на Али-Хан.

– А Семенчук в курсе? – спросил карачаевец помоложе. Те, что постарше, от изумления позабыли все русские слова.

– В курсе, в курсе, – покивали друзья.

Семенчук как раз «в курсе» не был. После приключения с кабаном он строжайшим образом за-

претил обоим гуманитариям удалиться от турбазы больше чем на два километра без сопровождения инструктора. Время было весеннее, самое опасное – по всем ущельям «стреляли лавины». Однако что же поделаешь с утренними восторгами, порывами, с видениями заоблачных лугов, с гуманитарными надеждами на неожиданные фантастические встречи.

Молодой человек типа Ушакова и Ожегова до конца своей молодости, то есть лет до пятидесяти восьми – шестидесяти трех, не расстается с фантастическими надеждами. К примеру, сядя в поезд Москва–Симферополь, он склонен думать, что на станции Орел-Второй в его купе войдет элегантная блондинка, «голубые глаза и дорожная серая юбка», и даже если теща его посылает в молочную за диетическими яйцами, он надеется возле метро столкнуться с трагической брюнеткой типа Марии Стюарт, защитить ее от хулиганов, получить удар ножом (неопасный) и тут же улететь с ней в Таллин.

Итак, Ушаков и Ожегов стояли на снежной вершине, на одном из лбов Чернухи, и узкая, показанная карачаевцами тропинка перед их взорами петляла вниз, потом забирала вверх, открывая путь в сказочную страну.

Под ними было плоскогорье, поросшее лесом, прорезанное ртутно-кипучей речушкой, замкнутое двумя горными цепями и поднимающееся к юго-западу, переходящее в царственную, сверкающую ледниками громаду хребта Али-Хан.

Али-Хан закрывал полнеба, невысоко над ним висело солнце. До Али-Хана было рукой подать, и конечно же рукой подать было до Барлахского перевала, которым их столь смехотворно пугал перестраховщик Семенчук, и Али-Хан был хоть и огромен, но царственно-благодушен, зовущ,

вполне удобен для путешествия, во всяком случае гораздо удобнее, чем пройденная уже Чернуха.

Молодые люди покурили, поели свиной тушенки, с исключительной точностью определились по карте и бодро зашагали вниз. До заката солнца они решили прийти к Барлахскому перевалу и из «Приюта бодрости» радировать Семенчуку – пусть взовьется.

Упоительный спуск в упоительную долину среди пылающих льдов вызвал усиленную игру воображения. К этому времени мечта молодых людей как-то уже откристаллизовалась, приобрела реальные очертания. Каждый из них видел в одной из бесчисленных горных складок, среди полного безлюдья альпийскую хижину в снежной шапке, из-за которой, естественно, появится, изящно виражируя, очаровательная слаломистка с голубыми глазами. Впрочем, тут же, вспомнив о товарище, каждый из них усиливал воображение, и вслед за первой слаломисткой появлялась и вторая, почти такая же прекрасная. Эти две романтические сумасбродки, то ли москвички, то ли парижанки, поклонницы модерн-джаза, остроумные чертовки, напичканные стихами современных поэтов, живут в своей хижине совершенно одни, никого, кроме них, в этой хижине черного дерева с зелеными ставнями нет, за исключением восьмидесятилетнего, вернее, девяностодевятилетнего сторожа папаши Карло, играющего день-деньской на волынке, да большого доброго сенбернара.

Вдохновляемые этой теперь уже ясной мечтой, молодые люди быстро пересекли плоскогорье и подошли к отрогам Али-Хана, вступили в густую синюю тень, лишь местами рассеченную солнечными полосами. Бодро начали восхождение.

Вскоре пришлось перейти на четвереньки, и настроение немного испортилось. Вскоре они обнаружили, что потеряли тропинку. Вскоре слышался нарастающий гул, похожий на гул реактивного самолета. Они оглянулись и увидели под собой неуютную пропасть с множеством острых камней и скал. Гул молниеносно нарастал и превратился уже в раздирающий душу рев. Впервые за этот день им стало не по себе, и они спрятались за валун. Вовремя! – мимо валуна, подпрыгивая мячиками, пролетели вниз огромные камни, а вслед за ними над склоном появилось нечто чудовищно белое, некий безжалостный Моби Дик с гигантской головой. Секунду он нависал над склоном, а потом ухнул вниз, яростно пожирая кусты, деревья, камни. Он промчался мимо застывших молодых людей, похотливо виляя жутким толстым хвостом, весь в снежной пыли. Путь его был прихотлив и извилист и закончился глубоко внизу у реки, где он свернулся, подмяв прибрежные плавни. Это был выстрел лавины, продолжавшийся всего несколько секунд.

– Ну, брат Ожегов, – сказал Ушаков, глядя вниз, в синюю тень.

– Да-а, брат Ушаков, – сказал Ожегов, глядя вверх, в лучезарные спокойные небеса.

Подхваченные мощным душевным порывом, они обнялись.

– Не слишком ли много для одного дня? – сказал кто-то из них.

– Явный перебор, – сказал другой.

– Так что же – вверх или вниз?

– Пока что вбок и как можно дальше. Надо найти тропу.

Они поползли по камням, хватаясь за кустики, изнемогая и чертыхаясь, силы вдруг оставили их.

Вдруг снова все изменилось, на этот раз благоприятно для наших смельчаков. Они увидели вполне удобную тропинку и пошли по ней вдоль какой-то очередной впадины. Противоположный, весь покрытый снегом, склон впадины был освещен солнцем. Промерзшие и усталые, они уже и думать забыли об альпийской хижине с блондинками, с папашей Карло и сенбернарном, когда на противоположном склоне появился лыжник.

Ушаков и Ожегов ахнули, увидев, как маленькая фигурка в ярко-зеленом свитере поехала вниз по слаломной трассе. Вслед за ней появилась вторая в ярко-красном, за ней третья – в голубом. Один за другим лыжники исчезли на дне впадины.

Ушаков и Ожегов прошли еще полкилометра по тропе, хрипя, преодолели очередной подъем и увидели висящий над пропастью домик с острой крышей. Это была база горнолыжников – «хижина Али-Хан».

Хижина, покрытая серым шифером, имела вид суровый и весьма потрепанный. На завалинке, свесив ноги в пропасть, сидели два парня с коричневыми лицами. С крайним удивлением они уставились на появившихся со стороны лавиноопасного склона двух типчиков в блуджинсиках, в войлочных шляпах, в городских ботинках – ненавистный тип красноносого, синещекого, сопливого стилияги-туриста. Неужто уже и сюда, в поднебесье, в приют свободной спортивной элиты, пробирается это мерзкое племя со своими транзисторами и шампльчными шампурками?

– Здравствуйте, – сказали Ушаков и Ожегов, нерешительно приближаясь.

– Ду ю спик инглиш? – спросил один из парней.

– Иес, ай ду! – радостно воскликнул Ушаков. – Ай’м вери глэд мит ю хиа! А ю инглиш?

– Куда путь держите, мужички? – спросил один из парней.

– К Барлахскому перевалу, хотим переночевать в «Приюте бодрости», – сказал Ожегов.

– Ага, понятно. – Парни переглянулись.

– Скажите, пожалуйста, ребята, как нам туда пройти? – спросил Ушаков, – Мы тут немного закружились, хи-хи, чуть под лавину не попали, такое дело...

– Направо за угол, – показали парни.

– Значит, недалеко?

– Да нет, тут все близко. Здесь же не Рижское взморье.

Этот разговор слышала Наташа Добровольская, она как раз на кухне варила компот для всей команды. С поварешкой в руках, со спутанными льняными своими волосами, с возмущением в своих голубых глазах на коричневом высокогорном лице она выскочила из хижины и увидела двух красноносых незнакомцев.

Вот так она предстала перед ними как финиш их дерзновенного восхождения, как приз, как горная вершина.

Отроги ледника порозовели, ползли по склонам голубые тени; светило на чертоге Али-Хана багдадским куполом расположилось... А в хижине убогой, но надежной на нарах возлежали слаломисты, Наташа их компотом ублажала и кашей пшенной со свиной тушенкой, а Олег Ожегов взирал от печки на ее движения, на нежный абрис, на очей пыланье, да что там говорить – Ульянов Ушаков взирал на то же в полном изумленье, шептал, шептал – остановись, мгновенье, мечтая выпросить московский телефончик, да что там говорить, Олег Ожегов мечтал о том же.

По горным кручам, по нависшим скалам сходились йети, тихие созданыя, сюда, сюда, к спортбазе «Буревестник», садились тихо и маскировались под пни замшелые, под вечные камни.

Наташина гитара рокотала, Наташина рука трепала струны, Наташа пела про рододендроны, про патефон, укрывшийся в пещере, про то, как с кленов облетают листья.

Наташина улыбка трепетала, и тихо улыбались слаломисты, и улыбались жарко угли в печке, и улыбались Ушаков – Ожегов.

Внизу остались творческие клубы, гудящие кофейные машины, надменные редакторы журналов, правления паевых кооперативов.

Наташа, Добровольская Наташа, как имя дивно, как звучна фамилья, Наташа, ваша каша – объединенье, а ваш компот – поистине нектар.

Вздыхали пожилые слаломисты, а молодые рывкали тревожно, во сне глубоком, видно, вспоминая о тех внизу, в усталых городах.

К утру в хижину Али-Хан ввалилась, жутко ругаясь, спасательная группа с Донгайской поляны – Семенчук, Магомед и Перовский Коля.

– Вот так, старик, было на Кавказе, – закончили свой рассказ Ушаков – Ожегов.

– И что же Наташа? – спросил я,

– Телефончик записали, – улыбнулись они. – Она москвичка, работает в Гипропромбумгазе.

– Звонили?

– Да нет, чего уж там. Ты пойми, старик, что такое Наташа? Понимаешь ли, это ведь тебе не кадр какой-нибудь, а вообще понятие мгновенное, то есть вечное, это как горная вершина, понимаешь?

– А как там с рододендронами? – спросил я.

– Утром с Наташей нарвали букетик, – мечтательно улыбнулись они, – она нам показала место. Чуть ногу себе не сломали.

В их глазах в перевернутом виде сияли глетчеры Главного Кавказского хребта.

– А знаете ли, я рассказ напишу с ваших слов, – сказал я.

Они встревожились:

– Лучше не надо, старик, не пиши. Прочтут про эти места – и повалят туда красноносые, сиенцкие, сопливые стилияги-туристы со своими транзисторами и шашлычными шампурами, понастроят там торговых точек, дороги сделают, гостиницы, а то еще расплодятся там разные кооперативы... Лучше не пиши, ты же сам знаешь силу печатного слова.

Все же я не послушал Ушакова – Ожегова и написал с их слов этот рассказ, и он был вскоре напечатан. Я был уверен, что описания жутких опасностей, которым подвергались на Кавказе мои друзья, отпугнут от этих мест сонмища стилияг-туристов. Ведь стилияге-туристу чужды очарования всякого рода. Я был спокоен за Кавказ.

На следующий год мы поехали с Ушаковым – Ожеговым в те места. Прилетели в Минеральные Воды, а до Донгайской поляны добрались без всяких пересадок на недавно пущенном в эксплуатацию скоростном турбовинтовом троллейбусе с подводными крыльями.

Преодолеть коварную Чернуху оказалось не так уж сложно – мы преодолели ее на стеклянном лифте с кондиционированным воздухом. На вершине Чернухи было пусто – лишь несколько пар потрясали шейком пластмассовую танцплощадку возле алюминиевой чебуречной.

Зато открывающийся с Чернухи вид радовал глаз. Все плоскогорье и склоны хребтов дымили

бесчисленными кострами, вокруг которых что-то зажаривали шикарные туристы в лихо заломленных шляпах. Ароматный дым этих искусственных костров с плексигласовыми углями напоминал по запаху одеколон «В полет».

Фуникулеры, лифты и эскалаторы бороздили склоны горных хребтов и самого Али-Хана.

Там и сям на небольших эстрадах выступали цирковые группы кавказских йети в живописных костюмах.

На месте хижины Али-Хан высился десятиэтажный стеклянный бассейн для плавания со спальными кабинами и поролоновым пляжем.

С ледников бесконечными вереницами съезжали ярко одетые лыжники на безопасных лыжах с особыми тормозными кибернетическими устройствами. Было немного тесновато.

– Видишь, – сказал мне печально Ушаков – Ожегов. – Видишь, какова сила печатного слова.

Наташу Добровольскую в этом цветущем краю мы не нашли. Она уехала с друзьями на Памир.

1967

# О ПОХОЖЕСТИ

В США есть такая весьма разветвленная сеть скоростного питания: павильоны «Джек ин зе бокс» – «Петрушка в коробочке».

Я возвращался из Беркли в Лос-Анджелес, чтобы улететь уже домой, и где-то в середине пути едва только проголодался, как тут же увидел очередного «Джека». Тончайший расчет хитрых американцев: всегда знают, где водитель проголодается, но, конечно, не о голоде думают, а лишь о наживе.

В стеклянном павильоне не видно было ни души, только булькали в сосудах горячие и холодные напитки, хитроумно спекулируя на чувстве жажды.

Передо мной оказалась доска с меню и под ней микрофон. Я заказал гамбургер «гигант» и кофе.

– Йес, сэр. Откуда, сэр? – сказал из своей утробы «Джек».

– Из России.

– Шутку оценил. А куда путь держите?

– В Россию.

– Bravo, сэръ!

Я был единственным едоком, и у «Джека» было время потрепаться.

В окно мне поданы были горячие картонные коробки с едой и питьем. Я отъехал на столовский паркинг. В это время к «Джеку» завернул огромный олдсмобиль. Он объехал вокруг павильона и запарковался рядом со мной, но подавал водитель не кормой, как я, а носом, и таким образом мы оказались со своей едой будто бы за столиком ресторана.

Я посмотрел на сотрапезника. Рыжий с седой, краснорожий, кадыкастый, в ярчайшей гавайской рубашке и в бусах из ярких кораллов.

– Майк О’Рили, – представился он. – Хай! Как дела?

– М-м-м, – ответил я. – Угу.

– Ребята болтают, что из России в Россию, а?

– М-м-м, – подтвердил я. – Угу.

– Джизус, Мэри энд Джозеф! – воскликнул он. – Помню Россию!

– Были у нас?

– Боже упаси. Я другое имел в виду. Знаете, некоторые страны как-то выпадают из головы, какая-нибудь, скажем... ну... Исландия, Гренландия... годами о ней не думаешь, то ли на юге она, то ли на севере. О России как-то помнишь всегда. Приблизительно знаешь даже, где она находится.

– А где? – не без лукавства спросил я.

– Между Китаем и Германией, – выпалил он и заплясал от гордости всеми веснушками, но потом почему-то вдруг померк, и тень далекого трагизма проползла по его лицу. – Кроме того, я воевал когда-то вместе с русскими.

– Возможно ли это?

Он пошарил рукой где-то внизу и вытащил на свет полугаллонную бутылку джина «Бифигер» с ручкой.

Пауза в диалоге.

– Б-р-р-р, – сказал я после паузы.

– Б-р-р-р, – сказал он и продолжил: – Не всегда я занимался химчисткой в этой бестолковой стране. Я был когда-то лейтенантом Королевской ирландской пехоты. Майк О’Рили, – представился он мне еще раз. – Участник поражения в Дюнкерке.

– Славное было дело, – сказал я.

– Отличное, отличное, – кивнул он.

– Но наших там не было, – сказал я.

– Там и наших хватало, – сказал он. – Драпали за милую душу.

– Б-р-р-р, – сказал он.

– Б-р-р-р, – сказал я.

– Однако я не убежал, – сказал он.

– Нет? – спросил я.

– В плен попал.

– Поздравляю.

– Рука не дрожит? – спросил он.

– Почти нет, – сказал я.

– Разливай!

– Куда?

– Не болтай лишнего.

– Б-р-р-р, – сказал я.

– Б-р-р-р, – сказал он. – Тебя как зовут?

– Вася.

– Так и того звали, – всхлипнул он. – Моего любимого. Казачонок Вася, лет сорока. Это не ты?

– Наших не было в Дюнкерке, – сказал я. – И Васи там не было.

– А в Германии ваши были, – лукаво погрозил он мне. – Там вашими так все и кишело в 1945-м. А ты там, Вася, не кишел?

- Я тогда под стол пешком ходил.
- И со мной случалось, – нахмурился он, потом вздрогнул.
- Вздрогнем?
- Б-р-р-р.
- Б-р-р-р. Хорошо сидим, а? – Рука у меня, Майк, все тверже становится. Видишь?
- Джизус, Мэри энд Джозеф, он спас мне жизнь, этот казачонок Мухамед.
- Вася или Мухамед?
- Быть, может, Стефан. Внутри горела геенна огненная. Эсэсовцы все разбежались как собаки. Мы брошены на произвол судьбы. Шипела, падая, ракета... Тут они и появились на конях. Жизнь была спасена. Как мне найти его?
- Кого?
- Того узбека. Тридцать лет его уже ищу и не могу найти. На Филиппинах искал, в Индии, в Милуоки... как мне найти его?
- Я помогу тебе, Майк.
- Спасибо, Вася. Вот за это спасибо. ты настоящий друг. ты снова спас мне жизнь. Я тридцать лет его искал и, если бы не ты, не нашел бы. А теперь давай поднимем до уровня бровей. Готов? Поехали!
- Б-р-р-р.
- Б-р-р-р.
- Я напишу об этой трогательной истории в «Литературную газету».
- Зачем в литературную? Лучше в нормальную.
- Я писатель, потому и пишу в «Литературную».
- Я тоже писатель, даже поэт. «Если хочешь чистым быть, надо в химчистку О’Рили заходить». Здорово?
- Ты мне расскажи, Майк, как ты выглядел, чтобы тебя узнал твой спаситель.

– Я выглядел отлично. Если бы все так выглядели в королевской пехоте...

– Точнее, Майк. Какой был нос, какой, извини меня, рот у тебя был?

– У меня на шее было вафельное полотенце.

– Где было полотенце?

– На шее.

– Вот здесь, что ли? На шее?

– Так точно, сэр. Без сомнения, на шее.

– Учти, Майк, я уже записываю. Что у тебя там было? На шее.

– Вот здесь, что ли? Там у меня вафельное полотенце висело, когда этот узбек появился со своей канистрой.

– Он на лошади приехал?

– Возможно. Они ведь на лошадях все скачут.

– Кто?

– Казаки.

– Он казак был или узбек?

– Какая разница?

– Может, русский?

– Конечно, русский.

– Значит, так и напишем в «Литературной газете» – русский казачок узбек Вася.

– Не обязательно Вася. Может быть, его звали Мухамед или еще как-нибудь. Они тогда прямо так и посыпались из грузовиков, кто с котелком, кто с фляжкой, а мой очаровательный – прямо с канистрой. Открывай, говорит, рот, лейтенант, и полотенцем вытирайся. Лошади? Какая, Вася, разница, лошади, грузовики, русский, узбек, Махмуд, Стефан?.. Все равны перед лицом всемогущего. Главное, чтоб руку друг другу, чтобы историческое рукопожатие, чтобы все пело внутри, тогда и закуски не надо, можно и полотенцем. Так, что ли, брат? Если согласен, не мешкай.

– Б-р.

– Б-р.

– Еще бы не согласиться, Майк. Вот пальмы над нами, вон дальние миры светятся, летающая посуда свистит, все мы земляне, живые души. Так все и напишу, пускай откликнется далекий воин, который в Германии англичанина спас.

– Джизус, Мэри энд Джозеф! Какой я тебе англичанин?

– Ну, шотландец. Ты ведь шотландец, Майк?

– Гуднес! Я ирландец, запомни это, настоящий ирландец. неужели не видно? У меня даже сын есть в Ольстере, незаконный. Отличный малый...

– Да ведь главное, Майк, чтоб все пело внутри, потому что мы раса землян и все друг на друга похожи.

– Правильно, Вася, все земляне похожи друг на друга, особенно казаки на узбеков, но мы, ирландцы, очень сильно отличаемся от этих англичан, потому что...

Зажужжали наши моторы, давая понять, что диалог исчерпан. Олдсмобиль поехал назад, моя «тойота» поехала вперед.

– Почему же, Майк? – спросил я на прощание.

– Потому что мы лучше! – гаркнул он и включил радио на полную мощность, чтобы не слышать возражений.

# ПОЭМА ЭКСТАЗА

С двенадцати лет я начал очень бурно развиваться физически. Мое физическое развитие стало пугать родителей. Они повели меня к врачу, и врач, голубоглазая тетенька, даже вздрогнула, когда я стащил через голову свитер.

– Феноменальный мальчик, – сказала она очень красивым голосом.

Мне почему-то не хотелось уходить из медицинского кабинета, но папа взял меня за руку и увел.

Папа был уже ниже меня на полголовы. С каждым годом он становился все меньше и меньше, но я все-таки уважал его и любил, пальцем никогда не тронул, хотя очень сильно обогнал его в своем физическом развитии. Кстати, такое отношение к родителям я рекомендую всем начинающим спортсменам.

Мое умственное развитие значительно отставало от физического. Вообще-то я был абсолют-

но на уровне своих одноклассников, в отличники, конечно, не лез – зачем? – но что касается теоремы Пифагора, бинорма Ньютона или там «Кому на Руси жить хорошо», то все эти премудрости у меня от зубов отскакивали. Однако физическое мое развитие ушло далеко вперед по сравнению с умственным. Иногда меня даже смех разбирал при взгляде на моих сверстников, но я сдерживал смех и старался не выделяться. Глупо кичиться своим физическим развитием. не рекомендую этого начинающим спортсменам.

Когда мне исполнилось четырнадцать лет, стал я что-то такое баловаться. Поломал все динамометры в кабинете физического воспитания, в спирометр дунул разок – он распаялся, о силовых аттракционах в парке культуры нечего и говорить. А однажды в школьном коридоре, не отдавая себе отчета, поднял завуча Валериана Сергеевича, посадил его к себе на плечи и так, с завучем на плечах, вошел в класс. Итог: исключили на десять дней из школы.

Ну, от класса я, конечно, не отстал. Ежедневно пять часов занимался по программе, неясные вопросы консультировал с Мишей Гурфинкелем по телефону. Учебу запускать нельзя, а то окажется, что ты топчешься на месте, а все уже ушли вперед.

Странный инцидент с завучем многому меня научил. Я стал задумываться о своей дальнейшей жизни. Было о чем подумать: невероятное развитие мускулатуры и внутренних органов сделало меня совсем другим человеком. Подумайте сами: ведь очень многие мальчики хотят посадить себе завуча на плечи, но далеко не все могут это сделать, а я вот захотел – и сделал. При наличии такого физического развития мысли, свойственные очень многим мальчикам, а может быть,

и всем, могли меня и окружающих привести к нежелательным последствиям.

Взвесив все «за» и «против», я решил обратиться к спорту. Поделился своими планами с родителями. Папа сказал:

– Это правильное решение. Направив избыток энергии в спорт, ты, Геннадий, избежишь конфликта с обществом.

Итак, решение было принято. Оставалось только выбрать вид спорта. Смешно, конечно, было мне заниматься легкой атлетикой, когда я уже в шестом классе на уроках физкультуры брал высоту 216, сотку пробегал за 10,3, ядро толкал на 19 метров, и все это без всякого труда, а если честно говорить, то и без удовольствия. Может быть, плавание? Плавать я не умел и учиться не собирался. Зачем?

Предаваясь раздумьям о выборе жизненного пути, я гулял по улицам, поглядывал на прохожих, выбирал мужчину поздоровее, знакомился, сжимал ему руку, глядел ему в застывшие от боли глаза, подталкивал плечом, потом, пристыженный, убегал. Не знаю уж, чем бы все это кончилось, если бы не попал я в секцию бокса.

Помню своего первого спарринг-партнера, массивного мастера спорта лет сорока.

– Не бойся, сынок, я легонько, – шепнул он мне перед началом встречи. Примерно минуту он молотил как хотел, но мне его крюки и апперкоты были как слону дробинка. На второй минуте я разглядел все премудрости этого вида спорта, сделал финт да как дал прямым – старик упал. Так я получил путевку в жизнь.

Мне очень нравился бокс. Очень нравилось за секунду до гонга стоять в своем углу, скромно опустив длинные пушистые ресницы, с румянцем на

нежных щеках, а при гонге вскинуть длинные пушистые ресницы, открыть большие голубые глаза, улыбнуться сверкающей улыбкой, заглянуть в сузившиеся от страха глаза партнера, обрушить на него шквал ударов. Обычно до второго раунда не доходило.

Пришла слава. Ежедневно получаю от пятидесяти до шестидесяти писем от молодежи. Аккуратно отвечаю на все письма. Вопрос: «Как стать таким сильным, как вы?» Ответ: «Только упорным трудом». Вопрос: «Как вы смогли добиться таких успехов в спорте?» Ответ: «Только упорным трудом». Вопрос девушки: «Почему вы такой красивый?» Ответ девушке: «Только упорным трудом».

Следует сказать, что я успешно сочетал спорт с учебой, от класса не отставал. Каждую свободную минуту использовал для занятий по программе.

Однажды перед боем сижу в раздевалке уже в трусах, в перчатках, учу наизусть цитаты из «Лука света в темном царстве» – к сочинению. Заходит журналист Илья Слонов с фоторепортером. Фотарь покрутился вокруг, пощелкал.

– Испарись, Эдюля, – сказал ему Слонов, подсел ко мне и говорит: – Нравится мне ваш бокс, Мабукин.

Я даже покраснел, Я всегда был скромный и сейчас являюсь скромным. В этом смысле я тоже пример для начинающих спортсменов.

– Нравится, но не до конца, – говорит Слонов.

Вот тут я заволновался.

– Все у вас есть, – продолжает Слонов, – сила, реакция, техника на высоте. Нет только творческого духа.

– Как так нет? – спрашиваю.

– Возьмите, к примеру, Кассиуса Клея... – говорит Илья Слонов.

При имени Кассиуса у меня даже селезенка задрожала. Ох, как хочется мне познакомиться с этим товарищем, поработать с ним за милую душу.

– ...абсолютный чемпион мира и в то же время тонкий лирический поэт, – продолжает Слонов. – Уверяю вас, что он задавил Сонни Листона прежде всего своим интеллектом.

– Современный боксер – прежде всего творческая личность, – продолжает Слонов. – Бокс – это поэма. Поэма экстаза. Бокс – это холст сюрреалиста. Бокс – это вдохновение, порыв, пластическая fuga, ассонанс или диссонанс.

Сказав это, он посмотрел в потолок, и в темных бархатных его глазах проплыли маленькие огоньки.

– Вы вообще-то книжки читаете, Мабукин? – спросил он.

– Да вообще-то читаю. Вот... «Луч света в темном царстве», – показал я.

– Ну, а кроме хрестоматии? «Процесс» Кафки читали? С поэзией Велимира Хлебникова знакомы?

Так началась наша дружба, которая продолжается и по сей день.

Вскоре на обложке «Огонька» появился мой портрет в перчатках и с хрестоматией. «Мастер спорта Геннадий Мабукин – страстный книголюб».

В это время наша команда готовилась к крупнейшим соревнованиям на кубок Сиракузерса в Южной Америке. Слонов ежедневно приезжал к нам на загородную базу, привозил книги, пластинки, альбомы репродукций. В короткий срок под его руководством я одолел «Процесс» Кафки, «Мастера и Маргариту» Булгакова, «Траву забвения» Катаева, прочел «Кентавра», «Детей капитана Гранта» (вот это книга!), разобрался во

французском антиромане, Сартра, конечно, проштудировал (без этого сейчас нельзя), выгучил наизусть несколько стихов Аполлинера, Велимира Хлебникова – «усадьба ночью чингисхань!.. а небо синее, роопсь...», прослушал с преогромным удовольствием Баха, Малера, Прокофьева, «Модерн джаз-квартет», ознакомился с творчеством Василия Кандинского, Сальвадора Дали, Джакометти и многих других. Особенно мне понравились натюрморты Моранди. Как сказал Эренбург, «при всей их философской глубине в них нет рассудочности, сухости – они взывают к миру эмоций». Постепенно для меня стало проясняться истинное лицо современного бокса.

Гуляя по подмосковным лесам, рощам, перелескам, опушкам, взгорьям и низинам, я сочинял стихи. Помню первое свое стихотворение:

Мое лицо глядит из тьмы болот  
Устало, одиноко, непреклонно.  
Глаза и лоб, любви моей оплот...  
Я не Нарцисс, но все-таки влюбленный.

Наш главный тренер как-то сказал Слонову:  
– Что ты парню голову мутишь? Ему, может быть, в финале с Хорхе Луисом Барракудой работать, а у того правая знаешь какая!

Слонов тут же отпарировал:

– Как вы не понимаете? Гена практически непобедим. Кубок Сиракузерса у него в чемодане, как и все остальные кубки в мире, но я хочу из него вылепить боксера нового типа, творца, художника!

– Может, ты шпион, Слонов? – хмуро спросил тренер.

И вот мы приехали в Южную Америку, в очень большой город, то ли Буэнос-Айрес, то ли Рио-де-

Жанейро, сейчас уже не помню. Начались соревнования на кубок Сиракузерса. Что там было! Мои тренировки фотографировали от пятидесяти до шестидесяти репортеров, телевидение показывало меня с утра до ночи по всем двенадцати каналам. Ежедневно пятьдесят—шестьдесят писем от южноамериканской молодежи. «Как стать таким сильным, как вы?» – «Только упорным трудом». – «Как стать таким красивым, как вы?» – «Только упорным трудом». – «Правда ли, что вы поэт?» – «Правда».

В одной шестнадцатой я должен был работать с венгром. Тренер венгра снял. «Это олимпийская надежда нашей страны, и мы не можем им рисковать», – заявил тренер газетам. В одной восьмой англичанин тоже отказался от боя. «Я отец пяти детей, на фига мне уродоваться», – заявил он газетам. В четвертьфинале итальянец тоже не вышел на ринг: «Жизнь дороже». В полуфинале спасовал и японец: «Бронза есть, и ладно».

Свободного времени у меня было много, и мы с Ильей проводили его на художественных выставках, симфонических концертах, в подвальчиках местной богемы. Таким образом мы продолжали формировать мою личность боксера нового типа. Между тем главный мой соперник Хорхе Луис Барракуда в жестоких боях пробивался к финалу.

И вот финал настал. Перед боем ко мне зашел сам Адольфус Селестина Сиракузерс, миллионерскопромышленник, массивный дяденька с бычьей шеей, с седым бобриком волос на шишковатой голове, в пунцовом жилете, на пальце – бриллиант, в ухе – рубин. С удовольствием глядя на меня, он сказал представителям печати:

– Узнаю. Узнаю свою молодость.

И вот я вышел на ринг и впервые увидел Барракуду. Очень большой, очень черный, очень пожилой – лет тридцати – человек стоял в противоположном углу. Он сильно волновался, кажется, у него даже дрожали колени. А я скромно стоял в своем углу, опустив длинные пушистые ресницы, и сквозь длинные пушистые ресницы смотрел на него, ласково улыбаясь.

– Руки длинные. Навязывай ближний бой. Берегись правой, – прошептал мне тренер.

Чудак мой тренер. Он даже не знал, что я решил провести этот бой как симфоническую поэму, как пластическую фугу в сюрреалистическом ключе на ассонансах и диссонансах. Ближний бой, дальний бой – что за ерунда! Бокс – это поэма экстаза!

Я разыграл все как по нотам. Барракуда с его отчаянием и упорством был в моих руках отличным инструментом, словно скрипка Страдивариуса. Этот бой впервые принес мне истинное высокое эстетическое наслаждение, потому что теперь я был уже боксером нового типа, боксером-интеллектуалом.

В третьем раунде Барракуда неожиданным апперкотом бросил меня на канаты. В пустоте и тишине звенящая божественная боль пронизала меня. Задыхаясь от восхищения, я смотрел на приближающееся лицо Барракуды с трясущейся челюстью и алмазно сверкающими глазами. Наступал момент истины. Последний штрих, последняя трепетная нота. Голова Барракуды, словно кегельный шар, стукнулась о помост.

Ответив на пятьдесят–шестьдесят вопросов, я попросил журналистов оставить меня одного. Попросил и своего друга Илью очистить помещение. Когда все ушли, включил магнитофон с записью концерта Рахманинова, открыл аль-

бом Моранди и томик стихов Иннокентия Анненского.

Глубокой ночью, когда воцарилось безмолвие, я вышел из Дворца спорта. На ступеньках сидел Хорхе Луис Барракуда. Он плакал.

– Отчего вы плачете, Барракуда? Неужели из-за поражения? – спросил я.

– А из-за чего же еще? – ответил он.

– Вы вообще-то книжки читаете, Барракуда?

– Да читаю, читаю.

– Значит, недостаточно читаете. Больше нужно читать, слушать музыку, смотреть картины.

– Да знаю, знаю, все про вас знаю. Подражаю, а что толку?

– Моранди вам нравится, Барракуда?

– Да нравится, нравится.

– А «Модерн джаз-квартет»?

– Ну.

– Тогда у вас все впереди, Барракуда. Не плачьте. Пока.

– Уходи, пока цел, – буркнул он.

Я не стал с ним спорить.

Что могу сказать о своем питании? Утром я выпиваю стакан сока, съедаю два яйца. За обедом; кусочек сельди, полтарелки бульона, кура. Полдник: стакан молока и кекс. За ужином отвожу душу: икра, семга, балык, грибы в сметане. Филе на вертеле, шашлычков пару порций, крем-брюле, клубника в сметане, торт, мороженое и так далее. Рекомендую этот рацион всем начинающим спортсменам.

Кем я был раньше? Паровым молотом.

Кто я теперь? Художник удара.

# ЛОГОВО ЛЬВА

В ранней молодости, еще в сталинские годы, я побывал в квартире Пушкина на Мойке. Ничего особенного не запомнил, кроме умывальника. Этот пушкинский умывальник почему-то остался в памяти, он и сейчас в ней стоит, неизгладим. Роскошный предмет, сильнейший! Наверное, такие европейской работы умывальники были не всякому по плечу даже и среди аристократии. Большой мраморный ящик с фарфоровой, в цветах и фазанах, раковиной. В верхнюю часть ящика наливали свежую воду, в нижней части собиралась отхожая. Над раковиной нависал великолепно выработанный медный кран со свободно висящим медным же тяжелым соском. Нужно было снизу ладонями подбивать этот сосок, и тогда лилась чудесная вода крепостнической России.

В пятидесятые годы такие сосковые умывальники вовсе не были в СССР музейной редкостью. Множество таких предметов разных степеней со-

ветского убожества имелось в пионерлагерях, летних казармах и в жилых бараках, куда не доходила труба водопровода. Конечно, такого шикарного соскового умывальника я нигде до Пушкиных не видывал. Я представлял, как поэт здесь плещется по утрам, и задавался вопросом, был ли он волосист.

Пушкин, признаться, в ту пору меня хоть и интересовал, но не очень. В школьной литературной программе он как выразитель народного духа был потеснен Ариной Родионовной. Почвенный марксизм-сталинизм не оставлял ни одного живого места в изучаемых предметах. Мраморный умывальник как-то странно выпирал из хрестоматийной картины. Каким-то шикарным Лондоном веяло от него. Помните: «Все, чем для прихоти обильной снабжает Лондон щепетильный (т.е. галантерейный) и по Балтийским волнам за лес и сало возит к нам»?

Не уверен, что я тогда дальше пошел с экскурсией по анфиладам. Скорее всего какие-нибудь приятели отвлекли на очередную вечеринку. Иначе все-таки что-нибудь еще запомнилось бы, кроме умывальника.

В прошлом году, то есть сорок семь лет спустя, я вторично посетил эту квартиру в пушкинском мемориальном центре на Мойке. Как много здесь было изменений, призванных приблизить нас к временам дворянской литературы! Скульптура поэта украшает теперь внутренний двор. Интересно, как он смотрел бы на нее из окна своего кабинета? Фасады отреставрированы. Вдоль маршрута стоят ряды застекленных столиков с рукописями и редкими изданиями. Потоки идут ровно, несмотря на неизменную остановку для осуществления российской музейной традиции надевания на обувь безобразных войлочных лаптей.

Наконец после подъемов и спусков входим в квартиру. Предметы мебели в стиле ампир. Шкафчики со статуэтками. Живописные портреты.

– Комната Натальи Николаовны одновременно служила и гостиной, – повествует экскурсовод с заученным волнением.

Ширмочки. Карточный столик. Набор для вышивания.

– А где же спальня? – интересуется филолог из Небраски.

Девушка волнуется уже не заученным образом:

– Она рядом с детской. Обе комнаты сейчас в реставрации.

Я тоже почему-то начинаю волноваться:

– Скажите, барышня, нельзя ли бросить взгляд на подсобные помещения? Ну, скажем, на кухню или умывальную комнату? Помнится, тут был такой великолепный умывальник.

Экскурсовод передергивается, как будто пораженная чем-то, ну, скажем, плевком верблюда. В чем дело? Почему невинный вопрос об умывальнике вызвал такое искажение вполне симпатичных черт?

В это время из кабинета, куда мы должны были проследовать, стала выходить другая группа. Пока ждали, девушка пару раз бросила на меня какие-то странные взгляды. Быть может, для того, чтобы справиться с волнением, она предложила нам кое-что вне программы:

– Посмотрите в окно, господа. На другой стороне Мойки, на углу Невского, находится недавно заново открытое кафе «Вольфа и Беранже», куда поэт частенько забегал откусать шоколада. А рядом, в большом сером доме, жили Собчак и Боярский.

Я сначала подумал, что речь идет о каких-то николаевских вельможах, но потом сообразил, что это наши современники.

Наконец мы заходим в кабинет, и тут приходит моя очередь взволноваться. Эта комната в своем удивительном аристократизме стояла особняком рядом с довольно заурядным собранием всей квартиры. Глядя на стены с книжными полками до потолка, на кожаные с золотым тиснением корешки книг, на развалистую мебель, удобную для принятия любых поз, в том числе и поз вдохновения, на письменные наборы столов, лампы и подсвечники, я представил себе, как он здесь уединялся, скрывался от писка детей, от французской болтовни сестер Гончаровых, от клавикордов и запахов кухни. Вот здесь разрезал журналы и подписные издания, открывал бутылку вина, закуривал сигару, постепенно уходил в сомнамбулическое состояние творчества наш поэт, не «выразитель народного духа», а настоящий просвещенный европеец, the man of letters, литератор.

Я представил себе, как он тут ходит в блаженном одиночестве по ковру, мускулистый и упругий, сущий абиссинский лев, воспитанный на европейской философии и французском шампанском. Мне вспомнилось собственное старое сочинение, в котором герою является литературный лев:

Во сне пред ним предстал венецианский лев,  
Способный обскакать небесную квадригу.  
Он к дому тихо шел, мелькая среди дерев,  
Приблизился к крыльцу и положил там книгу.  
Вот так приходит лев, ложится на крыльцо,  
На доски навалясь железными локтями.  
Он к чтенью вас, мой друг, расположит лицом,  
К писанию меня расположит когтями.

Нет, не от праздности взялись знаменитые пушкинские когти, от чистопородного пушкинского байронизма!

В кабинете экскурсия завершалась.

Я попросил экскурсовода:

– Можно, я здесь ненадолго останусь?

Она вскричала в священном ужасе:

– Что вы! Что вы! – И вдруг непостижимым образом на 180 градусов смягчилась: – Вы, наверное, знаток, раз помните те крутельсонговские умывальники. Оставайтесь ненадолго, но только не переступайте ограждения.

Вскоре весь дом затих: был конец рабочего дня. Я сидел на подоконнике, на котором и он небось сиживал. Я попытался вспомнить какой-нибудь пушкинский стих из не очень замученных по юбилейным радениям, и тут же пришло на ум нечто с когтями, сугубо львиное – *Ex Ungue Leonem*:

Недавно я стихами как-то свистнул  
И выдал их без подписи моей;  
Журнальный шут о них статейку тиснул,  
Без подписи пустив ее, злодей.  
Но что ж? Ни мне, ни площадному шуту  
Не удалось прикрыть своих проказ:  
Он по когтям узнал меня в минуту,  
Я по ушам признал его как раз.

Быть может, этот неровный торопливый стих лучше других дает увидеть минуту из жизни Пушкина. Ветреный день на Невском. словно стая гусей, хлопают пелерины и крылатки. Они выходят с Дельвигом из лавки Смирдина. И оба хохочут по адресу г-на Измайлова. Или по Английской набережной они прогуливаются с Вяземским. Пушкин читает другу этот стих, и тот улыбается в адрес всей той публики из «Благонмеренного». А в это время сильный ветер гонит волну с залива, хлопает флагами и парусами на

якорной стоянке, и Пушкин мудр и когтист, как венецианский книжник-лев, и ему нравится жить, как абиссинским львам нравится нестись по саванне.

Эта минута проходит, и вспоминается другой стих, не связанный с бегом минут:

Лишь розы увядают,  
Амврозией дыша.  
В Элизий улетает  
Их легкая душа.  
И там, где волны сонны  
Забвение несут,  
Их тени благовонны  
Над Летою цветут.

Острее других он понимал неокончателность реального мира, зыбкость его предметов и в поисках иной сути уходил дальше других.

Стояла полная тишина, когда я осмелился и перешагнул бархатную веревку ограждения. Книжка, лежащая на столе, оказалась томиком Байрона. Глубокий след когтя отчеркнул там две строчки:

Fare thee well, and if for ever,  
Still for ever fare thee well.

В доме было пустынно. Шаркали по паркету мои войлочные лапти. На выходе сидела с вязанием старенькая тетушка. Она бросила на меня взгляд и проворчала:

– Вечно кто-нибудь спрячется в кабинете. Вот так и умывальник Александра Сергеевича вынесли.

# ЗЕНИЦА ОКА

Бабушка Евдокия, она же Авдотья, она же Баба Дуня, как ее звали в коммунальной квартире, родилась в глубинной Рязанщине в 1860 году, в крестьянской семье, то есть до годовалого возраста в записях числилась как крепостная помещиков Лесковых. В вольнокрестьянском сословии выросла, вышла замуж за беспокойного Збайковичева Василия, что слыл «пьющим, драчливым и до чужбинки охочим», и прижила с ним двенадцать чад, из коих зрелых лет достигли четверо.

К 1942 году из этих четверых только одна Аксинья оказалась опорой бабы-Дуниной старости в чуждом ее крестьянской душе мире, в переполненных эвакуацией Булгарах, большом трамвайном городе на Волге. Дочь Мария с семейством неизвестно как страдали в Донбассе, под игмом неприятеля. Младший сын Адриаша в профессорских чинах учительствовал в самой сердцевине Азии и там хотя бы не унижался голодом. Стар-

ший же Павлуша, грянув в прах с большевицкой верхотуры, уж пять лет как полностью не присутствовал, прими его под свой покров, Пресвятая Богородица.

В тот ужасный, темный, голодный и дьявольски морозный год, когда все уличные фонари были погашены, а окна плотно занавешены в ожидании авианалетов, старушка упала в свежееотрытую траншею и сломала себе шейку бедра. Дальнейшее – двухсторонняя пневмония и сердечная недостаточность. Два дня она умирала на главной кровати, где в обычное время спала труженица Аксинья со своими собственными двумя малыми внучатами. Все разношерстное семейство, включая и Павлушиных детей, шестнадцатилетнюю дочь и девятилетнего сына, сидело вокруг. Смерть Бабы Дуни открыла для них пучину горя и какую-то дотоле неведомую округу любви.

Прошел еще год войны. Вдруг показалось, что выжили. Вечно сосущее чувство голода стало отступать по мере проникновения в мизерные пайки кое-каких лендлизовских продуктов, в частности яичного порошка и сала лярд. Павлушиному сыну шел уже одиннадцатый год. Он увлекался Джеком Лондоном, а также выпусками боевика «Тайна профессора Бураго». О судьбе своих родителей, отца Павла и матери Евгении, он ничего не знал. Взрослые говорили ему, что те уехали в долгосрочную командировку на Дальний Север, то есть примкнули к общеизвестным «героям-полярникам». Он догадывался, что от него что-то утаивают, и потому старался не задавать взрослым вопросов о своих родителях. Детство шло в активных игрищах со сверстниками. Дома соединялись проходными дворами, и пацаны носились по таинственным углам грязного мира, а также по чердакам и крышам, то группируясь во враждующие

клики, то распадаясь на одиночек, когда приходила пора погружаться в книги или обмениваться треугольными марками государства Тува. Такая в общем шла обычная пацанская жизнь, и только иногда возникало что-то необъяснимое, то щемящее, жалкое, как у заброшенного щенка, то бессмысленно-дерзновенное, как у несущегося в неизвестном направлении бродячего пса. Такое случалось, например, при встречах с соседом по квартире, майором Околовичем. Будучи в полной форме, то есть в кителе и в фуражке с голубым верхом, этот одинокий квартирант проходил через пещерный коридор, ни с кем не здороваясь и вроде даже никого не замечая. Однако при выносе помойного ведра он выглядел не столь формально: галифе приспущены на подтяжках, бритый черепок умеренно пятнист, в свободной руке зажженная папироса, вторая, про запас, заложена за ухо. Заметив во дворе Павлушиного сына, он нередко провожал его немигающим взглядом.

Однажды, в один из своих читальных периодов, Павлушин сын остался один в семейной комнате. Он сидел на сундуке, прислонившись к еще теплой печке, наслаждался неожиданным одиночеством и читал книгу «Водители фрегатов», одолженную у одноклассника Нарцисса Антонова. Вдруг сильная мысль овладела мальчиком. Этот сундук, на котором сейчас сижу, должно быть, мало отличается от корабельного сундука капитана Кука или капитана Дюмон-Дюрвиля. Тетка не зря запрещает туда залезать, не исключено, что там кроется тайна. Там может быть тайна, связанная с родителями-полярниками. Пожалуй, лучше не открывать этого вместилища: тетка может быть огорчена, если откроется такое, чего ему не полагается знать. Соблазн, однако, был велик. Мальчик знал, где тетка прячет ключ от сун-

дука – под клеенкой в бывшей выгородке Бабы Дуни, где сейчас устроена крохотная кухня. Через несколько секунд он уже снимал замок.

Запах нафталина был так силен, что он даже отпрянул и не в первый момент увидел то, что лежало прямо под крышкой: большую чернобурку лису с серебром и с мордочкой, выделанной столь тщательно, что она казалась дополнительным украшением, а не частью тела истребленного зверя. Павлушин сын несколько минут не мог оторвать взгляда от лисы, а тем более взять ее в руки. Среди всеобщего убожества увидеть столь красивую и дорогую вещь было бы все равно, что найти вместо своих перекошенных и вечно «просящих каши» башмаков великолепные ботфорты виконта де Бражелона. И все-таки это была не совсем знакомая ему чернобурка. Вдруг выскочило дикое слово *конфискация*, выплыла из памяти дверь, запечатанная сургучом. Он поднял лису на вытянутых руках. Захотелось зарыться в нее носом. Сквозь нафталин он уловил дуновение другого запаха, если только миг сладостного счастья может пахнуть. Руки затряслись, лиса упала в сундук. Чтобы усмирить дрожь, он стал перебирать другое содержимое: старое пальто, плюшевую скатерть, статуэтку альпийского пастушка с козочкой; потом вытащил на свет божий потемневший от времени деревянный ларец с резной крышкой.

Этот ларец он видел однажды на коленях у Бабы Дуни. Она сидела в своем закутке и тихонько в нем копошилась. При виде мальчика закрыла крышку и поставила ларец на пол. Он тогда подумал, что старуха прячет в сокровенном хранилище свои крестики и иконки. Открыв ларец сейчас, он увидел лежавшие поверх всего толстые вязаные носки и варежки. Из одной варежки он

вытащил страницу школьной тетрадки, на которой синим карандашом было накарябано «для васьинке». И носки, и варежки были ему явно велики; значит, она связала их ему «на вырост», чтобы не замерзал в будущем.

Следующее открытие осветило и первое, то есть чернобурку. Перед ним лежала большая матовая фотография в паспарту из серого картона. До войны такие выставлялись в витрине главной городской фотомастерской, которую старые люди до сих пор называли «электровелографией Самсонова». На ней изображена была цветущая пара благополучных людей: чуть повыше Он, в зимнем кепи из каракуля и в пальто с таким же воротником, и Она, чуть пониже, в шляпке и с чернобуркой на плечах, той самой чернобуркой, что сейчас лежала рядом. И тут мальчик с пронзительной ясностью понял, что видит своих родителей, светлоглазого отца и темноглазую маму. Вот так же он видел их, когда они возвращались из Москвы и, не сняв верхней одежды, проходили в детскую. Он просыпался от звонка в дверях, от шума их шагов и веселых голосов. Потом вся детская заполнялась запахами духов, табака, отцовского автомобиля. Мама брала его на руки, и он неизменно зарывал свой нос в ее лису, стараясь все-таки не попасть в зубастую лисиную мордочку, между тем как отец сваливал в его кровать пакеты и коробки с шелковыми лентами – московские подарки. Прибегали старшие дети, дочь отца и сын матери, начинались прыжки и дикие танцы, все переносилось в большую комнату, где не было кроватей и где часто крутили патефон. Там были обе домработницы, няня Фима и тетя Агаша, шофер товарищ Мельников, соседка Фариды, а также весьма почтенная старушка в бархатном жакете, родительница председателя гор-

совета, которую тогда звали не Бабой Дуней, а Евдокией Власьевной. Мальчик сжимал в руках фотографию и, потрясенный, поднимал локти, словно пытался заслониться от вспышек памяти, от возникавших с удивительной ясностью имен и лиц из той его крохотной, тогда еще не засургученной, не *конфискованной*, а потом вроде бы стертой до основания жизни.

Вслед за фотографией явилась небольшая старинная дощечка с изображением юной девы в короне, державшей на руках младенца тоже в короне; он догадался, что это была бабкина икона, которой она шептала по ночам в переполненной спящими телами комнате: «Царица Небесная, Пресвятая Богородица, прости нас и ПОМИЛУЙ, спаси и защити!» Затем он вытащил пачку бумаг, вложенную в свернутую и уже основательно пожелтевшую газету. Это был праздничный выпуск «Красного Поволжья» за июль 1937 года; день Военно-морского флота СССР. Первую полосу украшал большой снимок флагмана, линкора «Марат» с его 16-дюймовыми орудиями; обычно он наслаждался изображениями кораблей, теперь сей водяной чертог его перепугал. Он перевернул газету и на четвертой полосе, среди второстепенных сообщений, в небольшой заметке вдруг увидел собственную фамилию. Лишь несколько секунд спустя он сообразил, что речь идет не о нем, а о его отце. «В Доме культуры им. Менжинского завершился судебный процесс по делу группы предателей родины, окопавшейся в горсовете... Главарь преступной банды... Збайковичев... приговорен к смертной казни... Приговор окончательный, обжалованию не подлежит...» Ну, вот и все, они предатели, их больше нет, теперь осталось лишь влезть в сундук и закрыться крышкой. Тут он увидел, что у него на ла-

дони лежит маленький деревянный кубик. Он хотел было отшвырнуть этот кубик – что еще может сообщить какой-то кубик после того, что он узнал, что разрушило детские сказки о «героях-полярниках»? – однако любопытство возобладало над отчаянием. В голове почему-то закрутилось слово «карат». Он не очень-то отчетливо представлял себе, что такое «карат», хотя и знал, что это относится к драгоценностям. Может быть, бабка в этом кубике какой-нибудь карат спасла от *конфискации*, от засургучивания?

Открыв крышечку кубика, он увидел внутри не «карат», а глаз. Довольно крупное, в прекрасной сохранности, белое яичко глаза с ярким голубым зрачком смотрело на него со слегка пожелтевшей ватной подушечки. Перехватило дыхание. В животе, как в капкане, задержалось существо желудка со всеми кишками. Подкосились ноги, и он упал сначала на колени, а потом ничком. Подбородок с диким стуком ударился об пол. Голова померкла. Во мраке, словно медуза в глубинах моря, дрожал и светился голубой глаз. Он приближался, увеличивался вплоть до того, что стали видны тончайшие красные ниточки. Закрыл весь обзор, а потом начал быстро удаляться, падать в темную пустоту, превращаться в еле видимую голубую звездочку. Погас.

С тех пор прошло еще тринадцать лет. В 1956 году за два месяца до Венгерского народного восстания мне исполнилось двадцать четыре года. Я редко вспоминал детство, а когда вспоминал, мне не верилось, что тот «казанский сирота» и я, стильный питерский парень, – это одно и то же существо. Скорее уж чувство некоего родства связывало меня с тем «Павлушиным сыном», родства и неизбежного наследничества,

но отнюдь не полная идентичность. Так странно это происходит по ходу жизни, когда реальные страхи переходят в зону снов.

Нужно ли говорить о том, что я был по уши в своих молодых делах, столь далеких от лет военной юдоли, да и вообще от родного города. Питер, в лице своей учащейся молодежи, живо откликнувшийся на послесталинское пробуждение, бурлил дискуссиями, стычками с «обскурантами» на выставках современной живописи, выходящими из подполья стильными танцами, чтениями в литобъединениях, и я со своими стихами, исполнявшимися под гитару в ритме блюза, был в центре этого бурления. Погода преобладала отепельная, влажная, кучевые облака шли в устье Невы скорее из Англии, чем из Коми. На Невском проспекте то и дело происходили удивительные, как бы случайные встречи, хотя в нашей компании Невский нередко называли Авеню Встреч. Там как раз я и познакомился с венгерской девушкой Гизеллой, то есть по-нашему Жизелью. Она только что окончила Будапештский университет и приехала в Союз как корреспондентка спортивной газеты. Мы разговаривали с ней на варварской смеси языков, а понимали друг друга в основном при помощи взглядов и прикосновений. После ее отъезда домой я стал замышлять побег в Европу. Можно было – разумеется, с риском угодить в тюрьму – пробраться на польский торговый корабль, достичь Гданьска, а потом с помощью польских ребят, недавно окончивших наш факультет, отправиться в Будапешт. Если бы план удался, я бы скорее всего угадал к самому началу восстания, то есть все равно угодил бы в тюрьму, ту или другую, или был бы подстрелен то ли шальной, то ли нацеленной пулей. Пока что я никаких боев не предполагал,

а только лишь грезил великолепной антисталинской революцией духа, в которую мы с Жизелью возьмемся как некие киногерои поколения.

Однажды, ближе уже к осени, пришла телеграмма от тети Ксении: «Срочно приезжай. Ожидаются важные события». Признаться, мне вовсе не светило остаток лета провести на периферии в ожидании важных событий. Уже не раз тетка меня вызывала подобными телеграммами, я не приезжал, маялся муками совести, события же не происходили, и муки совести рассеивались. Речь шла всякий раз о возможности приезда отца. Тетка не верила, что его нет в живых. За все эти бесконечные годы от него не было ни единой весточки, однако временами доходили какие-то странные слухи, что его видели в лагерях то ли вблизи Сыктывкара, то ли на Таймыре, то ли в Казахстане. Полгода назад тетка решила сделать запрос в краевой прокуратуре, ответа, однако, до сих пор не было.

Мама моя уцелела в лагерях благодаря своей медицинской профессии. Она никогда не исчезала, постоянно присылала мне с Колымы короткие письма, а когда я поступил в Горный институт, оттуда стали приходиться ежемесячные денежные переводы. Однажды, еще при жизни Сталина, я умудрился на летнюю практику оказаться на Севере Якутии, всего лишь в трехстах километрах от поселка, где в ссылке жила мама. Тогда мы и встретились после пятнадцатилетней разлуки. У нее была другая семья. Вдвоем с мужем, тоже бывшим заключенным, горным инженером, они воспитывали его маленькую дочь, отправленную после смерти ее заключенной матери в лагерный детприемник. О моем отце мама ничего не знала, хотя и до нее иногда доходили слухи, что он жив. Кто-то в лагерях опровер-

гал сообщение о «высшей мере», кто-то говорил, что «вышка» была заменена пятнадцатью годами, а третий тут же добавлял, что «без права переписки». Увы, мой мальчик, говорила мама, поглаживая меня по волосам, словно маленького, ты же знаешь, что «без права переписки» – это эвфемизм для убийства. Я не знал: так же как и слово «эвфемизм» – это было для меня открытием.

В этот раз я решил увидеться с теткой, и вот я у нее. За те несколько лет, что я ее не видел, она вроде бы не постарела, только челочка засеребрилась. Увидев меня, расцвела васильковой, «збайковичевской» улыбкой. Конечно, подтащила к дверному косяку, чтобы показать зарубки роста. Ну и вымахал ты, Васок! Я давно заметил, что ей все время хочется прикоснуться ко мне, потрепать, скажем, вихор, но по каким-то, видимо, важным для нее причинам она сдерживалась. Сейчас я наклонился и боднул ее в плечо. Боже, она чуть не расплакалась, эта моя вторая мама! Впрочем, тут же поджала свои узенькие губки и перешла к делу, то есть к причине столь экстренного телеграфного вызова. Времена меняются, Васок, многие возвращаются из мест заключения. Некоторых, говорят, даже ре-алиби-тируют. А мы ничего не знаем о Павлуше. На мое письмо они не отвечают. Я думаю, что теперь, как ты уже окончивши институт, ты должен сам туда зайти. Вот именно прямо туда, где он и канул, на «Бурый овраг». Она сжала губы. Во всем облике ее проявилось упорство. Именно с этим выражением бесконечного упорства в сорок втором году она каждое утро отправлялась на базар Скворцы и стояла там часами в любую погоду с вещами эвакуированных ленинградцев. С каждой продажи она получала десять процентов денег и покупала для нас то кирпич хлеба, то сумоч-

ку картошки, то вязку лука. А мы, дети, сидели на подоконнике и ждали, когда она появится. Уже по тому, как она передвигала свои опухшие ноги, мы понимали, будем ли ужинать.

«Бурым оврагом» в нашем городе называли штаб-квартиру местного НКВД, поскольку размещалась она на краю городского оврага. Длинное, в целый квартал, трехэтажное здание с кокетливыми канителями по фасаду, по слухам, имело еще шесть этажей подвалов с камерами для подследственных. На дне этого оврага был городской каток, где в военные зимы бесчинствовала шпана с железными палками, а после войны под сладкий голосок Зои Рождественской кружили румяные барышни. Вспомнив эту топографию, я представил, откуда можно было бы повести отряд молодежи на штурм гадского гнезда.

– Ну, конечно, тетка. Обязательно схожу в это... учреждение. Прямо завтра туда и отправлюсь, запишусь на прием к какому-нибудь... тузу. Заодно и посмотрю... как там все расположено.

Тут она снова воссияла збайковичевской голубизною.

– Вот и умник! Вот какой ты умник, Васок! Я бы и сама туда пошла, но кто ж будет со мной разговаривать, – говорила тетка. – Отфутболят куда-нибудь в нижние инстанции, в лучшем случае. А вот от тебя-то им не получится отмахнуться. Тем более что ты стал такой известной персоной.

– Это еще что, тетка? О чем ты говоришь? Какой еще такой известной персоной? Кто меня знает, кроме нескольких сотен бродяг в Ленинграде? Ну, может быть, пары тысяч.

– Тебя весь комсомол знает, – с важностью возразила она и вынула из фартука свернутую газету.

Это была «Юность Поволжья», на третьей ее странице действительно фигурировала моя фо-

тография «шесть на восемь», с гитарой на сцене институтского клуба. Текст гласил: «С большим успехом проходят в Ленинграде спектакли комсомольского коллектива Горного института «Капустник Горного». На снимке студент-выпускник В. Збайковичев исполняет песни собственного сочинения».

– Мне соседи эту газету принесли, – сказала тетка, – а ведь небось и в «Буром овраге» есть читатели.

Я взглянул еще раз на довольно мутное фото подозрительной личности с ивмонтановской «стрижкой каторжника» и представил себе, с каким восторгом сотрудники овражного учреждения встретят новоиспеченную знаменитость.

Вечером все семейство собралось вокруг стола с целой грудой пышущих жаром пирожков. В процессе их поглощения полагалось громко восхвалять предмет поглощения и их автора. Жить стало все-таки лучше даже в волжских провинциях. Еще недавно муку «выкидывали» только к праздникам, и за ней выстраивались вековые российские очереди с номерами чернильным карандашом между большим и указательным пальцами. С жильем, однако, прогресса не было. Все они, тетка и дочь ее, которую я тоже звал тетей, тетей Тилей, и дети дочери, что, будучи моими племянниками, по возрасту больше подходили мне в кузены, и их отец дядя Гена, и его сестра тетя Ната, которая из-за развода лишилась местожительства, – все они жили в той же одной комнате, в которой прошло и мое детство.

Были, впрочем, и некоторые новшества: например, маленький холодильник «Север», телевизор с линзой и – о, чудо! – настоящий телефон, появившийся тут благодаря тому, что дядя

Гена выдвинулся в замзавы своего строительного треста.

Ближе к полуночи, когда литровый графин на стойки был уже пуст, стали раскладываться на ночлег. Мне принесли подругу юности, раскладушку Шахерезаду. На ней я провел не менее тысячи ночей до того, как отправился в город на Неве. Будучи в раскладе, она на половину своей длины уходила под обеденный стол. Тетка без конца мне говорила, чтобы я укладывался головой наружу, но я предпочитал обратную позицию: все-таки своего рода личная спальня. Привычка спать под столом так укоренилась, что я, попадая в какую-нибудь незнакомую квартиру, машинально оценивал обеденный стол на предмет ночевки.

В ту ночь под столом мне пришла безумная для комсомольца идея. А почему бы не позвонить сейчас в Будапешт, не проверить нашу «оттепель» на вшивость? Я стащил дяди-Генин номенклатурный аппарат с тумбочки на пол и, подделываясь под какой-то иностранный акцент, заказал столицу братского государства. После этого накрыл аппарат подушкой и стая ждать. Не прошло и десяти минут, как послышалась нежная трель. В контраст с ней прозвучал грубый голос нашей болгарской телефонистки: «Будапешт заказывали? Говорите!» Боги, боги мадьярские, мордвинские и чувашские! На проводе была моя несравненная, чуть-чуть хриповатая Жизель! Ах, Васко, говорила она, у нас тут все бурлит. По всему городу митинги, стачки, демонстрации. Как мне тебя тут не хватает, Васко мой! Жизель моя, отвечал я. Жё тю эм! Их либе дих. Ай лав ю! Люблю! Обе «ю» долго еще гудели над пространствами Европы после того, как разговор прервался. С ними я и уснул.

Рассвет уже сквозил через тюлевые шторы, но все еще спали, когда я мощным дельфиньим движением выбросился из провисшей Шахерезады. Стукнулся макушкой о нижние доски стола. Что пробудило меня от сладких снов в такую рань? Кто-то стучал в дверь или кто-то наступал в «Бурый овраг»? Стук повторился уже наяву. Тетка, кряхтя, сползла с кровати, прошлепала по паркету.

– Кто там в такую рань?

Мужской голос прозвучал из коридора:

– Збайковичевы, Котелковские тут проживают?

Отлетела задвижка, скрипнула дверь, жуткий вопль тетки потряс дряхлое жилье. Как был, в трусах и в майке баскетбольной команды «Горняк», я побежал к дверям и увидел, что тетка трясется в объятиях какого-то человека, что ноги ее не держат и она вот-вот сыграет на пол.

– Сестра, сестра, ну-ка, возьми себя в руки, – бормотал человек. Он еще не переступил порога, и в полутьме коридора блестели его очки. Вдруг он и сам завопил: – Родная моя! – и сам весь затрясся.

Утробный вой тетки перешел, слава богу, в словесные рыдания:

– Павлушка, Павлушка, ужельча это ты?!

Еще в детстве я заметил, что в моменты волнений она переходила от городского говора к родной деревенщине.

– Васок! – закричала она, не видя, что я стою прямо за ее спиной. – Отца твой приехал!

Приезжий переступил порог. На голове у него была бесформенная меховушка. Одет он был в стеганый азиатский халат, подпоясанный солдатским ремнем. Обут в галоши. Вместе с ним вступил в комнату кубометр ошеломляющего за-

пах. Полуседая щетина покрывала нижнюю часть его мокрого от слез лица. За стеклом очков невыносимой голубизной сиял его правый глаз, а левый был сморщен, как будто от ослепляющего света. Тетка теперь свисала с его левого плеча, она все еще была в полуневменяемой дрожи. Теперь настала и моя очередь трястись. Вдруг я осознал невероятность этого дня, этого возвращения из ада. Я не мог произнести слова «Отец» и не мог утихомирить своих конечностей.

– А это кто ж такой передо мной стоит, толико высоченный? – спросил приезжий.

– Дык сын твой рódный, Васок перед тобою! – все пуще и пуще рыдала тетка.

– Ужельча правда?! – разрыдался и он.

Тут мы трое, главные участники события, заметили, что все члены семьи уже стоят вокруг нас в своих ночных одеяниях: и тетя Тиля, и дядя Гена, и юная Полька, и подростковый Колик, и тетя Ната, и кот Махно, хвост трубой. В большей или меньшей степени тряслись все присутствующие.

Приезжий отец, очевидно, не всех еще ясно фокусировал. Он тянул свои руки ко мне.

– Каков разбойник, – бормотал он. – Вот разбойник каковский!

Наконец мы обнялись. Он весь пропах потом, уриной, рыбьим жиром, угольной пылью и множеством других нечистых, нечитаемых запахов.

– Что ж вы, дядя Павлуша, телеграмму не прислали? – вдруг светским тоном спросила тетя Тиля. – Мы бы вас встретили на вокзале.

– Телеграмму?! – вздрогнул отец. Он посмотрел на потолок, как будто телеграмма свисала с люстры. Впоследствии выяснилось, что это слово полностью выпало из его лексикона уже много лет назад. Оказалось, что он много дней уже до-

бирается из глубин Красноярского края, сначала пешком, потом на лошадях, на попугных машинах, на множестве поездов, товарных и «пятьсот-веселых» и вот наконец добрался до Булгар, выпростался из плацкартного и просто пошел со своим мешком по смутно знакомым улицам города, где был когда-то красным головою и где чуть голову свою не утратил.

Мешок этот достоин отдельного описания. Он был ростом в две трети отца и скроен частично из брезентов, частично из шкур. Сверху завязывался обрывком кабеля. Среди его более-менее обычного содержимого – рукавиц, одеяла, фуфайки, пары растоптанных до полного уродства унт, потемневшей оловянной посуды с остатками пищи – были предметы довольно неожиданные, в частности топор, пила, вязанка дров, ведерко угля, бутылъ с керосином.

– А это добро-то тебе зачем? – с болезненной жалостью вопрошала тетка. – Пошто тебе растопка-то?

– А как же без этого?! – воскликнул он, потом осветился какой-то темной нечитаемой ухмылкой, потом стал суетливо завязывать мешок, заталкивать его ногами куда-то в угол, потом уронил голову в ладони и несколько минут сидел не шевелясь.

Позднее, придя в себя, он поведал о своих главных этапах. После приговора он провел чуть ли не месяц в смертной камере «Бурого оврага», где по ночам ему казалось, что казнь уже совершилась и он пребывает вне земных пределов. Потом его отконвоировали наверх, зачитали указ о замене высшей меры на пятнадцать лет лагерей и пять лет ссылки без права переписки и немедленно отправили в шахты на Воркуту. Там, в едва ли не крошечной тьме, он быстро скапутился в доходягу и

чуть ли не все позабыл, что когда-нибудь с ним было в жизни, за исключением нескольких лет деревенского детства. Вдруг однажды во время какой-то переписи его опознал однополчанин, с которым вместе штурмовали Перекоп. Товарищ этот и в лагере не пропал, придуривался по финансовой части. Он спас отцу жизнь, устроив к себе счетоводом. С тех пор в течение двенадцати лет каждое утро отец приходил в свой закуток, щелкал счетами и крутил арифмометр. Когда основной срок кончился, его погнали из Воркуты в Красноярский край и выбросили в тайгу. Вот там он чуть не загнулся. Чудо снова спасло его, когда, издыхая от голода, он вышел к костру, вокруг которого кучковались такие же, как он, «робинзоны». Кабы не все эти чудеса, не сидел бы я сейчас среди вас, родные мои, живой и чистый! И тут он поведал нам еще одну удивительную историю.

После оглашения приговора конвой повел его по коридору клуба им. Менжинского на посадку в «воронок». И вдруг эту процессию обогнала крохотная старушечка, не кто иная, как родная его матушка Евдокия Власьевна Збайковичева. Забывав вперед, она повернулась и осенила его крестным знаменем.

– Не бойсь, Павлушка, ничего не бойсь! – вскричала она прежде неведомым мощным голосом. – Без Божьей воли ни один волосок не упадет с головы человеческой!

С тех пор в минуты крайнего отчаяния возникала перед ним, марксистом-ленинцем, фигура матушки с перстом над головою.

В лагере, зная прекрасно смысл приговора «без права переписки», он поставил себе правилом навсегда забыть о почте. Вдруг позабудут о нем, куда-нибудь в другое место дело переложат. В лагерной системе все-таки царила халтура, че-

кисты чувствовали себя здесь скорее крепостниками, чем палачами революции. Давайте, друзья, выпьем за нашу родную халтуру, она все-таки спасла много человеческих жизней!

Он поднял стакан с водкой. Правый глаз его сиял, левый отсвечивал стеклышком. Голова моя шла кругом, то ли от водки, то ли от невероятности этого застолья.

– Bravo, старик! – вскричал я. – Нет-нет, ты все не старик, так мы друг друга называем в Питере. Обещаю тебе, отец, выйти с твоим лозунгом на Октябрьскую демонстрацию!

Ночью я проснулся, не очень отчетливо понимая, где нахожусь, да и вообще, очнулся ли или грежу. При свете ночника на тумбочке, прямо напротив моего изголовья, в воде или какой-то другой прозрачной жидкости, на дне тонкостенного стакана переливалось то самое яичко глаза с голубым зрачком из моего детского кошмара. Уже много лет этот сон не возвращался, и вот теперь сердце забухало по всему телу, как это случалось в детстве.

– Васок, ты тоже не спишь? – услышал я голос отца. – Пойдем прогуляемся? – Он сел на диване, взял с тумбочки стакан, двумя пальцами извлек глаз и весьма ловким движением вправил его в левую глазницу.

Ночная улица была пуста, только за парком медленно вез свои огни в сторону пристани четвертый номер трамвая да возле газетного стенда маячила какая-то долговязая фигура в майке, сползающей с худого плеча. Мы пошли по улице Энгельса к ее пересечению с Ворошиловской.

– Освещение как было говенное, так и осталось, – весело заметил отец.

– Расскажи мне про глаз, – попросил я.

Он тут же рассказал:

– Дело нехитрое. Я потерял левый, когда наша Пензенская форсировала Сиваш. Двенадцать лет спустя твоя мама купила мне два великолепных протеза у старорежимного офтальмолога Бергштольца. «Чтобы ты чувствовал себя полноценным красавцем социализма» – так сказала она. После первого же удара в лицо там, на «Буром овраге», протез вылетел и покатился по паркету. Лежа на полу, я видел, как хромовый сапог раздавил глаз. Все присутствовавшие товарищи истерически хохотали. Что касается запасного, то это бабушка твоя спасла его при конфискации нашего имущества. Сестра берегла его все эти годы, смешно сказать, но именно как зеницу ока... Послушай, кто это все время тащится вслед за нами?

– Это тот самый хромовый сапог, – сказал я и повернулся к приближающемуся Околовичу.

– Прошу прощения, – проскрипел тот. – Вышли спички. Нет ли огоньку?

Я зажег свой большой огонь в зажигалке «Зиппо» и поднес ее к его лицу.

– Узнаёшь, отец? – Дрожащее, но негасимое пламя осветило бессмысленное лицо с набором морщин, вполне годным для сапога. Оно чмокало от предвкушения затяжки, но всякий раз, когда папироса приближалась к огню, я поднимал его вверх или отводил в сторону. – Узнаёшь?

Отец молчал. Я захлопнул «Зиппо». Тогда он чиркнул спичкой и протянул. Мы пошли прочь от гада.

– Если кто-то просит спичку, а у тебя они есть, нельзя отказать, – сказал отец.

Теперь молчал я.

– Знаешь, если бы глаз не вернулся, я, быть может, узнал бы этого, но теперь, когда и сын, и глаз, и все остальные со мною, я так счастлив, что до тех мне просто никакого дела нет, понимаешь?

– Ах, отец! – с досадой воскликнул я. – Много ли счастья прибавляет незрячий глаз?!

Он вдруг обнял меня за плечи. Впервые я это испытал, если не считать детских ласк – объятие отца.

– Знаешь, Васок, иногда мне кажется, что этот незрячий глаз давал мне какое-то удивительное зрение, – проговорил он с некоторой дрожью в голосе. – В те давние времена, когда мы все были вместе, мне казалось, что он помогает мне видеть будущее, а сейчас этот неотличимый дубликат будто бы освещает давно забытое, давленное мною самим прошлое. – Он замолчал, закашлялся, заплакал, а потом продолжил сквозь слезы: – Иногда освещает даже неведомое прошлое. Вот, например, я вижу десятилетнего мальчика, стоящего над раскрытым сундуком и смотрящего мне прямо в глаз.

Через три месяца на Октябрьской демонстрации в Питере вместо шутки о «нашей родной халтуре» мы с кучкой друзей подняли другой лозунг: «Руки прочь от Венгрии!» Тут же, на Дворцовой площади, мы были арестованы. Суд, короткий и ухмыльчивый, распределил сроки, от трех до семи лет. Я получил семь и отгрубил их в Потьме от звонка до звонка.

Прошло еще сорок с чем-то лет. Окончательно рухнул социализм. Моложавый старик, рассказавший эту историю, до сих пор играет на рояле в московском клубе «Лорд Байрон» и поет песенки на английском языке. Нельзя не отметить, что он пользуется льготами как жертва политических репрессий, и в частности бесплатным проездом на общественном транспорте.

# НЕПРЕРЫВНАЯ ЛИНИЯ

# ПАМЯТИ КРАСАУСКАСА

Вот времена десятилетней давности. Маленький самолет с кожаными сиденьями. Скажете, нет таких. Не знаю, мне именно таким он запомнился. Аэро, кресел на десять-двенадцать, похожее на лимузин двадцатых годов: красное дерево, плюш, бронза и кожаные кресла, изрядно потертые, слегка потрескавшиеся. Он летел тихо, поскрипывал, стюард играл на скрипке. Отличная машина, дивный мотор, свечам сорок лет – и никакого нагара. Говорят, что иные самолеты просто поражают специалистов своей долговечностью.

Ты приземляешься в Паланге и идешь через аэродромное поле к зданию аэростанции. Тогда оно было не таким, как сейчас, отнюдь не напоминало вокзал, скорее приморскую виллу, а полосатый чулок на крыше, вечно надутый балтийским ветром, как бы приглашал отдохнуть с приключенческой книгой в левой руке и со стаканом бренди в правой.

В буфетной комнате, обшитой панелями мореного дуба, в мирном сумраке, свойственном таким хорошо продуманным буфетным, ты сразу же видишь огромную фигуру Красаускаса. В белом фланелевом костюме, с лицом, обоженным всеми сезонами Балтики, он стоит, облокотившись на бар, и беседует с буфетчиком Альфонсасом, обезьяняя физиономия которого, обрамленная пушистыми рыжими бакенбардами, освещена, как всегда, прителевски-рассеянной улыбкой.

– Я часто вспоминаю сороковые годы, Стасис, – медленно говорит Альфонсас, а руки его, не торопясь, но быстро, поворачивают краники кофейной машины, протирают стаканы с тяжелым дном, серебряным черпаком достают кусочки льда, разливают влагу из разнообразных бутылок, кладут на тарелку добротные сэндвичи, чиркают зажигалкой. – Вначале массовые убийства и насилия, однако даже и среди всей той гари были ясные дни, правда? Конец декады – наша юность, а? Помнишь эти фокстроты – «Розамунда», «Мэри душой была»? Тот стиль навсегда в нас остался, тебе не кажется?

Красаускас курит большую сигару, поводит плечищами, длинный и мощный мускул спины, словно тюлень, потягивается под белой фланелью.

– А помнишь, Альфа, университетские соревнования? – спрашивает он буфетчика. – Кажется, сорок девятый. Мы были с тобой соперниками в decatлоне. Ты отличился тогда в барьерном беге, рыжий.

– Ха-ха, – улыбается Альфонсас. – Я помню, как ты метал копьё. На третьей попытке... ха-ха...

– В самом деле, оно улетело куда-то, – притворно смущается Красаускас. – Стадиончик был маленький, и я не рассчитал.

– Где оно сейчас, твое копые, Стасис? – вздыхает Альфонсас.

– Вон оно, – улыбается Красаускас и показывает сигарой в круглое окно под потолком буфетной.

За окном в голубизне, прошивая мелкие клочковатые тучки, кружевную рвань, торжественно серебрясь, проплывает его мирное копые. Воин мира.

Наконец ты замечен.

– Смотри, кто к нам приехал! Привет! Привет! – Буфетчик вытирает руки и протягивает правую для рукопожатия.

Красаускас поворачивается к тебе. Гулкий смех еще более удлиняет его лошадиное лицо. Он обхватывает тебя за плечи, сжимает.

– Меня послали тебя встречать, а я заболтался с Альфой. Пропустил самолет, вот свинство!

Возле аэростанции под соснами вас ждет открытый желтый автомобиль с двумя красными креслами, должно быть, одного поколения с упомянутым уже самолетом. Пружины и рессоры скрипят под вами. Мотор исправно тарахтит. Мимо плывет Литва.

– Здесь все друзья сейчас собрались, – рассказывает по дороге Красаускас. – Ванька, Валька, Вовка, Мишка, Гришка, Вольф, Рольф, Ядек, Мадек, Альгис, Костас, Юстас, Витас, Ромас, Титас... – В ушах довольно долго еще посвистывают окончания литовских имен, пока он не прерывает список, всех не перечислишь. – Собрались повеселиться. Молодость переходит в старость.

– До старости, может быть, еще не так близко, – возражаешь ты.

– В любом направлении одна дорога. Молодость перетекает в старость, но кажется, что есть и обратный путь. Этот праздник можно играть

всегда. Все связано друг с другом, самая высокая птица соединяется с самой глубокой рыбой. Мне кажется иногда, что весь мир можно очертить одной линией, не отрывая резца, – так он говорит.

Вечером все общество собралось на пляже. Был солнечный шторм. В сверкающих валах то появлялись, то исчезали огромные плечи Красаускаса.

Яркий, хотя и красноватый уже свет склоняющегося к горизонту солнца, все очень отчетливо. Меж семи разновысоких дюн возятся собравшиеся на пляже друзья, кто в плавках, кто в свитерах, кто и в пиджачных парах. Все собрались здесь праздновать переход молодости в старость, хотя со стороны и не догадаешься о характере торжества: кто-то играет на флейте, кто-то кадрит близлежащих дам, кто-то ходит колесом, а кто-то застыл в сирхасане, все между делом едят и употребляют напитки. Гаудеамус игитур, ювенес дум сумус. Перекатываются с дюны на дюну бочонки жемайтийского пива. Пыхтит самовар, закопанный в песок под самый животик. Мохнатенький старичок в конфедератке Костюшко бродит с лотком между дюнами, предлагает товар: прошу, паньство, хрусткие вафли, горячие цеппелины, а це есть добжа ковбаска, прошу, дзенькуе. Неподалеку в арендованной палатке спортобщества «Буревестник» хлопочет над плитой разбитая старуха. Это те самые, что поймали золотую рыбку, но не были слишком жадны.

Наконец все уселись, облепили самую высокую дюну – наблюдать выход из моря Красаускаса. Он скатывался с высокой волны, вытянув руки вперед и опустив лицо в воду. Следующая волна накрывала его, и он исчезал надолго, а потом на очередном гребне появлялась его голова, и вся тяжеленная бабочка вымахивала для того,

чтобы снова, вытянув руки вперед, заскользить по изумрудному скату. Наконец на мелководье он встал и пошел к нам, возвышаясь с каждым шагом. Балтийский Ахилл.

– Загробного мира нет, ребята, – сказал он уже на берегу. – Только что в нейтральных водах со мной произошел курьез. Я немного не рассчитал направление волны – вы знаете, на Балтике, когда она бесится, нет размеренного наката, это вам не Пасифик, – короче, волна меня оглушила, и я пронырнул через то, чего нет. Клянусь, я не слышал ни пения ангелов, ни завывания чертей. Все, что придумано про это, – детский лепет. Там как-то иначе. Я не успел сообразить и вынырнул,

– А что у тебя в правой руке, Стасис? – спросил кто-то.

Красаускас недоуменно опустил глаза и посмотрел на тонкую, длиною в фут, гибкую палочку у себя в кулаке. Он повертел ее, затем просиял:

– Это, должно быть, для рисования гравюр по мокрому плоскому песку перед собранием друзей в закатный час на балтийском пляже.

Браво! Начинается длинная линия, бесконечная линия графики, одно переходит в другое: женское бедро – в мужское, длань прикасается к дереву и прорастает пучком цветов, но тут же одним цветом оборачивается кругленькой душкой-совой, а змей-искуситель, будто профессор социологии, присутствует всюду, гибко струится, делясь избытком морали, но тут же и перекатываясь в добродушных животных Литвы – республики, славной своими копчениями. Далее – соприкосновение плоти продолжается, перехлест рук, дивные всплески глаз, как брызги, летающие с весел Тракая, фейерверки воссоединения с ровно дышащей всеми горизонтами и величаво вздымающейся метрополией;

взлетающие, но не отрывающиеся от поверхности фейерверки опадают, превращаясь в человеческих эмбрионов, крутящих сальто акробатов, и женщина, раскинувшаяся, как Европа, дыша холмами и туманами и заливаясь влагою внутренних морей, занята ростом всеобщего могущества, и мужчина, отдавший ей некогда, давненько уже, свое ребро и претендующий теперь на все ее ребра, тем не менее как рыцарь, как скала зиждется над Мировым океаном, прикрывая от нескромных неодушевленных глаз ее срам, а далее следует и срам, очерченный как бы готикой, как бы зубцами кардиограммы и переходящий плавными подъемами торжества в апофеоз, в котором уже трое вместо двоих, взявшись за руки, шествуют среди цветущего сельскохозяйственного сектора; завершающие бурю повороты таинственного резца, мелкая зыбь – глаза и шерсть, и конечности, и железы животных, почки, отростки, цветы и плоды растений, тонкий, но плодородный слой, почва родины, поколение, достигшее цели – «био».

Вот так перед друзьями на мокром красноватом песке лег щедрый шедевр. Ко всем щедротам прибавлялась еще одна, быть может главнейшая – художник-то знал, что вскоре все будет испохаблено, смыто и слизано нарастающим штормом. Пока что перед всеми был сияющий момент, и сам Красаускас, только что юливший по песку, словно тяжеловес дзюдо в поисках противника, теперь сиял спокойной щедростью. И все друзья, сидящие на дюне, сияли, наивно опять уверовав в силу своих собственных творческих гормонов, сияли старик со старухой, видя в шедевре дальнейшие возможности для процветания, сиял весь пляж Паланги, свидетель юношеских шалостей.

Так начался праздник тогдашнего возраста, и сколько он продолжался до своего конца, сказать трудно, потому что под прозрачными ночными небесами раннего лета сиял шедевр и превращал каждый момент и каждый час в нечто неопределенное. Известно лишь, что праздник был оборван дождем среди ясного неба. Без всяких предупреждений, без громов и без молний сразу пошел и установился надолго, если не навсегда, сильный и гнусный, настойчивый дождь прозябания. Праздник кончился, друзья скукожились на пляже, словно шайка неудачливых мародеров. Дождь не оставлял никаких надежд – он как бы говорил: только так, только так, и никогда, нигде, никому не может быть иначе. Немедленно выяснилось, что все размывается. Как ни философствуй, Стасис, и сколько ни сливайся с вечно юной природой, приходит время бесконечного дождя и все размывается в леденящей скуке. Все бутылки вдруг опустели, костер погас, разбухли вафли, старик со старухой обернулись замшелыми пнями, закатный шедевр на песке потускнел и превратился в приличное произведение искусства.

От семи до одиннадцати снабжение иллюзиями взрослого населения прекращается. Столики все зарезервированы для иностранных делегаций. Измученные и обозленные друзья тащились с пляжа на пляж, из поселка в поселок. Шины проколоты, а деньги растворились, как мыльная пленка. Переучет, перебор, перехлест, перегиб, недодар, недолет, недожар, препакость, премерзость, плесень, плюгавость, плешь. Взять хоть собственный карман, в нем порой бывает слякоть, размокшие сигареты, всякие крошки, катышки. Вот эта пора и пришла. Да куда же звонить-то, Стас, если и звонить-то некуда, а единств-

венная «двушка», которую нашли, погнута и в щель не лезет? Послушай, говорил Красаускас, обращаясь ко всем друзьям в единственном числе, послушай, в конце концов мы куда-нибудь дозвонимся, мы что-нибудь найдем. Послушай, почему бы нам не дозвониться нашему учителю? Что бы ни говорили о нем, но он отличный парень, просто отличный, я в самом деле глубоко убежден, что он отличнейший парень.

Друзья удалились от моря, все глубже в дождь, все ближе к утру. Никто уже не звонил никуда, никто не разделял надежд Красаускаса. Он сам, однако, спокойно шел впереди и не оборачивался: прямой, обтянутый мокрым шерстяным пальто, твердая шляпа чуть набекрень. Иногда из-за его плеча, словно дымок, поднимались итальянские звуки: он пел что-то из «Трубадура». Компания брела вразнобой: на скользких булыжниках подламывались каблуки, на мокрых плитах разъезжались ноги, выбоины в асфальте сулили неизлечимые насморки, вывихи и переломы; Красаускас шел прямо.

Так в результате все эти Вовки, Вальки, Ваньки, Мишки, Гришки, Вольфы и Рольфы, Мацеки и Яцеки, Ромасы, Юстасы, Альгисы, Костасы, Титасы, все друзья оказались на обширной, выгнутой бугром площади, в середине которой мощно бил в дождливое небо торжественный в своей нелепости фонтан. По краям площади, за ее скатами там и сям темнели контуры домов с куполами барокко, с готическими зубцами, с конструктивистскими гранями. Вся эта линия, отделявшая темное небо от более темной почвы, могла бы вызвать подозрение в колдовстве, если бы не светящиеся внутри объемы, если бы не кишела внутри реальная жизнь. Все это были рестораны, кафе, варьете, творческие клубы, разные там «Лиры» и «Музы».

Ну, вот здесь-то мы наконец спасемся от проклятого дождя? Гляньте, ребята, Стаська улыбается: это его линия, он режет ее теперь даже по мокрому волоку между десятилетиями. В прежние времена у него были ключи от любого дома, он мог вдохнуть жизнь в любой заплесневелый склад, не открывавшийся веками. Помню, однажды мы заехали на мотоциклах во двор склада затоваренной акварели и даже там устроили жизнь... Помнишь?.. Все помнят... Ну а уж здесь-то найдется для нас место у огня, здесь-то, надеюсь, не побрезгают мокрыми, ведь мы же быстро просохнем... Да вот смотрите – и учитель наш стоит в дверях «Пегаса», он держит здесь стол, он нас ждет, он просто отличный парень. Стаська, ты прав!

Тот, кто принят был за учителя, оказался швейцаром. Ему было лет под сто, но он все еще жаждал всего, хотя и не по возрастающей, а по угасающей: власти он жаждал, или хотя бы славы, или хотя бы приличного обеспечения. Он все еще ждал своего гостя, на мокрую же свору учеников взирал презрительно, не узнавая. Местов нету. Он был плоским, и несколько раз кто-то снимал его за уголок, как пленку со стекла входной двери, и он пропадал, но тут же снова возникал в глубине «Пегаса», в объеме, чтобы подойти с лозунгом своей жизни на устах – Местов Нету.

Вот так, Стас, ты видишь, двери для нас закрыты, учителя мы не найдем, нас встретит швейцар. Ты режешь свою линию, и тебе кажется, что в ее непрерывности фигурирует надежда, но едва ты наносишь ее на цинк этих небес, как тут же возникает третье измерение, а значит, изъян, порок, обрыв линии. Не согласен?

В разных квадратах площади под непрерывным дождем стояли жалкие фигурки друзей. Ни-

кто уже не был в силах двинуться. Красаускас снял шляпу и пошел по краю площади вдоль горизонта, стирая шляпой с мутного свода кабацкие миражи.

Если бы можно было самому проникать в объем, резать в глубину, глухо говорил он. Если бы я бы мог бы, я бы всем бы вам бы дал бы приют бы, покой бы и волю б.

Вдруг он остановился перед покосившимся и пустым двухэтажным особняком с разъехавшимися рамами, с облупленными кариатидами, с продавленной крышей и вывеской УПРРУЧ-ХОМИЗГРЕАЗ. Зашвырнув туда внутрь пальто и шляпу своего склона и оставшись в сверкающем белом костюме своего зенита, Красаускас мощным жестом обвел особняк и выровнял ему бока. Не отрывая руки, он излечил от волчанки кариатиды, вставил стекла и настлал крышу. Тогда внутри зажглись люстры. Тихо открылась парадная дверь. Красаускас поднял руку, как разыгрывающий в баскетболе, и быстро пошел по лестнице вверх и вглубь.

Дождь как будто кончился. Открылись большие небеса. Невесть откуда взявшаяся, кипела вокруг под теплым ветром листва Восточной Прибалтики.

# ЦПКО ИМ. ГИНЗБУРГА

Беллетристу бывает жаль растрачивать «жизненный материал» на мемуары. Как Брюсов когда-то сказал: «Сокровища, заложенные в чувстве, я берегу для творческих минут», так и все детали прошлых дней, оставшиеся в памяти, хороши для романа. Да и откуда еще взяться романическому чувству, если не из воспоминаний.

Бывают, однако, обстоятельства – чаще всего печальные, когда садишься записать что-то без вымысла, без всяких «сплавов», все как было, ибо метафорическое письмо в таких случаях неуместно.

Вот так и сейчас я собираюсь записать все, что помню, об одном июньском дне 1960 года. Точной даты нет, но, кажется, в середине месяца мне позвонил Илья Авербах, сотоварищ по Первому Ленинградскому мединституту. Мне было двадцать семь лет, а Илюше, который был на два курса младше, стало быть, двадцать пять. Я тогда ра-

ботал в Москве консультантом областного противотуберкулезного диспансера, что и сейчас вроде бы располагается в том же доме на Божедомке. Питерец Илья, очевидно, был в Москве наездом.

– Старик, – сказал он, – хорошо бы встретиться.

– Обязательно встретимся, старик! – возопил я. – Встретимся в ЦПКО, в чешском пивном баре! Там сейчас все встречаются!

Он хмыкнул – видимо, не ждал такого приподнятого ответа на предложение. Он явно еще не знал, что моя жизнь в то лето приближалась к удивительному повороту. Через несколько дней должен был выйти шестой номер журнала «Юность» с первой частью моего романа «Коллеги». Не знаю, испытывал ли я тогда полное счастье, но уж эйфория-то разыгралась, как сейчас говорят, в полный рост.

По дороге в ЦПКО я зашел в «Юность», и там редактор Мэри Озерова дала мне на вычитку плотную пачку верстки седьмого номера со второй частью. Ну вот обалдеет Илья, подумал я. Вот будет хохма!

В 1956 году на территории больницы Эрисмана, где располагались клиники и учебные здания института, мы больше говорили о литературе, чем о медицине. «Оттепель» каждый месяц преподносила сюрпризы. Вот разыгрался шквал с «Не хлебом единым», вот вышла «Литературная Москва» со стихами Ахматовой и Заболоцкого. В периодике мелькали имена Слуцкого, Яшина, Эренбурга, Пастернака, Хемингуэя. В Доме культуры промкооперации, так называемой «Промке», куда мы ходили в литературный кружок, был устроен вечер культуры Франции. На сцене открылось кафе символистов, в котором читали стихи Бодлера и Рэмбо.

Авербах из всех кружковцев был самым продвинутым. Он курил трубку и первым стал говорить друзьям «старик». От него расходились еще вчера глубоко запрятанные в семейные архивы старых питерцев издания Серебряного века, вплоть до «Мира искусства» и «Аполлона». Вот на этой почве мы с ним сошлись, хотя в кружке ко мне многие относились снисходительно, считая провинциалом из Казани. Каковым я, собственно говоря, и был, если не считать двухгодичной жизни в «столице колымского края».

Не помню, как назывался тот летний, под тентами, ресторан, ну, допустим, «Злата Прага». Он остался в ЦПКО после чехословацкой выставки и стал популярным местом, потому что в нем без перебоев подавали «Праздрой» и жареные сосиски, шпикачки.

Авербах поджидал меня у входа в заведение. Он выглядел замечательно, загорелый и стройный. Сейчас, вспоминая его тогдашнюю внешность, приходит в голову, что он был похож на Жан-Поля Бельмондо – такое же узкое, губастое лицо со смеющимися глазами. Позднее, став известным кинорежиссером, он растерял это сходство, и глаза погасли. Однажды, после его преждевременной смерти, я увидел его во сне. Он был неживой, но вот такой же, как в тот день, загорелый, исполненный молодого здоровья и бельмондонистый. Проснувшись, я подумал, что души, быть может, каким-то образом отражают пик человеческой жизни.

– Привет! Там один друг занял для нас столик, – сказал Илья. – Если ты не возражаешь, конечно.

Друг уже из-за барьера махал нам рукой. Я увидел ярко-рыжего веснушчатого юнца, кажется, в настоящих американских джинсах, что было

тогда чудом не меньшим, чем останки самолета У-2. Издалека ему на вид было лет шестнадцать, вблизи восемнадцать, на самом деле оказалось двадцать два.

– Алик, – представился он.

– Вася, – сказал я. Больше пока не требовалось. У Алика оказался тут знакомый официант. Он быстро принес нам по три кружки пива и блюдо шпикачек. Пир начался, как всегда, с анекдотов. «Хрущев пришел в Мавзолей с раскладушкой, Ильич ему говорит: “Добро пожаловать!” А Сталин злится: “У нас тут не общежитие!”»

Илья тут же начал употреблять изобретенное им питерское новшество:

– Товарищ Вася, передайте, пожалуйста, товарища горчицу. Товарищ Алик, попросите у товарища официанта товарища вилку.

Свиток гранок из «Юности» жег мне карман пиджака. Наконец я вытащил этого товарища и положил на край стола.

– Это что там у тебя такое? – поинтересовался Авербах. – Неужели диссертацию уже накатал?

Я развернул перед ними эту «диссертацию» и сказал, что через неделю журнал с повестью будет в киосках.

– Фантастика, – пробормотал Илья. Он явно был ошеломлен.

– Мы живем в мире фантастики! – воскликнул Алик. Он явно был возбужден.

– Выходит так, что ты через неделю будешь автором «Юности». – Илья усмехнулся. – Настоящим советским писателем.

Возникла пауза. Мне было неловко. Я не знал, как себя вести в таких обстоятельствах. Признаться, даже и сейчас, сорок два года спустя, я не очень-то хорошо понимаю, как я должен был вести себя в тех обстоятельствах.

Алик просиял и пристукнул чешской кружкой по столу.

– Вот видишь, – обратился он к Илье, – это еще одна иллюстрация к тому, о чем мы с тобой говорили. Сейчас такая сложилась обстановка, что они не могут за нами всеми уследить. Нас слишком много, ребята. Такое получилось поколение: в ногу мало кто марширует, все тянут в стороны, выскакивают с разными сомнительными идейками то тут, то там. Особенно это касается больших городов. Ну как, скажите, начальству уследить за всеми пишущими, актерствующими, играющими джаз, поющими собственные песни под гитару, снимающими кино, когда никто всерьез не принимает эту идеологию? На самом деле, несмотря на разные зубодробительные фельетончики, наше время дает нам массу возможностей. Сейчас я вам расскажу одну сногшибательную историю из своей собственной практики.

Все его веснушки пылали веселым огнем, а рыжая грива, казалось, приподнялась от внутреннего электричества. Несколько месяцев назад, спасаясь от зачисления в тунеядцы, он устроился на работу завклубом мотоциклетного завода в городе Коврове Калининской области. В его распоряжении оказался зрительный зал на пятьсот мест. Там он решил поставить несколько одноактных пьес Эжена Ионеску. Начал с «Лысой певицы». Вдвоем с одним другом сделали нехитрую декорацию: фанерный куб и в стороне здоровая палка, деревянный перпендикуляр; понимай как знаешь. Гладилин одолжил для спектакля свой знаменитый французский магнитофончик. Успех был сногшибательный. Мотоциклетчики рыдали от восторга, а еще говорят, что массам недоступен модернизм. Потом поставили «Урок», а теперь

уже репетируют «Стулья». Ну каково?! Так возник первый в Советском Союзе театр абсурда.

Естественно, перед каждым спектаклем он за- ржал зрительный зал идеологией не менее аб- сурдной, чем пьесы.

– Уважаемые товарищи, – говорил он, – се- гдня мы покажем вам яркий пример антибуржуаз- ной сатиры, созданной молодым прогрессивным французским писателем Эженом Ионеску. Глав- ное оружие товарища Ионеску – это смех. Имен- но с помощью смеха он срывает с современной разлагающейся буржуазии Запада ее псевдокра- сивые одежды. Советский зритель, а особенно наш передовой рабочий класс, без труда поймет иносказательные приемы, к которым прибегает автор, чтобы обойти буржуазную цензуру. Он раз- берется, где наш друг и где наш враг.

Из Москвы стали приезжать актеры, друзья по- становщика, и вскоре образовалось что-то вроде постоянной труппы. Вот недавно, например, на Ра- менском ликероводочном заводе их вознаградили за труды двумя ящиками отменной «зубровки».

Этот напиток Алик привез в Москву и устроил вечеринку для «нашего поколения». Был большой приход и большой подъем, можете не сомневаться. В разгаре события Алик сидел на подоконнике, как Долохов в «Войне и мире», спиной к улице и от смеха умудрился кувырнуться с третьего этажа. Спасли его электрические провода и общая трени- ровка. Дело в том, что ведь он мастер спорта по скалолазанию, это вам многие подтвердят. Пере- вернувшись в воздухе, он схватился обеими руками за провода, а обеими ногами уперся в стену. Прово- да порвались, прошел сильный разряд, Алик замк- нул на массу, но успел самортизировать.

– Чтобы вы перестали ржать, гады, посмотрите на мои ладони!

И мы увидели два поперечных темных шрама, пересекающих линии судьбы.

– Вот видите, братцы, – завершил свою байку Алик, – мы живем во времена исключительных возможностей, товарищи писатели.

В это время кто-то позвал его отошел к какому-то длинноволосым, очевидно художникам.

– Кто он такой, этот Алик? – спросил я Илью.

– Это Алик Гинзбург.

– Неужели тот самый?

– Вот именно.

Конечно, я уже слышал о нем. Вся молодая Москва в ту весну говорила об издателе рукописного журнала «Синтаксис». Вдруг он прогремел среди полной идеологической благодати, вроде бы возникшей после очередной встречи партии и правительства с представителями творческих союзов. В «Известиях» появился фельетон «Бездельники карабкаются на Парнас». Принадлежал он боевому перу небезызвестного тогда журналиста Юрия Иващенко. Даже и сейчас довольно отчетливо вспоминается эта фигура. Круглолицый и румяный, в очках с толстыми стеклами, пьянчуга слонялся по творческим клубам, подсаживался к столам, встречал во фрондерские разговоры, считался вроде бы «нормальным парнем» – и вдруг оказался доверенным лицом партии в деликатном деле разоблачения «бездельников», сиречь «модернистов» и «тунеядцев».

Развязные юнцы и их заводила А. Гинзбург, оказывается, вознамерились издавать литературный журнал в обход официального течения. Среди авторов были такие подозрительные люди московского дна, как Генрих Сапгир, Игорь Холлин, Сергей Чудаков (до сих пор почему-то помнится одна из приведенных Иващенко сомнительных строк: «Полночно свечение Бухты

Барахты»; как будто коктебельский ветер прошел), однако, увы, и некоторые уже известные молодые писатели не погнушались компанией, в частности Булат Окуджава и Белла Ахмадулина.

В принципе ничего страшного в этом фельетоне не было, за исключением некоторых глухих угроз, явно шедших от заказчика, все того же зловещего «комитета». Вскоре сквозь гудящую вату заглушек об Алике Гинзбурге заговорили и «клеветники» западных радиостанций. Атмосфера, стало быть, стужалась, никто, однако, не предполагал, что последуют какие-нибудь серьезные решения. Ну, в крайнем случае вышлют из Москвы за пресловутое, всем осточертевшее уже «тунеядство», ну а потом выйдет какое-нибудь послабление.

В тот вечер в ЦПКО никто ни о чем плохом не думал. Происходило «кучкование», образовалась бродячая компания, началось шляние по Москве. Везде пели ранние песни Булата – «Ах, Арбат, мой Арбат», «Полночный троллейбус плывет по Москве» – и болтали без конца на тысяча и одну тему, как Евтушенко тогда писал: «О нашей молодости сборки, о эти яростные споры», и в разговорах этих самыми шумными и темпераментными были двое: еще один «протей» нового молодого урбанизма, востроглазый Сережа Чудаков и рыжий, огненный юнец, движитель богемы Алик Гинзбург. После той ночи я этого беззаботного юнца больше уже не встречал. Через две недели он был арестован и угодил в свою первую тюрьму на два года.

В принципе именно КГБ и партия втянули этого человека богемы в политическое подполье. В нормальном обществе такой рыжий и заводной мог бы стать лидером артистического движения, скандальным издателем, хозяином сенсационной галереи, ну, в крайнем случае вождем какой-нибудь вольтеровской революции парадоксов вроде Кон-

Бендита. В советском обществе власть такого человека уже не отпускала, гнула и давила до конца. Его разработали на погашение, и его молодость была преждевременно успешно погашена. Отвечая на каждое унижение и насилие все более решительными актами сопротивления, он стал эком, подпольщиком, проводником всех этих сахаровских и солженицынских сурово-жизненных идей.

В 1967-м мы с приятелем пришли к зданию народного суда возле Каланчевки, где шла псевдо-юридическая расправа над «четверкой». В зал никого не пускали, однако удалось увидеть, как Алика вывели после приговора и посадили в «воронок». На несколько секунд мелькнуло передо мной его бледное лицо с застывшей иронической улыбкой. Так завершилось для него провозглашенное им в июне 1960-го «время больших возможностей».

Потом, в восьмидесятые, были встречи на Западе, но это из другой оперы.

Уже не менее пятнадцати лет нет Илюши Авербаха, теперь ушел Алик Гинзбург, однако не изгладился тот вечер в чехословацком ресторане в ЦПКО. В быстро исчезающем времени запечатлеваются ключевые сцены молодости и немолдости, старости и нестарости, подъема и унижения, которые, возможно, не пропадают из общего вневременного зачета в некоем пространстве жизни и нежизни.

Благодаря одной такой сцене и несмотря на столь редкие встречи, я могу сказать: «Я хорошо знал Алика Гинзбурга». То знакомство с ним, московским юнцом без страха и упрека, быть может, побудило меня написать «Звездный билет». Там тоже был один такой Алик.

# ТРАЛИ-ВАЛИ И ГЕНИЙ

В начале года я нашел в своей почте пакет из Санкт-Петербурга. В нем оказался восьмисотстраничный том сочинений Юрия Казакова, изданный «Азбукой-классикой». Петербурженка Ирина Киселева, приславшая мне этот исключительный дар, в трогательной диагональной надписи писала, что шлет мне эту книгу «на память о друге». Я начал читать все то, что уже читал в те старые годы вроссыпь, в различных журнальных публикациях, и уже не мог оторваться от этих тридцати рассказов, тринадцати текстов «Северного дневника» и еще одной чертовой дюжины фрагментов, и не только потому, что все это относится к вершинам российской словесности, но и потому, что за всей этой прозой видел Юру, литературного кореша, с которым часто выпивали, нередко и бузили, несли смешной вздор и говорили о серьезном. Эффект присутствия рано умершего автора был сравним только с выдающимся фильмом Аркадия Кордона «Послушай, не идет

ли дождь», в котором замечательный артист Петренко возродил Юрия Казакова.

Нельзя переоценить своевременность этого издания посреди моря разлитого литературной халтуры. Для возникновения нового поколения творческих читателей нужно постоянно напоминать о мастерах пятидесятых и шестидесятых, среди которых едва ли не первым был Казаков. Вот почему я посвящаю ему сейчас несколько небольших эссе.

### ПО СЛУХУ И НЮХУ

Среди различных признаков гениальности есть несколько довольно курьезных. Считается, например, что гения отличает гипертрофированное обоняние. Те, кто знал писателя Юрия Казакова, в этом никогда не усомнятся. У него нет ни одной прозы, в которую не влез бы его большой, с чуткими закрыльями нос.

Он помнит запах книг, по которым он, как ни странно, учился охотничьему ремеслу, помнит носом все, где побывал: на пристани пахнет рогожей, канатом, сырой гнилью и воблой, в незнакомую комнату какую-нибудь зайдет и тут же отмечает, что пахнет пылью, аптекой и старыми обоями, в принципе «каждая вещь – пахнет!».

Интересно, как он соединяет обоняние с другими чувствами; вот две цитаты: «...запахов было множество, и все они звучали как музыка, все они громко заявляли о себе...»; «...каждый звук рождал какие-то искры и смутные запахи, как капля рождает дрожь воды...».

Пахнут не только органические вещества, пахнут металлы, механизмы: «...возле машинного отде-

ления сладко, мягко пахнет паром, начищенной медью и утробным машинным теплом...»; «...в стожке пахнет бензином, дорогой, сапогами...».

Герой осенней ночью в дубовых лесах встречается любимую, приехавшую с Севера. Он говорит ей: «Понюхай, как пахнет!» Она отвечает: «Пахнет вином». Он уточняет: «Это листья». Почти в каждом рассказе вы найдете перечисление остро пахнущих вещей. Матросы рыболовного траулера («На Мурманской банке», 1962) переглядываются: повсюду бродит носатый писатель, нюхает: «...пахло рыбой, смолой, водорослями, солью...» Если все пахнет, то пахнут и минералы. Крым, где маются в отпуске северные моряки, «пахнет так южно и древне» («Проклятый Север», 1964).

В 1964 году одна богемная компания в составе Ежова, Данелия, Казакова, Конечного и автора этих строк начала писать киносценарий по «итальянскому методу», то есть впятером. Юра однажды всех удивил, сказав, что он уже написал первый эпизод. Там на пять страниц шли описания свежесколоченного причала для лодок вкупе со всевозможными запахами заболоченного озера, сосновых досок, лодок, собак, ружей, сапог, словом, всего фирменного букета. Данелия сказал, что кино не передает запахов, поэтому и в сценарии они не нужны. Казаков обиделся. Без описания запахов актер не поймет, что играть, а режиссер, дорогой Гия, не сможет правильно снять эпизод.

Вспоминая его сейчас, мне кажется, что он всегда как бы принюхивался, и даже речь его перемежалась легким фырканьем носа. Непосредственно с темой обоняния связан его абсолютный шедевр «Арктур, гончий пес» (1957). Это история породистого охотничьего пса, чьи глаза с рождения были забиты бельмами. Он не знал

зрения и жил только с помощью слуха и нюха. В рассказе он появился с обрывком веревки на шее. Таскаясь по помойкам и дворам, он приблизился к дому одинокого доктора. Тот вымыл его с мылом, протер мочалкой и просушил полотенцами. Пес полюбил запах этого человека, его звуковой контур и прикосновения его рук. Доктор оставил его в своем доме, надел на него ошейник с медной бляхой и дал ему имя одинокой голубой звезды – Арктур. Пес мог бы мирно жить в доме доктора, если бы поблизости не было леса. Именно там, в лесу с ним случилось то, что придало всей его жизни «возвышенный и героический смысл». Там он учуял дичь, понял свое призвание и начал свой вдохновенный «гон», невзирая – да и взирать ему было нечем – на бесчисленные невидимые препятствия, раздирающие шкуру.

Автор, снимавший комнату в доме доктора, часто бывал в лесу вместе с Арктуром. Он жалел его, обращался к нему с монологами: «Ах, Арктур, бедный ты пес... не знаешь ты, что вокруг нас полно цветов...» – и восхищался псом, когда тот с восторженным лаем устремлялся на свою единственную стезю жизни. Нужно ли говорить о том, что однажды он не вернулся из леса? Через год автор, блуждая в лесу с ружьем, натолкнулся на его кости и на кожаный ошейник с медной бляхой. Осмотрев место трагедии, он понял, что произошло. Несясь во весь опор за какой-то неведомой, но прекрасной дичью, он налетел на острый, как пика, сук дерева и был пронзен насквозь.

Не будет преувеличением сказать, что этот небольшой рассказ, замешанный на густой прозе описаний всего живого, биологического и растительного, вкупе с человеческой особостью, в конце концов раскрывается в метафизику сущего. Трудно не представить себе судьбу Арктура как

метафору человеческой расы, которая со своими пятью (всего лишь!) чувствами несется навстречу неведомому.

## АВТОПОРТРЕТ

Конец пятидесятих годов в литературе соцреализма был временем ошеломляющего появления Казакова. К этому времени относится еще один его абсолютный шедевр, рассказ «Трали-вали». Будучи тогда молодым доктором, я тем не менее ревностно следил за молодой литературой. Помнится, этот рассказ вызвал основательную истерику в официальной прессе: критики признавали большой талант автора и лицемерно удивлялись: как с таким талантом он мог столь основательно исказить советского человека? За пределами официальной прессы рассказ о бакенщике Егоре вызвал бурный восторг.

Рассказ начинается виртуозной увертюрой изобразительных средств, в которой, как всегда у Казакова, звучат многочисленные запахи: «...с берегов тянет запахом земляники, сена, росистых кустов...»; «...а от воды пахнет глубиной, потаенностью...».

В принципе Егор – это не что иное, как автопортрет Казакова. Вот как он пишет о его внешности: «Егор крепок, кадыкаст, немного вял и слегка косолап». Всякий, кто знал Юру, скажет, что этими качествами обладал и писатель. Но дело не только во внешности. И до, и после рассказа Казаков шуточно отмахивался от всяких жизненных сложностей именно этой приговоркой: «А-а-а, все это трали-вали...» Егор любил покрасоваться во флотской мичманке. Любимым голов-

ным убором Юры была фуражка Тартуского университета с лакированным козырьком. Кстати, ведь и имена Егор и Юрий идут от одного корня. Дело, однако, не только во внешних приметах. Писателя и бакенщика роднит одно сокровенное свойство.

На протяжении всего рассказа автор подчеркивает грубоватость, неотесанность персонажа, а также его наивную, едва ли не детскую хитроватость, жадноватость, желание проташиться, то есть в основном захмелиться, как нынче говорят, «на халяву». Вот, например, изумительная сцена любовной охоты в стелющемся по лугам тумане. Впереди промелькнула и спряталась розовая козынка. «Стой! – дико вопит он. – Стой! Убью!» Любимая девушка Аленка со смехом и визгом убегает. Он настигает, валит на землю, и они забываются в счастливом объятии.

Столь же непосредственно выглядит сценка, когда на плес, возле Егоровой сторожки, высаживаются речные путешественники. Они просят переночевать, и он с деланой неохотой, а на самом деле с жадным предвкушением пьянки («Егор очень молод, но уже пьяница») разрешает им остаться, надевает все свои военно-морские регалии, шутует и фиглярничает, чтобы получить лишний стакан водки.

Иногда среди ночи он оставляет спящую Аленку и уходит на реку. Им овладевает и сладкое, и пугающее чувство мировой тоски, кажется, что кто-то зовет его со звезд. Он пытается отрешиться от этого своим ленивым «трали-вали», однако уже чувствует, что его «затягивает». Пару раз в месяц какие-то неведомые силы заставляют его проявлять свой невероятный дар. Вдвоем с Аленкой они берут лодку и уплывают на середину реки. Там он, забыв про все на свете, начинает петь ста-

рые русские песни; девушка ему вторит. Оказывается, он обладает голосом удивительной силы и выразительности. «Стонет и плачет Егор, с глубокой мукой отдается пению... И дрожит его кадык, и скорбны губы».

Однажды, уже в середине семидесятых, я пригласил одну английскую славистку поужинать в ресторане Дома литераторов. Почти все столы в Дубовом зале были заняты дружно отдыхающими писателями. Столик, впрочем, нашелся благодаря моей устойчивой ресторанной репутации. Едва успели нам сервировать ужин, как в зале появился Казаков. Покачавшись немного в середине помещения и не ответив на приглашающие жесты ряда коллег, он направился прямо к нам; толстые очки, слегка набухший нос, постоянная его неопределенная улыбка на крупных губах; да, нужно отметить красивые очертания головы, он принадлежал к тем людям, которым ничуть не мешает лысина. Он был уже основательно «типси», как говорят англичане. Не дожидаясь приглашения, он оседлал стул, налил себе полный фужер, подцепил моей вилкой закуску. Глотая, жуя и снова глотая, он не прекращал говорить с каким-то странным напором, не давая мне ни малейшей возможности представить его моей спутнице.

– Слушай, старик, я сегодня такой, УХХ, рассказ придумал, УСС, понял? Вот вообрази, один чувак идет по дремучему, БОБЛ, лесу. Запахи вокруг, ИХИОХИ ОХЕННЫЕ. Вдруг видит – в чаще окна светятся, а там, БЛОБ, а там, вообрази, буфет с великим множеством, старик, ОХЕННО-ОХИХ напитков, и там чувиха его встречает, ХУХ, обалденная, вот вроде твоего кадра; ты откуда, девушка?

– Это Присцилла, Юра, она из Англии, – сказал я.

– Вы заказывать, Юра, что-нибудь будете? – спросила, подходя, наша любимая официантка Рита.

Он тут же обхватил ее за кругленькую талию.

– Нет, Ритуля, я заказывать, НАФИОХУ, ничего не буду, а вот этот, который тут с кадром из Дании сидит, закажет мне, БЛБЛ, граф-ф-ффинчик.

Тут его кто-то, вроде бы Конецкий, потянул за рукав, и он перебазировался со своей историей о лесном чудо-буфете за другой стол.

– Кто это? – спросила потрясенная Присцилла. – Страшно сказать, но мне вдруг показалось, что это мой самый любимый русский писатель. Как? Это и есть Казаков?! Но как он может так шляться и нести эдакий вздор со своим Божьим даром?

– Перечитайте «Трали-вали», – посоветовал я. Что еще я мог сказать разволновавшейся англичанке?

## ДЖАЗОВАЯ ПЬЕСА

В те годы в Москве очень трудно было достать что-нибудь доброкачественное для питья. Возникающим то и дело компаниям, вместо того чтобы заниматься делом, приходилось бродить по «творческим клубам» в поисках творческого вдохновения. Однажды летним вечером большая компания, возникшая в Переделкине, передвигалась на Суворовский бульвар в Дом журналиста. По дороге коллектив распался на мелкие группы. Мы с Казаковым одновременно вошли в Домжур. Там шел какой-то многолюдный бал с танцами. Пробираясь через толпу, мы выискивали «наших». Тут объявили перерыв. Музыканты отправились погулять, ос-

тавив свои инструменты под присмотром пианиста. Пианист тихонько что-то наигрывал. Юра слушал его, держа в зубах здоровенную гаванскую сигару. Пианист тут стал импровизировать на тему *Those Foolish Things*. Юра раздвинул толпу и словно кот прыгнул к оставленному контрабасу. Он играл и ухмылялся, не выпуская сигары изо рта, потный, массивный, эдакий символ «музыки толстых», не хватало только буржуазного цилиндра на плешь. Никто его не знал в этой толпе. Все стали подтанцовывать, не догадываясь, что на баше играет «гений русской прозы».

Читая его рассказы, можно подумать, что они написаны либо дореволюционным русским помещиком, либо советским деревенщиком, почвенником, сродни Солоухину или Астафьеву. Между тем он был арбатским, то есть человеком городской культуры, или, так скажем, субкультуры. Именно там, в грязных дворах послевоенной Москвы, возникла у него неудержимая тяга к кислороду, чистым запахам незагаженных пространств и далее – к полярным морям. Вместе с тем там же, по соседству, в Институте Гнесиных, который он окончил по классу контрабаса, возникла и тяга к городской музыке, джазу. Как-то он рассказывал, что еще в сталинские времена подрабатывал, «лабал», в «Коктейль-холле» на улице Горького. Этим я воспользовался, когда писал третий том трилогии «Московская сага», «Тюрьма и Мир». Там есть эпизод в этом самом загадочном значном месте тоталитарной столицы. В зале развлекаются лауреаты Сталинских премий, а на антресолях маленький джазик играет «Красную розочку».

«...за перилами антресолей был виден контрабасист, ловко перебирающий струны сардельками пальцев, большой, совсем молодой, хоть и уже лысеющий, к тому же сильно застекленный со-

лидными очками парень, с блуждающей таинственной улыбкой на толстых губах; о нем Катаев однажды сказал, что это надежда русской прозы... Юрий... Юрий... ну неважно...»

Джаз был неотъемлемой частью его артистического мира. Он пробивался к нему сквозь массу помех через старенькие радиоприемники, оставленные в лесных сторожках или на рыбацких тонях, и уж конечно, самый его лирический, самый светлый и счастливый рассказ «Осень в дубовых лесах» (1961) не обошелся без джаза: «...я пошел в угол, где на ремнях на стене висел приемник, и включил его. Среди треска и бормотания дикторов я искал музыку. Я знал, что она должна быть, и нашел ее. Низкий мужской голос что-то сказал по-английски, потом была пауза, и я понял, что сейчас станут играть. Я вздрогнул, потому что с первого же звука узнал мелодию. Когда мне хорошо или, наоборот, больно, я всегда вспоминаю эту джазовую мелодию... В ней звучит какая-то тайная мысль, и не понять, печальна она или радостна. Напомнила она мне и ту московскую ночь, когда мы все ездили, ездили и ходили, одинокие и несчастные...» Джазовая тема звучала в его голове, когда Он и Она, униженные и измученные, отчаялись найти в гигантском городе хоть какое-нибудь место, чтобы предаться любви. Та же тема звучит, когда наконец спустя год они обрели приют в дубовых лесах.

В «Проклятом Севере» (1964) контрапунктом снова является игра джазового квартета. Два суровых северных маримана (по всей вероятности, Казаков и Конечский) проводят отпуск в Ялте. Крым очаровывает их своими вечными средиземноморскими запахами, они стараются забыть свой изнурительный северный океан, однако постоянно

и в мыслях, и в разговорах возвращаются на «проклятый Север», после чего остается только с ухмылкой взирать на ярко освещенные туристические лайнеры. Один из вечеров они проводят в ресторане (по всей видимости, в «Ореанде»), и тут герой начинает наблюдать за музыкантами.

«...Гитарист равнодушно подстроил свою гитару, пианист сразу взял медленные два-три аккорда... он будто остановил ритм, время, выхватил несколько созвучий и любовался ими, вслушивался и откидывал лицо. Скрипач тоже позудел, настраиваясь, и прозвучали всегда так волнующие меня пустые квинты... и вновь ударило меня по сердцу и завертелось, закружилось, понеслось мимо, и та осень в Ленинграде, и вся моя жизнь на кораблях, все мечты, разочарования и грусть».

В принципе все его лучшие рассказы спонтанно построены по схеме джазовых пьес: сначала идет лирическая тема, потом головокружительная импровизация с квинтовыми аккордами и наконец наступает щемящая кода.

## ПЛАЧУ И РЫДАЮ

Если говорить о философии Казакова, ее можно прямо отнести к традиции великого гуманизма. Он любит жизнь, человека, животных, любит до слез. Выросший в атеистическом Союзе писателей, он постоянно думает о Боге, милосердии, жаждет духовной жизни. И в то же время перед нами заядлый, если не страстный, охотник, то есть активный участник порочного круга жизни, уничтожитель живых существ. Пытаясь постичь тайну жизни, он с неотразимой артистической жестокостью описывает смерть.

С особенной яркостью эти противоречия возникают в рассказе «Плачу и рыдаю» (1963). Трое охотников бродят по головокружительно красивому весеннему лесу. «Как и вчера, как и тысячу лет назад, чистой блестящей каплей между черными, как сажа, ветвями дубов засверкала Венера». Пришла ночь, и появились вальдшнепы. Дальше начинается избиение вальдшнепов. «Вальдшнеп упал на склон оврага, обращенный к закату, на открытое место, шуршал листвой и, как лягушка, упруго подскакивал на одном месте, подпираясь крыльями. Были у него огромные глаза на маленькой головке... и все – грудь, длинный тонкий клюв, ржавая спина, изгиб шеи, – все было устремлено ввысь в смертной тоске».

Позже в сторожке, когда они уже варили похлебку из вальдшнепов, один из них, филолог, выпил и вдруг взволновался, начал высказываться: «Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть и вижду во гробех лежащую по образу Божию созданную нашу красоту безобразих бесславу, не имущу вида!» Интересно, что почти немедленно эта трагическая и неизбывная ламентация сменяется у этого охотника восторженным кличем во славу жизни: «Чтоб жили мы все счастливо! За прелестных женщин! Ну, старики, весна, жизнь! Плачу и рыдаю! Ура!» Мало чем эта очарованность весной отличается от гулких позывных вальдшнепов, летящих на весеннее токовище.

Казакова, как Хемингуэя (в принципе они очень близки), привлекали люди экстремальных профессий: моряки, матросы океанских траулеров, полярники, зверобой. Постоянно рискуя своей жизнью, эти профессионалы неизбежно сеют смерть. Быть может, оттого он и занимается охотой, что и сам хочет быть, как Хемингуэй или Гумилев, одним из своих героев.

Агония любой твари привлекает его пристальное внимание. Будучи на траулере («На Мурманской банке», 1962), он описывает последние минуты рыбы. «Рыба лежит горой на палубе... Вынутая из глубины, она неподвижно и мучительно засыпает. У трески вылупляются пузырями глаза, топорщатся плавники... Потягивается в смертельной истоме зубатка. Красный морской окунь становится все страшнее... морские скаты меняют цвет, будто кричат цветом, ужасаются, молят о пощаде, о воде, о темно-синей глубине».

В очерке «Белуха» (1963—1973) Казаков описывает плановое избиение стада этих зверей, своего рода полярных дельфинов, в Ледовитом океане. Стадо, не подозревая подвоха, идет прямым ходом в загон. Охотники наготове. «В ужасной страсти своей к убийству выпросил и я у боцмана винтовку и все держал, с наслаждением ощущая ее тяжесть... Но, разглядев белух, я вдруг остыл, и положил винтовку, и стал молиться. Господи, отвернули бы они в море! Испортились бы наши моторы!» Он молится о том, чтобы избиение не состоялось, чтобы «эти прекрасные существа» ушли, чтобы продолжить свою «непостижимую» жизнь». Между прочим, главная цель охоты – обеспечение кормом звероводческих (песцовых) ферм.

Увы, все белухи этой стаи до единой были обречены. На это ушел один час вдохновенной, «как на войне», стрельбы.

Далее идут поразительные в своих подробностях и основательно садомазохистские описания истребления и разделки этих «прекрасных существ». Увы, это была не война, но «лагерь смерти». Очерк резко обрывается воплем: «Белуха идет!»

В июле 1980 года, за неделю до навязанной нам эмиграции, мы с Майей приехали в Абрамце-

во попрощаться с Юрой. Венец его литературных заработков – основательный старый дом – стоял в большом заброшенном саду. Был жаркий безоблачный день. Юрий Павлович Казаков спал. Мать его Устинья Андреевна сидела на веранде то ли с шитьем, то ли с вышивкой. «Юрочка стал слаб, – сказала она нам. – Подолгу спит, мало пишет. Повремените с полчаса, Вася, а потом уж я его разбуджу».

Он проснулся раньше, вышел, подтягивая за трапезные джинсы, буркнул «Привет!» и скатился по крыльцу в заросли своего сада. В густейшей высокой траве и кустах он исчез, потом вынырнул с поднятой головой, с раздутыми ноздрями, скакнул куда-то в сторону, опять исчез, опять вынырнул. Так он не менее четверти часа двигался среди буйства природы, словно пес Арктур. Наконец вышел на дорожку и направился к нам, неся в руках огромный букет георгинов. Он собрал их для Майи.

Среди примет гениальности есть такая курьезнейшая, как жадность. Жадными были Бетховен, Эдисон, Бунин. По-детски жадным был и Казаков. Так, во всяком случае, говорили, посмеиваясь, его друзья. В тот день с георгинами в руках он являл собой апофеоз своей великолепной преодоленной жадности. Это была наша последняя встреча. Через два с чем-то года, уже в Вашингтоне, мы узнали, что Юра умер. Вскоре дошла до нас фраза, произнесенная над ним его другом Георгием Семеновым, таким же, как он, охотником и мастером лирического рассказа. «Ушел Юра, – сказал он, – и ничего теперь для меня не осталось в этом мире, только холодный дождь».

# ПАМЯТИ ТЕРЦА

25 февраля скончался Андрей Синявский. Нелегко будет России замолить свою вину перед Синявским. В его судьбе она раскрыла во всю ширь и глубину всю свою «бездну унижений». Эта, по его же собственному определению, «родина-сука» выявила еще в ранние студенческие годы исключительный талант, незаурядный ум, начала с ним «работать», то есть шельмовать самым гнусным образом, ну а потом, когда выяснилось, что молодой человек не сдался, не дал погубить свой талант и душу живую, расสวิрепев, засунула в свое узилище и только уж потом, отжевав, отглумившись, выплюнула за границу. Утерлась, довольная: все-таки молодость сожрала.

С другой стороны, для той же самой России в ее какой-то, может быть, почти не существующей или совсем не существующей, но витающей над нами астральной модели – иными словами, для «идеалистической России» – имена Синяв-

ского и Даниэля навсегда останутся символами борьбы и даже победы. Судилище 1966 года, вместо того чтобы запутать, открыло в обществе существование какого-то трудно объяснимого резерва свободы, то ли уцелевшего со старых времен, то ли накопившегося заново.

Так или иначе, дальше все пошло в присутствии и под пристальным наблюдением Андрея Донатовича Синявского, человека весьма оригинальной внешности. Маленький, с длинной бородой и косым глазом, он вроде бы напоминал нам каких-нибудь пустынников или лесовиков, однако всякий раз, как я его видел, я вспоминал бритого Сартра.

Разумеется, было что-то общее у этих двух людей не только во внешности, но и во взглядах на суть человеческого бытия, то есть, по-сартровски говоря, «экзистанса». Своей личностной и художественной практикой Синявский как бы всегда подтверждал один из ведущих постулатов сартровской философии, постулат о могучем и грозном уровне человеческой свободы. Человек способен сделать выбор среди альтернатив, удовлетворяющих определенную цель. Он способен также выбрать цель из тех, что способны удовлетворить определенную, то есть тоже выбранную, человеческую природу. Таким образом, не существует никаких ограничений человеческой свободы, а те, кто говорит о психологическом детерминизме, на самом деле просто пытаются избежать ответственности за свой выбор.

Многие произведения Синявского-Терца, такие, например, как «Крошка Цорес» или «Спокойной ночи», можно рассматривать как притчи о человеческой свободе. Он, казалось, органически не мог произнести слова «мы», то есть связать себя хоть какими-то путами. При чтении Тер-

ца тебя то и дело пронизывает чувство тотального одиночества. Герой «Голоса из хора» – это, по сути дела, то же самое лицо, что и «Пхенц», притворяющийся человеком, мыслящий отрок из космических глубин. Бесформенность изначальной человеческой ситуации в мире является как бы необходимым элементом для его радикальной свободы. Существование тем не менее предшествует сути. Человек отрицает пустоту мира, создавая его суть для себя, переделывая «вещь в себе» в «вещь для себя», сам создавая для себя структуру мира.

Все писатели при жизни немного кокетничают. Тот же Сартр без конца кокетничал со своими поклонниками, студентами левого берега Сены. Так и Пушкин постоянно кокетничал, мы знаем с кем. Так и Синявский при всей суровости своего выбора оставался человеком, полным юмора и литературного кокетства, подхватывал Пушкина под ручку фланировал с ним по бульварам, грасировал напропалую, демонстрировал тотальную «неангажированность». Впрочем, и в этом кокетстве, и в частой иронии он всегда оставался вопиющим одиночкой, недаром изобрел в самом себе «Абрама для битья».

Открываем наугад «Мысли врасплох» и читаем: «Жизнь человека похожа на служебную командировку. Она коротка и ответственна... Тебе поставлены сроки и отпущены суммы. И не тебе одному. Все мы на земле не гости и не хозяева, не туристы и не туземцы.

Все мы – командированные».

«Надо бы умирать так, чтобы крикнуть (шепнуть) перед смертью:

– Ура, мы отплываем!»

«Довольно твердить о человеке. Пора подумать о Боге». «Мысли о Боге неиссякаемы и вели-

ки, как море. Они захлестывают, в них тонешь с головой, с руками, не достигая дна. Бог в нашем сознании – понятие настолько широкое, что способно выступать как собственная противоположность даже в рамках единой религиозной доктрины. Он – непознаваем и узнаваем повсюду, недоступен и ближе близкого, жесток и добр, абсурден, иррационален и предельно логичен. Ни одно понятие не дает такого размаха в колебании смысла, не предоставляет столько возможностей постижения и толкования (при одновременно твердой уверенности в его безусловной точности). Уже это говорит о значительности стоящего за ним Лица и Предмета наших верований, наших раздумий. В Бога можно по-разному верить, о нем можно бесконечно думать: Он охватывает все и везде присутствует как самое главное, ни в чем не уместаясь. Это самое огромное, единственное явление в мире. Кроме этого, ничего нет».

Эти мысли, разумеется, уведут Андрея Донатовича Синявского от предполагаемой нами близости к Сартру с его постулатом о «смерти Бога» и возвращают его туда, откуда он и пришел, к Бердяеву и Шестову, в энергические поля той «идеалистической России», ради которой он и прожил свою творческую жизнь.

# ГОСПОДИ, ПРИМИ БУЛАТА

Завершилась жизнь Булата Окуджавы. Всей стране больно, ему, надеюсь, уже нет. У Набокова встречается фраза: «Жизнь – это записка, нацарапанная во мраке». Иными словами – неразборчиво. В большинстве случаев это, очевидно, близко к истине, но есть все-таки исключительное меньшинство, чьи царапины из мрака сияют вечным огнем. К этому числу относится Булат, потому что несколько десятилетий одного века из истории человечества его присутствие смягчало климат свирепо холодной страны, странной печалью напоминало необузданным мужикам с их водками и драчками о чем-то ангельском, безукоризненным джентльменством ободряло усталых женщин.

Никакими модами, течениями и направлениями не объяснить и не опровергнуть его дара. В девяностые годы кучка новых бездарей взялась его грызть якобы как воплощение ненавистного «ше-

стидесятничества», на самом деле они имели в виду его уровень, на который им никогда не вскарабкаться, какими бы липкими ни были руки. Его песни с их уникальной мелодичностью и ритмами, отмечающими перепады послесталинской поэтической походки, действительно были позывными той далекой молодости. Мы тогда любили говорить друг другу: «Ты гений, старик», – но в отношении Булата каждый понимал, что это не просто фигура речи. И мы называли его запросто – другом, Булатиком.

Сейчас, когда я это пишу, его тело, очевидно, после отпевания на рю Дарю лежит в морге в ожидании самолета на Москву. Пальцы уже не потянутся к гитаре, вообще не пошевелиятся, во всяком случае до второго пришествия. Кажется, Гете сказал перед смертью, что отправляется в зону великих трансформаций. Впрочем, и жизнь в нашем животворном и тлетворном воздухе – это часть непостижимых трансформаций. Неподвижный Булат для всех нас, пока живых, непостижим.

12 июня началось для меня с песни «Исторический роман» на утренней программе ОРТ. Видео-запись, сделанная, по всей вероятности, лет семь назад, демонстрировала Булата в хорошей физической форме, с прекрасным чувством певшего столь близкие слова:

В склянке темного стекла  
Из-под импортного пива  
Роза красная цвела  
Гордо и неторопливо.

Я растрогался – утром, не проспавшись, увидеть и услышать Булата с этой песней! – и тем более еще потому, что песня была им сочинена

и посвящена мне после прочтения тогда тайного «Ожога». Вечером в сводке Митковой прозвучало сообщение о том, что Булат умирает в Париже.

Беспомощно вожусь в куче воспоминаний, пытаюсь разделить их хронологически и по значительности. Первое еще с грехом пополам получается, второе, перекрученное острейшим горем, – в полной неразберихе. Вспоминаю момент, когда я первый раз увидел Булата в его излюбленной позе: одна нога на стуле, гитара на колене. 1960-й, скопище друзей на чьей-то кухне, среди них Гладиллин с единственным в нашей компании портативным французским магнитофончиком. 1961-й, огромная безобразная гостиница в Питере. Налетаю на Булата с невестой Олей Арцимович. В ресторане он говорит мне почему-то шепотом: «Ты представляешь, она физик!» Я, как всегда, надираюсь, и мы отправляемся в номер, где ждет компания молодых друзей. Он там поет:

Жить не вечно молодым,  
Скоро срок догонит.  
Неразменным золотым  
Покачусь с ладони.

Осень 1968-го, Ростов-на-Дону. Мы с ним вдвоем – «спиной к спине у мачты» – во Дворце спорта перед многочисленной враждебной массой ленинского комсомола. Праздничное сборище – пятидесятилетие борьбы и побед – поражено сомнительными выступлениями гостей, московских писателей. Провокационные выкрики о Чехословакии. Булат спокойно заявляет: «Ввод войск был непростительной ошибкой!»

9 мая 1969-го. Мы стоим на террасе ялтинского Дома творчества. Булат щурится на солнце:

«Сегодня мне сорок пять лет. Не могу себе этого представить!» Появляется Белла и говорит, что, по достоверным сведениям, предыдущее поколение писателей закопало в саду несколько бутылок шампанского. Все отправляются на поиски и, конечно, находят немало. Ночью на той же террасе виновник торжества впервые поет «Моцарта».

1989-й год, какой-то месяц. Булат поет в готической библиотеке Смитсоновского института в Вашингтоне. Как и раньше – одна нога упирается в стул, гитара на колене.

А молодой гусар, в Наталию влюбленный,  
Он все стоит пред ней коленопреклоненный.

Не виделись девять лет.

– А ты, Булат, стал лучше петь с годами.

– Да, Васька, знаешь, со старостью прибавляю в вокале.

И так вот всегда, как у нас положено, с легкой усмешкой, никогда до конца не всерьез, как будто все мы персонажи не жизни, а анекдота, а основной смысл всегда в скобках, и там уже не процарапашь ничего, ни впотьмах, ни при свете дня. Но наступает день, когда скобки раскрываются.

Господи, просвети, где разместимся с друзьями в сонме далеких душ? Все эти комбинации, именуемые поколениями, правда ли не случайность? Господи милостивый, единый в трех образах Отца, Сына и Святого Духа, вспомни о малых своих посреди материализма! Не дай предстать, Милосерд, перед твоим отсутствием! Господи, прими Булата.

1977

# СВЕТЛЫЙ ПУТЬ

Нынче у нас много говорят о кино. Возрождается «важнейшее из всех искусств». Есть мнение, что важнейшее в нынешние времена должно важнейшим образом зарабатывать деньги, бросать вызов аж самому Голливуду-батюшке. В этом видится принципиальное отличие современного фильма от произведений тех времен, когда главной задачей была мефистофелевская борьба за человеческие души и парадоксальное сближение с прежним, то есть почти уже вечным в российском контексте, лозунгом «догнать и перегнать».

Такого рода странные сближения, быть может, приведут нас к некоторой осмотрительности. Стоит ли ради коммерческой конкуренции с голливудскими кровососами только лишь и делать, что пестовать кровососущих своих? Ведь никогда же, как бы ни старались, не одолеем. Нужно ли окончательно отринуть установившуюся в течение многих десятилетий советскую ки-

нематографическую традицию или следует ее, замшелую, а чаще всего даже тошнотворную, пересмотреть, чтобы понять: было в ней хоть что-то, кроме поверхностного и бездарного пропагандистского блуда? Имеет ли она хоть малое отношение к тому, чем жили в те времена умные люди? Иными словами, обладала ли она хоть какими-то глубинными ценностями?

Сравнительно недавно на зарубежном русском телеканале «Наше кино», который отнюдь не посягает на соревнование с Голливудом, а просто гонит старый хлам про геройских чекистов родины, не гнушаясь даже сусальными сказками про Владимира Ильича и Феликса Эдмундовича, я посмотрел фильм Григория Александрова «Светлый путь». Лента была снята в 1940 году, и в главной роли там блистала звезда тех лет Любовь Орлова. Увы, здесь она играла не волшебную актрису цирка: «Хау ду ю ду, хау ду ю ду, я из пушки в небо уйду, в небо уйду!» – а заурядную стахановку прядильного цеха.

Не помню, досмотрел ли я когда-нибудь в молодые годы этот фильм до конца, но сейчас, дожив до преклонных лет, я сразу почувствовал, что он не так-то прост, и отсидел перед «ящиком» все положенные полтора часа; фильмы тогда были недлинными. Прежде всего меня насторожило то, чего я раньше не замечал: сценарий был написан Виктором Ардовым, другом Ахматовой и известным человеком художественной богемы. Некоторые детали, в частности американская кинокепка и крой курток героя, говорили о том, что богема присутствует и в этом вроде бы чисто пропагандистском фильме.

Орлова начинает всю эту историю в своем привычном амплуа очаровательной провинциальной недотепы, уборщицы захолустной и вро-

де бы даже частной гостиницы. Следует каскад комедийного хаоса в духе «Веселых ребят». Затем какие-то гротескные партийцы вовлекают девушку в стахановское движение на ткацкой фабрике. Сначала она работает на десяти станках, потом на тридцати станках, потом на ста станках и наконец, в манере чистейшей хлестаковщины, бьет мировой рекорд на трехстах станках. И вот тут-то происходит невероятная кульминация, момент чуть ли не метафизического, во всяком случае, прекрасно-ужасного по своему пафосу преобразования. Не знаю, понимал ли это Александров, но Орлова явно проникла в суть своей трансформации.

Она идет одна по проходу среди своих трехсот работающих станков. Постепенно походка ее переходит в марш, руки отмахивают каждый шаг, глаза зажигаются огнем удивительного вызова, устремляются в некую высоту, она поет:

Нам ли стоять на месте?  
 В своих дерзаниях всегда мы правы!  
 Труд наш есть дело чести,  
 Есть дело совести и подвиг славы!  
 К станку ли ты склоняешься,  
 В скалу ли ты врубаешься,  
 Мечта прекрасная, дорога ясная  
 Всегда зовут тебя вперед!  
 Нам нет преград ни в море, ни на суше.  
 Нам не страшны ни льды, ни облака.  
 Знамя страны своей, факел любви своей  
 Мы пронесем через миры и века!

Надо сказать, что среди привычной большевистской пошлости и пропагандистской трескотни присутствовала, по крайней мере в начале их движения, одна действительно глубокая, чуть ли

не ницшеанская утопическая идея – создание нового человека, советский вариант «юберменша», всегда правого во всех своих дерзаниях. Именно об этом превращении слабого человеческого существа в некую фурию социализма, в живую скульптуру и был сделан фильм – во всяком случае, так он может быть прочитан сейчас. Будь я режиссером, я бы сделал современный ремейк «Светлого пути» для нынешнего кинорынка: люди превращаются в скульптуры государственного бизнеса, скульптуры вздымаются в лучезарное будущее; путь бесконечен (до ближайшего Армагеддона).

2004

# ВЕСТЕРНЫ И ИСТЕРНЫ

Зимними вечерами в Басконии, подключаясь время от времени к программам канала «Наше кино», я понял, что восьмидесятые годы, которые все целиком я провел в далекой американской эмиграции, были не так уж бедны по части профессионально сделанных картин. Несколько раз я подолгу застревал перед телевизором, когда шел сериал об одном козлобородом товарище, возглавлявшем одно козлоное революционное учреждение в Петрограде 1917 года. Товарища этого очень профессионально сыграл один мой собственный товарищ, талантливый актер плеяды раннего «Современника», однако не только это обстоятельство надолго приковывало меня к экрану. То, что я видел, было, по сути дела, рассказом о расправе большевиков над другой революционной партией, известной под сокращением «с.р.» – социалисты-революционеры.

Сделано все это было, что называется, без балды, то есть с высокой степенью кинематографической достоверности. Тщательно были продуманы интерьеры, грим, костюмы, оружие и прочие аксессуары, включая, например, петроградские трамваи того времени. Молодые большевистские вожди собирались на совещания – Урицкий, Володарский, Бухарин, Ленин, Дзержинский и прочие, и только одного, тоже слегка козлобородого товарища, а именно Троцкого Льва Давидовича, катастрофически не хватало. Имя человека, практически руководившего тогда, в послеоктябрьские месяцы, всеми действиями новой жестокой власти, ни разу не упоминалось на экране. Идеологическая цензура таким образом создавала эффект странного заикания.

Огромная кинотека фильмов о революции и Гражданской войне на сто процентов страдает недугом этого заикания. Мне кажется, что на пороге возникновения новой коммерческой киноиндустрии стоит подумать о коррекции нашего ущербного «золотого фонда», о показе того, как это было бы без цензуры, и сделать это можно в форме ремейков.

Приближающийся новый кинобум, по всей вероятности, приведет к острому дефициту сюжетов. Стоит ли нам высасывать из пальца некие подобию бесконечных западных вариаций на заезженные темы? В шестидесятые и семидесятые годы, когда западничество возбранялось, кинематографисты иной раз говорили, что вестернам мы должны противопоставить истерны, что Средняя Азия или, скажем, Кавказ являют нам бездонные кладези приключений. Таких захватывающих истернов создано было немало, достаточно вспомнить «Тринадцать», «Седьмую пулю», «Белое солнце пустыни», «Свой среди чу-

жих...». Сейчас, когда мы излечились от соцреалистического заикания (уместно тут вспомнить пролог к «Зеркалу», сеанс у логопеда), перед нами просто-напросто открывается бескрайний кинематографический континент.

Страна наша в течение XX века побила все мировые рекорды драматических коллизий. Между тем не востребованными в кино остаются огромные исторические территории. Взять, например, «архипелаг ГУЛАГ»: практически там еще не высаживались. Там были ярчайшие вспышки человеческой свободы вроде восстаний эков в Воркуте и Экибастузе. Немало было на этой картине и людей, в одиночку бросающих вызов неумолимой системе. Вот, например, во второй половине восьмидесятых в Лондоне я познакомился с польским евреем Гарри Урбаном, умудрившимся несколько раз сбежать из страшных советских лагерей, пробраться сразу после войны через всю Европу, попасть в Венесуэлу, сказочно там разбогатеть на нефтяных участках и написать о своей жизни книгу под названием «Товарищ, я еще жив!».

Даже и Гражданская война, на полях которой паслось не одно поколение советских кинематографистов, осталась во многих своих ипостасях терра инкогнита. Единственной – и, кстати говоря, весьма впечатляющей – известной мне попыткой показать эту бойню глазами белых был многосерийный фильм Гелия Рябова «Конь белый» о колчаковском движении в Сибири. Лишь эпизодически кое-где мелькают в фильмах неизбежные и абсолютно трагические участники российской революции, анархисты. Но можем ли мы себе представить более захватывающие «сеттинги», чем республика Гуляйполе или восставший Кронштадт? Понимаем ли мы глубокою (хоть и безна-

дежную) философию лозунга «Анархия – мать порядка!»?

Русская эмиграция, молодые поэты, объединившиеся в группу «Парижская нота», любовь и гибель Поплавского и Червинской – все это и многое другое может воплотиться в своеобразную и сугубо трагическую кино-«фиесту». Исключительными характерами, поднимающимися в эмпиреи и опускающимися на дно, могут стать образы Марины Цветаевой и Сергея Эфрона.

Короче, если российское кино получит должное финансирование, оно (кино) сможет не только количественно возродиться, но и качественно выйти в мировой авангард. Уже в течение десятилетий в западном искусстве не возникало никаких «новых волн». Хотелось бы думать, что наши ребята (я имею в виду молодежь) смогут все это перевернуть. Национальная идея не может держаться только на нефтедолларах.

2004

# СДВИГ РЕЧИ

Весь прошлый год я писал старинный роман «Вольтерьянцы и вольтерьянки», электронной почтой не увлекался, никому не звонил, за газетами в город не ездил, в общем, создал вокруг себя то, что называется инкоммуникадо.

Часам к десяти вечера, окончательно обалдев от романа, я перебирался в гостиную и включал телевизор – чаще всего программу «Наше кино». Наше – ну в общем-то советское, словом, сделанное нашими ребятами нескольких поколений на пленке «Свема», а потому носящее в основном ноктюрный характер; даже и яркий день родины получался тускловат.

Очень редко включение совпадало с началом фильма. В принципе я смотрел произведения с неведомыми мне титулами и титрами. Фильмы поздней сталинской поры угадывались почти ментально, во-первых, по идеологическому содержанию, а во-вторых, по приподнятой интона-

ции речи, когда конец каждой фразы поднимался к восклицательному знаку как бы для того, чтобы стукнуть этой дубинкой каждого советского зрителя по голове.

Первый сдвиг речи произошел в шестидесятые годы в работах таких мастеров, как Ромм («Девять дней одного года»), Хуциев («Июльский дождь»), ну и, конечно, Тарковский («Иваново детство», «Страсти по Андрею»). Тогда, по сути дела, впервые в нашем кино проявилась современная киноречь, произнесенная в манере недосказа; своего рода киновариант хемингуэевского «айсберга». Этот сдвиг, однако, не стал массовым явлением. В продукции семидесятых и восьмидесятых по-прежнему царили театральщина, неестественность, конформизм. Выработался легко узнаваемый стиль, включающий экивоки в сторону мастеров-новаторов вместе с подавляющей редактурой и всеобъемлющей халтуркой. Если говорить о кино как о «фабрике грез», то это были грезы сугубо советского демоса, людей «второго мира». Речь его героев была речью «как в кино», сродни тому, как зощенковский «скобарь» мечтает говорить и жить «как в театре».

Приближался, однако, другой, более кардинальный «сдвиг речи». Интересно, как может такой сдвиг уловить человек, который в течение всех восьмидесятых не был дома, десять лет шлялся, спотыкаясь, среди чужого языка, который (человек) немного уже подзабыл, как говорят советская улица и советский экран, и который уже сейчас, в начале нового века, время от времени наугад включает эмигрантский киноканал.

Хронологически этот сдвиг приходится, очевидно, на конец восьмидесятых, то есть на разгар перестройки, и возник он во многом под влияни-

ем школы Алексея Германа с ее ошеломляющей невнятицей («Мой друг Иван Лапшин» и позже – гениальный «Хрусталеv, машину!»). Вторым важнейшим творческим импульсом тут является катастрофа редакторской цензуры. Однажды я подключился к какому-то большому фильму (до сих пор не знаю ни его названия, ни авторов), в котором рассказывалась история юного браконьера, вылавливающего осетров на Оби. Сначала, увидев необъятные просторы Приобья, запечатленные на все той же тускловатой пленке «Свема», я подумал, что сейчас потечет все та же привычная, корневая сибирская, хрестоматийная лажа, но тут в тумане сблизилось несколько лодок с подвесными «Вихрями», и мужики, сидящие и стоящие в этих лодках, заговорили между собой так, как только в конце восьмидесятых они смогли заговорить, когда весь фальшивый пафос уже испарился.

Этот временной и социальный сдвиг конца восьмидесятых сразу становился ощутим, о каких бы временах и каких бы людях ни шла речь в кинопроизведении, будь это история девчонок-наркоманок в современной Москве или одиссея кронштадтских морячков, везущих порох в Ленинград через немецкую блокаду. В этом смысле интересно сравнить два фильма, сделанных на материале ГУЛАГа. Один из них, снятый, кажется, еще во времена «оттепели», рассказывает о бригаде зэков, не сломленных каторжными тяготами коммунистов, которые находят в распадке огромный самородок золота. После долгих дискуссий вокруг таежного костра, словно на театральной сцене, они решают сдать самородок на лагерный пункт приема. Пусть они стали жертвами несправедливых политических репрессий, но Родина выше этого, а ей нужно золото, чтобы бо-

роться с немецко-фашистскими захватчиками. Станным образом к концу этого в общем-то страшного фильма возникает ощущение рождественской сказки, и происходит это не из-за сюжета, а из-за лексической и интонационной неправды.

Второй фильм, «Кома» (режиссер Нийоле Адоменайте), рассказывал о женской зоне в сталинских лагерях на Колыме, но принадлежал он уже к новой формации – к питерской школе конца восьмидесятых – начала девяностых. Здесь речевой поток отвергает всякую возможность существования коммунистов на котурнах – и даже не по содержанию, а по интонации, по бытовизне, по проборматыванию, по невнятице, когда ты понимаешь, что окружен реальной средой земного ада, то есть художественной киноправдой.

Кажется, отечественный кинематограф снова подходит к очередному сдвигу речи. Пока еще трудно сказать, в чем это будет выражаться.

С одной стороны, мы слышим выразительную, особенно «сквозь пистолетный лай», речь конкретных пацанов из «Бумера», инфантильные монологи стюардессы Литвиновой, японское полумолчание «Возвращения», с другой же стороны, надвигается речь ширпотреба, массированного кинорыннка, непрожеванного перевода – иначе говоря, «глобализации». Будем все-таки надеяться, что новый сдвиг будет произведен по воле талантливых одиночек.

# ШЕСТЬСОТ МЕТРОВ ПО ПРЯМОЙ

Первого января 2001 года на ночь глядя я приехал в город Биарриц, что стоит на высоком каменном берегу Атлантического океана, в юго-западном углу Франции, в пятнадцати километрах от испанской границы. Не знаю уж, что меня занесло именно сюда, именно в эту ночь. Я уже был здесь однажды года за полтора до этого странного путешествия, в разгаре летнего сезона. В те дни город и пляжи были заполнены толпами загорелых, среди которых преобладали юнцы с глазами, в которых не отражалось ничего, кроме океана, так называемые серферы, то есть «идущие по волнам». По вечерам на площадях играли джазисты и люди всех возрастов и рас свинговали рядом со столиками кафе. Не знаю, какой процент этих толп связывал этот город с воспоминаниями Владимира Набокова, что провел именно здесь свое «золотое детство». Думаю все-таки, что менее одного процента: я был среди них. Предполагаю, что именно та жаркая, блаженная стихия удачного сезона подтолкнула меня к то-

му, чтобы увидеть этот шикарный город зимой: писательское ремесло тянуло выстроить контраст.

Оставив чемодан в номере гостиницы, я отправился на прогулку. На темных улицах не было ни души. Светились витрины модных бутиков, агентств недвижимости и кондитерских лавок. Стоял какой-то постоянный ровный грохот, как будто где-то поблизости шел бесконечный товарный состав. Не сразу я сообразил, что это не железная дорога шумит, а бесконечный в своем волнении океан. В конце улиц с уютно светящимися окнами вздымались белые валы серфа.

Над одним из агентств по продаже недвижимости значилось, что оно является старейшим в этих краях, то есть числит свои дни еще с конца XIX века. Не менее двух дюжин фоток показывали, чем они сейчас богаты: несколько квартир с видом на море, а также «виллы», то есть отдельные дома с садовыми участками. Одна из этих картинок почему-то привлекла мое внимание. На ней был изображен белый домик на довольно крутом склоне: одно окно, стеклянная дверь, терраса в стиле сочинских здравниц тридцатых годов; перед домом красовалось дерево магнолии. Потоптавшись перед этим окном, я двинулся дальше и вышел на набережную. Под обильной луной в белой пене и в вихрях брызг воевали знаменитые скалы Биаррица. В голову пришла неожиданная мысль: почему бы мне не поискать какую-нибудь обитель в этом Зурбагане? Двадцать четыре года я уже тружусь профессором в американском университете, не достаточно ли? Почему бы не уединиться здесь со своим сочинительством? Почему бы не сократить ежегодные полеты в Москву на ширину Атлантического океана?

Утром я отправился на поиски. Оказалось, что риэлторских агентств здесь больше, чем бутиков и кондитерских, вместе взятых. Служащие с удивле-

нием смотрели на новогоднего покупателя, который к тому же почти не говорил по-французски. При изобилии предложений я почему-то не мог найти ничего подходящего: то слишком дорого, то слишком дешево. Только во второй половине дня я вспомнил о картинке, перед которой топтался прошлой ночью, то есть той самой первой картинке среди сотен непервых. Отправился в то самое старое агентство, и там меня встретил самый молодой агент по имени Стефан; он бегло говорил по-английски.

Тут же мы с ним помчались на южную окраину города. Минут через пять-семь его «Пассат» взмыл на вершину холма, и передо мной открылась обширная равнина с черепичными крышами, верхушками пальм, обширными пляжами с постоянным накатом волн и с замыкающими эту долину отрогами Пиренеев, похожими на столь милый моему сердцу Восточный Крым. Несколько секунд пребывания на вершине холма заполнились какой-то браваурной нотой вхождения в новый мир, после чего мы углубились в кварталы «вилл», чтобы через пару минут остановиться перед ожившей картинкой маленького строения в стиле сочинских здравниц тридцатых годов. Сильный бриз колебал ветви магнолии и потрескивал верхушками пальм. Что-то еще поразило меня в первый момент, но я не сразу понял, что это было.

Пока поднимались к дому, Стефан рассказывал о своем товаре. Отсюда до океана шестьсот метров по прямой, то есть если вы будете летать со своей крыши на дельтаплане. В доме сто двадцать метров жилой площади. За домом сад размером в тринадцать соток. Цена всей усадьбы полтора миллиона. К счастью, тогда они еще считали во франках. А доллар в тот год стоил почти восемь франков, то есть на нынешние деньги – евро и двадцать центов.

Слушая Стефана, я почесывал затылок, производил в уме какие-то неуклюжие калькуляции возможного кредита, взвешивал, так сказать, все «за» и «против». Наконец мы подошли к крыльцу, я поднял голову и сразу понял, что меня поразило в тот первый момент. Передо мной стоял большой, в два человеческих роста, куст, покрытый с ног до головы большими красными цветами с ярко-желтыми тычинками. Собственно говоря, он просто полыхал, что твоя «неопалимая купина». «Это красная камелия, – пояснил Стефан. – Начинает цвести перед Новым годом и цветет весь январь». «Ну, все ясно, – сказал я. – Теперь давайте уточнять детали».

Говорят, что именно так надо делать выбор: искать разные варианты, а потом возвращаться к первому впечатлению – особенно если к нему добавляется куст такого дерзновенного зимнего цветения. Таким случайным образом я и набрел на новую среду обитания.

В принципе в этой среде круглый год что-то цветет: в палитру этого склона добавляется то одна, то другая краска – сиреневые пятнышки, оранжевые огоньки, лиловые ореолы, то мальва начинает, то петунии, то ибискус, то гортензии. Ну а когда уже все отцветет и поистреплется под частыми бискайскими штормами, начинает полыхать красная камелия.

Иные друзья надо мной подтрунивают: вот, дескать, ты всегда считался мастером урбанизма, а теперь стал сущим ботаником. И впрямь, забираясь иной раз с целью сочинительства в это гнездо, откуда открывается вид сразу на две страны, Францию и Испанию, не считая уж распространяющейся на все это пространство Басконии, я становлюсь обитателем ботанического склона наряду со слоняющимися там соседскими кошками, пробегающими мимо собаками, воркующими

голубями и шустрými сороками. Пока не приехал туда великолепный Павел Лобков со своей группой НТВ, я, собственно говоря, не знал, как называются девяносто процентов моих зеленых сограждан. Лобков сильно меня продвинул в ботанических познаниях и даже высадил там юную пальму. В каждый новый приезд я хожу среди своих растений и, кажется, вступаю в какие-то особые, не вполне понятные, но ободряющие отношения и с дубом, и с кедром, и с олеандром. Впрочем, они ведь вряд ли знают, как я их называю, иначе я бы знал, как они называют меня, не так ли?

Летом 2003 года на огромной территории Европы несколько недель стояла патологическая жара. Воздух был неподвижен до такой степени, что окружающая природа казалась не живой картиной, а фотографическим снимком.

После долгого отсутствия весной 2004 года я вернулся в Биарриц и увидел, что наша гордость, дерево магнолии, находится в плачевном состоянии. Листья пожелтели и скукожились, иные ветви полностью облысели. Зашел садовник, печально покачал головой: дело, мол, плохо.

Нет уж, подумал я, надо все-таки побороться за эту особь. Подтащил шланг и несколько часов с короткими перерывами поливал дерево мощными струями воды от макушки до ствола. На ночь оставил струящийся шланг у подножия. Утром увидел, как дерево может почти немедленно ответить на такую массированную заботу. Среди явно оживших ветвей горделиво покачивались не менее семи распустившихся белых чаш. Дерево как бы говорило: спасибо вам, сеньор приезжий, за вашу аш-два-о с аминокислотами. Это вам, спасибо, мадам магнолия, за ваши чаши.

# ВМЕСТО МЕМУАРОВ

# ЖАЛЬ, ЕСЛИ КОГО-ТО НЕ БЫЛО С НАМИ

Беседы с Игорем Шевелевым

*Помню Василия Павловича Аксенова поднимающимся по лестнице в кинотеатре «Октябрь» – кажется, был 1980 год, какой-то джазовый фестиваль. Уже было известно, что он уезжает. А я не решился подойти, поздороваться, познакомиться.*

*Прошла целая эпоха, когда в 1998 году, в один из своих приездов в Москву, Василий Аксенов пришел в «Общую газету» на традиционную встречу журналистов. Так произошла наша первая встреча, началось личное знакомство с писателем, из книг которого во многом я был «создан» в молодости. За последующие семь лет наших встреч и интервью много чего произошло. Писались и издавались в России новые романы, на экраны вышел многосерийный телефильм по «Московской саге», прибавивший Аксенову миллионы читателей. Василий Павлович менял место жительства, переехав из разочаровавшей его Америки, где завершил преподавательский контракт, в Биарриц во Франции. По его словам, там работается не хуже, чем в советских до-*

*мах творчества 1960–1970 годов. А для общения с друзьями и впечатлений о непрерывном российском карнавале быстротекущей жизни остаются все те же визиты в Москву.*

*Ниже публикуются фрагменты бесед с В.П.Аксеновым с 1998 по 2002 год.*

## МЕНЯ ГОТОВИЛИ К ПОСАДКЕ ЕЩЕ ПРИ СТАЛИНЕ

– *Самый серьезный поворотный момент в вашей жизни?*

– Их было несколько. Главный – не эмиграция в Америку, а приезд, когда мне было шестнадцать лет, в Магадан, к маме. После одиннадцатилетней разлуки это было, по существу, знакомство с ней. Юность совпала с переходом в абсолютно другую жизнь, Магадан по тем временам был самым свободным городом Советского Союза, поскольку многие не боялись говорить то, что хотели. Им нечего было терять – ну отправят опять в зону, да и хрен с ним.

Я вдруг оказался в интеллектуальной среде. Мама была на поселении, и народ из бывших ээков тянулся к ней. Профессора, которые работали вахтерами или мыли полы, приходили каждую неделю, вели интереснейшие разговоры. Для меня это имело колоссальное значение. Мама начала меня знакомить с частью запрещенной литературы, читая на память. В частности, Пастернака, которого не только не печатали – это был сорок восьмой – сорок девятый год, – но и из библиотек изъяли. Тогда, кстати, и Достоевского убирали с полок. Мама мне читала Гумилева, Ахматову, Игоря Северянина, которого она почему-то очень любила. Именно там я получил интеллектуальный заряд.

Самый драматический момент – когда ее забрали второй раз и я остался в шестнадцать лет совершенно один. Было довольно круто. Я носил ей в тюрьму передачи, стоял в очереди. И видел толпы заключенных, идущих из порта в сторону карантинной зоны, – все с номерами на спинах, некоторые в кандалах. А мы жили недалеко, и каждый день я проходил мимо этих людей и невольно спрашивал маму: «Что это, кто это такие, как это может быть?» Но она не торопилась раскрывать мне глаза на происходящее. Однако прямых объяснений и не нужно было, я уже все понял. Я познакомился тогда с Советским Союзом.

*– Если бы у человека была возможность изменить что-то в прожитой жизни, что бы вы исправили в первую очередь?*

– Вы знаете, я жалею свои юные годы. Я бы иначе их прожил. Слишком много было бессмысленной пьянки, бессмысленных связей с людьми. Я не имею в виду любовные связи. Возникали какие-то нелепые дружбы, совершенно ненужные. Вообще юность под Сталиным вспоминается как полоса полнейшей бессмыслицы. Не знаю, как я из нее выкарабкался.

*– И каким бы хотели быть?*

– Если бы мне сейчас опять было восемнадцать и был нынешний опыт, я бы стал филологом, был бы гораздо более эрудированным. Обязательно изучил бы несколько языков. В то время иностранные языки вообще казались нелепостью. Потом бы я занимался индивидуальными видами спорта. Не в баскетбол бы играл с командой каких-то шалопаев, а занимался горными лыжами или парусом. Такими вот вещами.

А получилось, как мне кажется, какое-то потерянное время. Хотя на самом деле оно, может, и не было потеряно. Потому что в этой забубенной хаотической жизни возникало такое, я бы сказал, спонтанное сопротивление: «Да катитесь вы все к чертовой матери! Ничего я не боюсь!» И это давало какое-то определенное мужество. Но на самом деле я бы предпочел более цивилизованное время.

– *Это было как ощущение пустоты перед прыжком? Потом пришло ваше время, вы оказались на гребне волны?*

– Да, начиная с пятидесяти пятого года было очень резкое изменение. Я к этому времени оказался уже в Питере. А начинал студенческие годы в Казани, где меня, к счастью, выгнали из института.

– *Тоже медицинского?*

– Медицинского. Это опять мне подсказала мать и ее муж, доктор Вальтер. Они сказали: «В литературный тебя не возьмут, в университет тоже не примут, иди-ка в медицинский – в лагере врачи лучше выживают». А выгнали за анкету. Я соврал в анкете, не указал, что родители – заключенные. Там, правда, и не было такого вопроса. Но когда они это узнали, то стали готовить меня на посадку. С пятидесяти первого года я был уже в разработке. Я читал в архиве Татарстана кагэбэшное дело матери и нашел там справку о себе. Они запросили «дело Евгении Гинзбург» из Магаданского отделения в Казанское «в связи с началом разработки дела ее сына, студента первого курса Василия Аксенова».

– *Как же вам удалось тогда избежать тюрьмы?*

– Сталин сдох, и на этом все прекратилось. Но как запоздалый рикошет, меня изгнали из института. Уже после смерти Сталина. Я довольно быс-

тро восстановился. Поехал в Москву в министерство. Помню, как там какой-то пожилой чиновник посмотрел на меня всепонимающим взглядом и сказал: «Странно, что ваши товарищи предпринимают немного запоздалые действия». Меня восстановили, я вернулся в Казань и пошел на прием к ректору института. Был такой доцент Вясилев. Он говорит: «Вы что тут делаете? Вы же отчислены». Я говорю: «Дело в том, что я сейчас только из министерства. Там считают, что вы какие-то запоздалые действия предпринимаете». Он вдруг как заорет: «Мальчишка! Убирайся вон отсюда! Пошел вон!»

Я ушел. Прекрасно помню, как очень сильно хлопнул дверью. И вдруг меня восстановили. Видимо, он позвонил в Москву и ему сказали: «Давайте, давайте, восстанавливайте». И я сразу подал заявление о переводе в Ленинградский первый мед. Там моя тетка жила, мамина сестра, и я был под ее присмотром.

*— И это как раз совпало с новой жизнью?*

— Это совпало с «оттепелью». Ленинград, литературные молодежные клубы, какие-то настроения в воздухе, ощущение Европы. Помню, осенью пятьдесят пятого года я шел по набережной Невы. Была такая высокая вода, начиналось небольшое наводнение. И вдруг я вижу, что на Неве стоит немыслимо огромный авианосец под британским флагом. У нас таких кораблей даже не было. И рядом четыре эсминца. Британская эскадра пришла с визитом доброй воли. После сталинизма это казалось чем-то невероятным. Вижу, гребут английские моряки к набережной. Выходят гулять, девки на берегу визжат. И весь город вдруг покрылся английскими моряками. Сукно, загорелые британские морды, лощенные

офицеры у гостиницы «Астория». И вот в этот момент я понял, что времена изменились кардинально. Тогда все, видно, это поняли.

*– Первое ощущение будущего романа «Остров Крым»?*

– Тут же стали открываться выставки из запасников Эрмитажа – Матисс, Пикассо... Я начал ходить в литстудию, хотя, в общем-то, надо было медициной заниматься. У нас была там такая группа известных сейчас людей – Рейн, Найман, Бобышев. Заправлял Илья Авербах, студент нашего института, будущий кинорежиссер. Бродского не помню, он, видимо, мал еще был. С ним я познакомился году в шестидесятом. И вдруг сразу все выплыло на поверхность: крамольные разговоры, обмен изданиями Серебряного века. Помню Александра Горюничского студентом Горного института в мундире с погонами, такие у них были. Собирались, и он уже что-то пел под гитару. Вот такая питерская «оттепель»: танцы, рок-н-ролл, Невский проспект, где комсомолцы ловят стилияг...

*– Тогда другой жизни не надо было?*

– Да, было ощущение, что каждый день приносит что-то новое. В Питере вдруг оказалась масса всезнаек. Трудно представить, откуда они брали информацию. Помню, был такой Костя, фанатик джаза. Встречаешь его, он говорит: «Ты знаешь, в Гринич Вилледж открылся новый клуб “Половинная нота”», там такой молодой парень играет, Диззи Гилеспи...» Откуда это можно было узнать?

*– Начавшись, все тут же и было придушено?*

– Пятьдесят шестой год завершился трагически, удушением Венгрии. А у нас было много студентов-венгров. Мы с ними дружили. И когда бы-

ло подавление Будапешта, они страшно горевали. И кстати, один с нашего курса оказался участником восстания. Мы с моим другом Мишей Карпенко увидели в кинотеатре хронику – «Подавление контрреволюционного мятежа». Там такой был текст: «Контрреволюция не дремлет. В город съезжаются грузовики с вооруженными бандитами». И вдруг мы видим, что на грузовике стоит наш друг Жига Тот с автоматом. Такая толстая рожа, очень близко проехала. Мы пять раз ходили, чтобы удостовериться, что это он. Это он и был. Потом мы узнали, что он был арестован, довольно долго просидел в тюрьме. Но поскольку он уже был врачом, у него был диплом, то все кончилось достаточно легко.

– *Потом Москва, журнал «Юность»?*

– Да, я женился, моя первая жена, Кира, была москвичка. Но до этого я довольно долго жил в Ленинградском порту. Меня после института распределили в пароходство. Я должен был быть врачом на корабле дальнего плавания. А пока работал карантинным врачом. В конце концов визу заграничную мне так и не дали, несмотря на то, что родители были уже реабилитированы.

– *«Апельсины из Марокко» превратились в мечту?*

– Да, тогда я распределился на Онежское озеро в больницу облздраводела. Я там был единственный врач на довольно большом куске территории. Такой странный, сонный поселок. В глуши, в уединении я начал писать свою первую повесть «Коллеги». Года три назад я плыл на теплоходе из Москвы в Петербург. И вдруг в расписании вижу: поселок Вознесение. Тот самый поселок, где я тогда жил. Мы должны его были проходить в четыре часа утра. Я не спал. Белые

ночи. Прошло сорок с чем-то лет. Остановки не было. Мы тихо-тихо скользили мимо этого поселка. И вдруг я увидел эту больницу, которая как была тогда, так и стояла. И вообще все дома как были, так и стоят. Абсолютно никаких изменений. Как мираж. Никого нет, тишина, кое-где рыбаки сидят. И я подумал, я ведь мог вообще тут всю жизнь просидеть. Меня такая оторопь взяла...

*– Если бы не ошеломляющий успех «Коллег», так бы и остались?*

– Нет, не остался бы. Но вообще очень много моих друзей остались там, где они были, на всю жизнь. Многие друзья как жили в Казани, так и живут там. Очень часто – на тех же улицах. Я даже не знаю, что лучше – такая жизнь бродяжная, как у меня, или такое постоянство?

*– Не жалеете, что ушли из медицины?*

– Нельзя сказать, чтобы я был убежденным доктором по призванию. А тут в пятьдесят девятом году в журнале «Юность» напечатали два моих рассказа, довольно слабые, они прошли незамеченными. В следующем году подоспели «Коллеги», я не ожидал, что будет такой шум. Потом – «Звездный билет». Тут полный скандал. Уже тогда нельзя было без скандала сделать себе имя. Не то чтобы у меня от успеха закружилась башка, но я решил, что мне надо отдавать все время литературе, и медицину забросил.

Властителем дум я себя не чувствовал и даже не понимал, почему столько народу ломилось на мои выступления. Однажды в зале сидело полторы тысячи студентов, а этажом выше шумел танцевальный вечер, и я сказал: «Шли бы вы лучше танцевать...» Нет, они сидели и выясняли, как там, в «Звездном билете», была Галя верна герою

или нет. Когда снимали в Таллине фильм «Мой младший брат», там Олег Даль, Андрей Миронов и Саша Збруев играли главные роли, и после съемок они сидели в каком-то кафе в той одежде, в которой снимались – джинсики, какие-то курточки. И человек за соседним столиком говорит: «Вы знаете, ребята, тут вышел роман в “Юности”, вы очень похожи на его героев». Они говорят: «Так это мы и есть».

Сейчас, конечно, все изменилось. Если и осталась некоторая «культовость», то она не выходит за пределы межчеловеческого общения. Я был года три назад возле Керчи, там такой пустынный залив, я шел по кромке моря. Мне навстречу – молодой человек с собакой. Я присмотрелся и ахнул: мне навстречу бежал мой кокер-спаниель. «Боже, – говорю, – это копия моей собаки!» «Ушика?» – спрашивает тот. Человек знал даже про мою собаку... Таких примеров довольно много. В прошлом году был в Астрахани – жуткое место возле рынка, полуазиатская толпа, и вдруг из троллейбуса выскочил человек и несется ко мне сквозь толпу: «Я не верю своим глазам – это вы?» Оказался читатель. Профессор местного пединститута.

Я не жалею на невнимание читателя. И молодых людей встречаю, которые читают и увлекаются моими вещами. Другое дело, что в нашей литературной жизни сложилась враждебная среда. Враждебная ко всем вокруг, и в первую очередь к тем, кто либо своим образом жизни раздражает, либо местом проживания. Я думаю, что становлюсь некоторой жертвой этой автоматической вражды. Я не член тусовки и не могу впрямую защитить свои книги. Хотя сравнивая с прежним, грех жаловаться. Все, что я пишу, издается и переиздается. Помню, за три года до мо-

его отъезда ко мне пришли два товарища и сказали, что у них есть рукопись моего романа «Ожог» и чтобы я не вздумал его печатать за границей. Я говорю: «А где вы его взяли-то, этот роман?» Они говорят: «Это наша работа». И добавили фразу, изумившую меня благородством: «Только не подозревайте своих товарищей».

Давление было ужасное и со стороны Союза писателей, и со стороны Комитета. Просто ходили за мной, устанавливали подслушивающие устройства. Мы приезжали на дачу, а дворничиха общала: «Тут заходили три молодых человека, взяли лестницу, залезли на ваш чердак и что-то там делали». И потом они меня еще и предупреждали: «Знаете, вам надо быть очень, очень осторожным. Особенно за рулем». Так что в конце концов меня «уехали» с одновременным предложением отправить совсем в другую сторону.

В Америке я погрузился в университетскую жизнь. Вся моя «политическая деятельность» заключалась в том, что раз в неделю я приходил на «Голос Америки» и записывал текст. Иногда подписывал «письма».

Что до литературы, то мне не нравится, когда возникают литературные лжепророки, которые загодя формулируют теории, а потом начинают подверстывать к ним все. Даже романы пишут, чтобы оправдать теории! Для меня в литературе самое важное – спонтанность. не подгонять книгу под идеологическую или литературоведческую схему, а делать так, чтобы роман сам рос, сам командовал писателем. Я еще за три страницы до конца не знал, чем кончится «Новый сладостный стиль», пока вдруг в голову не пришла идея «археологического трупа». Труп, покрытый медом из расколовшейся амфоры и так окаменевший, и в нем герой узнает себя.

У меня есть роман: «Скажи изюм». Когда он вышел, здесь многие обиделись, что я изобразил в нем «Метрополь» и всех поименно оскорбил. На самом деле там нет ни Ерофеева, ни Попова, ни Липкина. Там есть продукты беллетристического соединения многих характеров. И тот же герой «Нового сладостного стиля» лично ко мне имеет небольшое отношение. Может быть, гораздо большее к Высоцкому, и одновременно к Тарковскому, и одновременно к Юрию Петровичу Любимову. И так во всех книгах. Я бы хотел считать себя беллетристом. Не больше, но и не меньше.

Мне кажется, что нигде в мире сегодня нет культовых писателей в прежнем смысле. Сэлинджер может делать себя культовым писателем довольно простым приемом – не писать ничего. Люди ходят, показывают друг другу: «Вот имение Сэлинджера», пытаются проникнуть внутрь, на них летят жуткие псы, которых спускает сам писатель. Вот так образуется культ. Или Воннегут заявляет, что больше не будет писать. Как будто боксер, который говорит, что уходит с ринга. А так в Америке все те же, кого мы знаем: Стайрон, Апдайк, Филипп Рот... Недавно натолкнулся в статье молодого критика на слова: «Апдайк и Рот – эти ломовые лошади американской литературы...» И там идет своя борьба поколений. Но не с такой звериной серьезностью, как у нас.

### ЗАТОВАРЕННАЯ БОЧКОТАРА ЛИТЕРАТУРЫ

*– Книга «Кесарево свечение», которую вы презентовали в нынешний свой приезд, весьма нетрадиционна по форме. Это роман, который включает в себя и прозу,*

*и пьесы, и стихи, объединенные единым сюжетом. Это что, новая литература XXI века?*

– Для меня это новаторская и в то же время программная вещь. Она отсекает закончившийся век и определенный период моей творческой жизни, за которым я перехожу в иную степень самовыражения. Возникал этот роман довольно спонтанно. Сначала были написаны три пьесы с одним героем. Потом я увидел, что могу их использовать в своем большом романе как своего рода паузы. Как глубокий выдох и вдох. Герои появляются уже в качестве сценических персонажей.

*– То есть, как я понял, пьесы были написаны раньше прозы?*

– Да. Сначала я думал, что это будет роман о молодом герое. Грубо говоря, о «новом русском» девяностых годов, хотя он и бывший филолог, бывший правозащитник, ставший в наши дни авантюристом. Но потом текст стал буксовать, и я понял, что мне нужен какой-то противовес этому герою. Так возник старый сочинитель, который очень сильно потянул одеяло на себя и сам превратился в главного героя. А молодой просто оказался его литературным детищем.

*– Для вас этот роман – принципиально новая страница в вашем творчестве. А нет ощущений изменения самой литературы в наступившем веке?*

– Появляются признаки очень серьезных изменений. Не исключено, что сам жанр романа может исчезнуть или стать другим. Во всем мире интерес к роману очень сильно падает. Возможно, возникнут какие-то иные виды самовыражения. А о романе будут вспоминать, как мы вспоминаем сейчас о Гомере или русских былинах.

– *Не читают романы, а что читают – короткие рассказы, детективы?*

– Нет, всё читают, но сочинительство само по себе переживает кризис. При этом в тех же Штатах открываются все новые и новые книжные магазины. Очень часто они работают до полуночи, в них какие-то кафе, оркестры выступают. То есть книжные магазины становятся интеллектуальным центром целых районов. Но покупают чаще всего книги образовательные – по истории, антропологии, психоанализу, мемуары. А вот литература самовыражения занимает все меньше и меньше места. Я просто вижу, как полки в книжных магазинах сокращаются – что в Париже, что в Вашингтоне. Раньше целая стена была занята классикой и современной литературой. А сейчас приходишь – осталось три шкафчика. А по всем отраслям знаний – невероятное количество книг, альбомов. И как ни странно, не уменьшается спрос на поэтические книги. Рядом с нами в Вашингтоне огромный магазин, так там даже открыли еще новые полки по поэзии.

– *Поразительно, уж поэзия, казалось бы, должна умереть первой!*

– А поэзия – вечный жанр. Если роману всего триста пятьдесят лет, то поэзии по меньшей мере в десять раз больше. Как человек начал бормотать во время камлания в пещере, так поэзия и возникла. И будет, пока существует человеческий род. А вот сочинительство, романная форма – это порождение капиталистического рынка. Бродячие сюжеты, движение героев. Роман – это чистый капитализм, как говорил Бахтин о Достоевском. А это все очень колоссально сейчас меняется. Это не значит, что исчезнет потребность байронического самовыражения. В романе обязательно дол-

жен быть байронит, с которым отождествляет себя читатель. Может, это останется, но примет совершенно другие, более индивидуальные формы. Может, это будет своего рода гипертекст: какой-то будущий властитель дум будет задавать тему и основные мотивы, а каждый, кто захочет, будет сам играть внутри этой темы.

*– Ну, пока что игра – прерогатива самого писателя. Ощущаете кураж во время писания романа?*

– Вы знаете, да. Вообще писание большого романа вызывает совершенно особое состояние. Я уже несколько раз испытывал что-то подобное. Дома меня в такие периоды называют «Вася Лунатиков». Я действительно в это время немножко витаю. В этом состоянии, когда глубокоходишь в роман, я не совсем понимаю, откуда что возникает и почему именно так связывается. Причем явно связывается по законам не поверхностной, а внутренней, мало объяснимой логики создания метафор. В этом состоянии у меня даже появляется желание рифмовать и ритмизировать какие-то куски прозы. Что я и делаю. Например, одна из глав «Кесарева свечения» – это, по сути, цикл стихов.

*– То есть вы себе в этот момент не критик и не судья?*

– Я себе не судья и даже не понимаю, почему мне вдруг хочется писать стихи, которые в обычной жизни я никогда не сочиняю. Года к суровой рифме клонят.

*– И дороги назад к реализму «Коллег» уже нет?*

– «Коллеги» – это такой примитив, о котором я даже говорить не могу. Своей вершины я достиг в «Кесаревом свечении». Именно в нем мое видение романа. Это новая форма и «новый сладост-

ный стиль», незавершенность и гармония в одно и то же время.

– *То есть роман идет вперед вместе со временем?*

– Время на самом деле идет назад. Каждый миг тут же становится прошлым. Мы идем не в будущее, а в прошлое. Например, когда слушаешь минималистскую музыку, в ней больше всего барокко.

– *Еще есть культурные открытия?*

– Я недавно нашел очень дешевое издание Французской академии: переписка русских вельмож по поводу Вольтера. Все открывается совершенно по-новому. Как все эти Шуваловы стремились отвратить Екатерину от вольтеровских штучек. Они очень боялись, что государыня отменит крепостное право. Сумароков говорил ей: «Где же вы тогда найдете слуг?» И отсюда возникли утопические романы того времени, направленные на одного читателя. На государыню. Там описывались счастливые общества неких славов из страны Светонии, окруженной западными Скотиниями и Игноранцами. Все рабы и хозяева счастливы, руководимые мудрейшей женщиной. Так они старались ее отвлечь от энциклопедистов. А той очень импонировало, что ее считали одной из их числа, – Дидро привезли в Петербург, Вольтер ею восхищался. Екатерина и на самом деле была достойна восхищения.

– *Это еще одна тема вашего романа?*

– Да, я хочу там коснуться женской власти. Это то, что нам сейчас нужно: возрождение женской власти в России. Именно XVIII век, три четверти которого правили женщины, внедрил у нас основы либерального общества. При крепостном праве была предьявлена антитеза диким мужланам этого

государства, которые иначе просто вырезали бы друг друга, погрузив Россию в кошмар. Анна Иоанновна дала волю дворянам. Прекрасная Елизавета вообще никого не казнила. Екатерина отменила пытки, запретила бить слуг. И масса других вещей возникла в государстве. А у нас до сих пор в правительстве заседает одна Валентина Ивановна Матвиенко. Надо хотя бы Пугачеву вводить в правительство. Есть в ней что-то екатерининское.

### СТОП, АМЕРИКА!

*– Василий Павлович, говорят, что вы уезжаете из Америки?*

– Да, постепенно. У меня в университете остались два весенних семестра. А так купили небольшой домик в Биаррице во Франции, на море. Это на Бискайском заливе. Там, кстати, Набоков провел свое золотое детство. Там Стравинский долго жил, Чехов. Вообще много было русских. В этом январе я был там две недели. В маленьком русском ресторане мне говорят: «Заходите к нам на старый Новый год, будут одни русские». Я зашел выпить шампанского. Ресторанчик набит битком, гул голосов – и ни одного русского слова. Это третье поколение русских, они языка не помнят, но знают, что 13 января надо встречаться. Поскольку по-французски я не говорю, то тем более ничто не будет отвлекать от писательства. Разве что траву буду подстригать.

*– Вы недавно написали, что кончилось время романа. Для романиста не слишком оптимистичное заявление.*

– Это была лекция, которую я прочитал по-английски в Университете Майами штата Огайо. Романы останутся, но как рыночный продукт, покупаемый в супермаркете вместе со стейком.

Умирает роман самовыражения и самоиронии, который достиг своих вершин в XIX и в первой половине XX века. Внедряться в анализ личности героя и его автора у нынешних читателей нет ни времени, ни желания. Возникла железная классификация: любовный роман, детективный, готический, женский, авантюрный и так далее.

– *Что же будете делать?*

– Искать своих читателей. Не бояться сужения их круга. Ни в коем случае не писать, подлаживаясь под рыночные вкусы. Писать так, как ты хочешь. Мне кажется, что и компьютерная технология может помочь в создании какого-то гипертекста, вокруг которого может возникнуть клуб активных читателей-соавторов, которые, имея основной текст, будут импровизировать наподобие джазовых музыкантов.

– *То есть это изменение формы романа, а не его умирание?*

– Это оптимистический сценарий. А есть простая точка зрения: никому вы не нужны. Сидите и сами себя...

– *Перелистываете?*

– Я хотел сказать: прочтите. Всюду отчетливые черты отталкивания от жанра самовыражения. Я читал интервью Антуана Галлимара, серьезного французского издателя, которому славу создал новый роман – Роб-Грийе, Бютор, Натали Саррот, Клод Симон и другие. Так вот он сказал прямо: «Сейчас бы мы их не стали печатать».

– *В Америке та же тенденция?*

– Если автор начинает умничать, если видит гротеск – возникает активное неприятие. Когда

у меня в Америке вышел «Новый сладостный стиль», было много рецензий. Как восторженных, так и враждебных. Очень влиятельный журнал «Нью рипаблик» напечатал большую статью: «Остановите карнавал. И Аксенова в особенности!» И остановили. Мой последний и лучший роман «Кесарево свечение» мне там завернули. Сказали, что он такой же, как «Новый сладостный стиль», а тот продавался плохо, всего семь тысяч.

*– Ну и хорошо, вы же русский писатель, а не американский!*

– Да, в России этот жанр еще популярен. Я только что прочитал два романа – Евгения Попова и Александра Кабакова. Типичные романы самовыражения. У них есть свои читатели. Моего «Кесарева свечения» продано тридцать тысяч экземпляров, и продажа идет. Значит, есть читатели. Значит, надо собирать свои манатки из Америки, как в восьмидесятом году из СССР. Я ведь, по сути дела, уехал не из-за «Метрополя», а спасая два романа – «Ожог» и «Остров Крым».

*– То есть сегодня это не только перемена места жительства?*

– Знаете, я работал в американском университете двадцать один год. Мне кажется, я рассчитался за гостеприимство. Я чувствовал себя в своей тарелке, мне нравилось работать со студентами. И там как-то знали, что я не только профессор, но и романист. И вдруг это общество указывает мне мое место: ты – профессор в отставке. А я не профессор в отставке. То есть я профессор в отставке, но, кроме этого, я еще что-то другое.

– До профессорства были Василием Аксеновым и после профессорства им останетесь.

– Да, Аксеновым. Так что на покой уходить не собираюсь. А от университета себя освобождаю. И возраст уже подошел.

– То, что прежняя жизнь закончилась, повлияет на творчество?

– Я надеюсь, что в Биаррице найду все, что мне нужно: сад, дом, море, отсутствие болтовни, компьютер. А захочу поболтать – на самолет и в Москву.

– Говорят, вы задумали новый роман о Франции XVIII века?

– Да, сначала я собирал материал, чтобы как можно ближе подойти к истории. Я собираюсь там говорить о многих серьезных вещах. А потом понял, что сугубый реализм у меня не получится. Роман опять-таки будет гротескным, иногда бурлескным. В центре его цикл полемик о принципах Просвещения. Но действуют там чудаки, русские агенты сыскной службы, дипломаты с понтом, которых натренировали на Францию.

– Не собираетесь братья за мемуары, Василий Павлович?

– Нет, у меня все уходит в беллетристику. На самом деле мы уже столько трепались о том, что было, что это уже неинтересно. Я люблю писать, когда не знаешь, чем дело кончится.

1998–2004

# ПРОЩАЙ, ХА-ХА ВЕК!

Беседы с Ириной Барметовой

## ОБЛИСКУРАЦИЯ АКСЕНОВА

*Не ищите это слово в словарях – его там нет, как и слова «плентоплевательство». Их придумал Василий Аксенов для своего романа «Вольтерьянцы и вольтерьянки», полагая, сидя в саду своего дома. Роман писался три года, почти столько же Аксенов живет во Франции, на берегу Атлантического океана. Ранее обитал на другом берегу того же океана. Первая публикация «Вольтерьянцев и вольтерьянок», которую предваряла эта беседа, произошла в журнале «Октябрь» в 2004 году, тогда же роман был удостоен Букеровской премии.*

*Живость повествования, обилие комических ситуаций, гротесковых образов, нагромождение невероятных событий, фантастических приключений, претендующих тем не менее на достоверное отображение реалий тех дней, – все это есть в романе Аксенова. Как говорил Пушкин: «Улыбка, взоры, нежный тон / Красноречивей, чем Вольтеры, / Нам проповедают закон / И Аристи-*

*пов, и Глицеры».* А еще автор виртуозно растворил в своем тексте цитаты, размышления, письма, суждения философа и Северной Семирамиды так, что поиски, кто что сказал и кто что придумал, станут для тех, кто впервые возьмется за чтение, делом увлекательным.

– Несколько лет назад я читал книгу о переписке Вольтера и Екатерины Второй, там много было цитат из писем, которые звучали своеобразным диалогом очень близких людей, чуть ли не влюбленных, даже с некоторыми моментами ревности. И я подумал: сочинить бы в английском жанре true stories which never happened – правдивые истории, которых не было, – такую как бы анекдотическую историю с ощущением правдоподобия, наполнив ее множеством достоверных деталей, не очень серьезную, как часто у меня бывает в начале, а потом углубить... Особенно меня пленяла идея встречи Вольтера и Екатерины. В реальности они не встречались, во всяком случае мы не знаем об этом, а здесь императрица назначила бы философу свидание где-то в Европе и на свидание выехала на стопушечном корабле... И так, между делом, начал заполнять альбом, толстый такой, различными сведениями об эпохе, деталями, именами, убранствами мундира Семеновского или Преображенского полков, выражениями, какими-то эпиграммами. Заполнил один, потом второй альбом: то так напишу, то поперек страницы, то косо, – в общем, набралась куча всего. Прочитал дневники Екатерины, которые, к сожалению, так быстро обрываются, серьезный фундаментальный труд супругов Дюранов – «Век Вольтера», без него я бы вообще не написал романа. Какие-то стишки вольтеровские переведил... Все это накапливалось, накапливалось – вдруг появлялся кусок прозы, например, выход линейного корабля в море... Потом

перескакивал к другому. Пока не почувствовал: можно начинать последовательное повествование. Сначала возник зрительный образ – двое юношей в треуголках, натянутых на брови, мчатся по обледеневшей дороге – тата-тата-тата, – они уже слились с конями, разбивают лужи замерзшие, закат над Северной Европой, на закате – тонкий месяц, все это такие видения Европы, и они скачут, скачут... Потом появились, как ни странно, клички лошадей – Тпру и Ну, потом иностранные – Антр-Ну, Пуркуа-Па, значит – они с фальшивыми французскими документами. И так вот два мальчишки стали секретными агентами...

– Это похоже на игру в роман.

– Вот именно – просто повествование, сочинительство. Никаких заранее подготовленных идей, планов, интересовало лишь, что получится с этим материалом в результате моей конструктивной такой деятельности. И это был главный кайф работы. Я не знал, что будет на следующей или через десять страниц.

– В результате этой деятельности получился старинный роман, по авторскому определению. Одним из героев которого, причем полноправным, является язык повествования. Он с самого начала властно заявляет о себе, удивляет и притягивает. В нем – сочетание в стиле рококо архаики с языком допушкинской поры, щедро одобренным калькированными французскими оборотами и словами... Коктейль, из которого, может быть, и вырос современный русский язык?

– Да, самым страшным для меня было – найти язык. Иногда я был на грани того, чтобы бросить все это. Потом все-таки удалось поймать интонацию, в которой можно было использовать архаику и в то же время наш день туда встроить.

– *Язык, как и полагается герою, в течение всего романа меняется.*

– Потому что по сюжету прошло сорок с лишним лет, и язык начала XIX века уже другой. А потом, в романе много о Вольтере, и надо было учесть его манеру речи. В сравнении с современным французским он говорил очень витиевато, с невероятными любезностями и преувеличениями. Примерно так, как сейчас французы завершают свои письма: «Примите мои уверения в совершеннейшем почтении»...

– *Да, все эти гламурные штучки.*

– Эти гламурные штучки у него естественны, когда он обращается к Екатерине: «льщу себя мыслью», «ласкаюсь увидеть вас», «повергаюсь к ножкам невиданной красоты», «ваши ручки известны всей Европе» и так далее и тому подобное.

– *Приведенные в романе вольтеровские письма тонально для современного читателя приторно-льстивы. Но Вольтер не был льстецом?*

– Вольтер льстецом был. Невероятным льстецом. И в романе я не преувеличиваю, а лишь привожу оригинальные тексты, над которыми трудились переводчики императорского двора.

– *Может быть, это такая дипломатическая хитрость Вольтера?*

– То ли это хитрость, то ли естество... По-моему, все же это было его естество.

– *Как же лезть могла сочетаться с иронией, вольнодумством, сарказмом Вольтера?*

– В этом-то и сложность его личности. А еще, надо вам сказать, Вольтер, если выразаться современным языком, был немыслимым пиарщи-

ком. Он обладал грандиозными связями в аристократическом мире и уж никак не упускал возможности умело пользоваться ими.

– *Вы хотите сказать, что философ знал толк в бизнесе?*

– Еще как! В определенный момент своей жизни он понял, что должен стать богачом. Премьера «Семирамиды» принесла четыре тысячи ливров – серьезные деньги по тем временам, и он сразу отдал деньги в рост. Через «нужных» людей доставал подряды для армии, поставлял в армию сукно, провиант, что-то еще и колоссально разбогател. И все это сочеталось в нем с искренним огромным вниманием к униженным и оскорбленным, с борьбой против лицемерия... *Ecrasez l'infame.*

– *«Раздавить гадину» – так у нас переводили это вольтеровское выражение, мне понятнее все же «Раздавить лицемерие».*

– «Раздавить лицемерие» – намного шире, потому что направлено было не только против церковников, религиозного фанатизма, но и против сословий...

– *Однако Вольтер родился в зажиточной буржуазной семье.*

– Вольтер был сыном нотариуса – в те времена очень средний класс, вначале Вольтера не жаловали в высшем свете. Помните случай, когда в ложе театра на пренебрежительный вопрос одного аристократа, как там вас называть: Аруэ, что ли, или Вольтер? – Вольтер ответил: мое имя начнется со мной, а ваше засохнет с вами.

Во Франции тогда было принято, чтобы поэта приглашала к себе на проживание какая-нибудь

покровительница-аристократка. Когда Вольтер находился при «дворе» маркизы дю Шатле, внешне казалось, что она его содержит. Но на самом деле ее муж, маркиз дю Шатле, отдал им развалившийся замок в Сирэ (Шампань), который Вольтер отремонтировал, обставил и жил в нем на свои деньги. Маркиза была мотовка, он покупал ей платья, платил ее бесконечные карточные долги и прочее и прочее, обожал ее.

#### ГИПЕРССЫЛКА:

«Кое-кто из старых недотрог нападает на нее, но она одна делает больше добра, чем они вместе вместе. Она не допустит ни малейшей несправедливости даже ради большой выгоды; она дает своему любовнику лишь великодушные советы; она заботится только об его добром имени, ибо ничто так не подвигает на благие дела, как любовница, которая является свидетельницей и судьей твоих поступков и уважение коей ты хочешь заслужить»  
(*Вольтер. Мир, каков он есть*).

Счастливейшие годы пребывания в замке сильно пошатнули его состояние.

– *Вольтер у нас порядком подзабыт, на нем незаслуженно лежит печать чего-то скучно-затупленного, хотя философствовал он как бы мимоходом, шутейно, чем и восхищался Пушкин.*

– У меня такое ощущение, что он и сам говорит: «Я не настоящий философ». Он им и не был. Монтескье, Дидро – философы. Д'Аламбер – человек колоссального интеллекта. А Вольтер немножко поверхностный такой... Но он был демиургом. Мне захотелось, что называется, освежить представле-

ние о нем. Сказать, какой он был неотразимый человек огромной созидательной силы. Ему никто не мог отказать, все аристократы бросались ему служить, народ распрягал его экипаж и тащил на себе карету – так все безумно его любили. Откуда бы это все взялось, если бы он был скучным? И поэтому у меня он вспоминает свои любовные дела, и своих друзей, и мадемуазель Лепинас, и Эмили дю Шатле. Кстати, Эмили была далека от идеала красоты того времени и считалась в ту пору уродиной. Так вот, я написал эпизод, как дю Шатле входила в блистательном макияже, в бриллиантах и в шуршащих юбках, которые так резко отбрасывали ее ноги. Вольтеру казалось, что она шла по какому-то помосту, то есть дефиле. Это – современная красавица высокого роста с длинными ногами.

*– Не только эта красавица подиума кажется нашей современницей – семидесятилетний Вольтер у вас предстает не стариком XVIII века, а личностью с феерической харизмой. В принципе если какому-то политику или писателю сейчас создавать имидж, то следовало бы многое позаимствовать у Вольтера.*

– Да, это модель в какой-то степени. Нам не хватает такого, как Вольтер. Не вождя, который поведет за собой армии, а вот духовного лидера, который сдержит и революции своим обаянием, и будет чувствовать социальную справедливость, и будет просвещенным, элегантным человеком с большим чувством юмора. Эпатажным, да, забавным, то есть смешным, как Вольтер, который ходил на своих каблучках. Но, увы, нет даже намека на такого человека в нашем обществе. Александр Исаевич хотел, конечно, стать властителем дум, но вообще время властителей дум прошло, литература сейчас не может состоять из властителей дум, это совсем другое...

- Но Вольтер не был литератором в чистом виде...

- Не был, скажем, романистом. Он написал один роман, вся остальная проза – это «parables», то есть притчи. Либеральные притчи с намеками, с массой подтекстов, контекстов именно политического, вольнодумного характера, страстные трактаты о толерантности, написанные всегда легким, общепринятым языком.

- Действие романа происходит в 1764 году, когда Екатерина только-только взошла на престол и решалась дальнейшая судьба России. Вольтер видел в Екатерине молодого монарха, в котором можно развить республиканский дух, привить либеральные идеи для создания гармонического общества. Сейчас в который раз (!) решается судьба страны и судьба либеральных идей.

- Поразительно, но та ситуация совпадает с сегодняшним днем, с нынешними разговорами о создании либеральной империи. Во Франции «философы» разрушали религию и в то же время боялись революции. Надо сказать, они никогда не думали, что победят: в шестидесятые годы они просто обалдели, когда вдруг увидели, как широко распространился нигилизм. Кстати, хочу заметить, как меняются понятия. На Западе вольнодумец – это всегда атеист, при советской власти вольнодумец – это верующий. Так же нигилизм. Нигилистом в Европе был человек, отрицающий материю, но стоящий на стороне идеального понимания жизни. А у нас в шестидесятые годы XIX века нигилист – это Базаров, который стоит только на стороне материи, – полностью противоположное понимание. Конечно, Вольтер и Дидро надеялись на либеральную империю. Они видели в Екатери-

не идеал правительницы. И потом, она была прежде всего женщиной, двухсотпроцентной женщиной, и это как-то влияло на все. Если вы заметили, в романе к ней ластятся животные: коты, собаки, птицы... И так было в действительности, меня просто это поразило: лошади ее обожали, не говоря уже о мужчинах, – мужчины ее очень любили. Это был не просто разврат. Всякий раз она по-настоящему влюблялась, императрица могла босиком пробежать по всем анфиладам дворца к любимому... Такой вот тип правительницы. В общем-то, России безумно повезло: семьдесят пять лет из ста в XVIII веке правили женщины. После чудовищного мужского хамства и кровопролитий, беспрерывных войн появились такие, пусть несовершенные, и Анна Иоанновна, и Елизавета Петровна и, наконец, Екатерина – это уже следующий этап.

– *Если Елизавета Петровна пригласила в Россию Раффелли, то о Вольтере не желала и слышать...*

– Елизавета была менее образованной, более импульсивной. Она же обладала аналитическим умом. Хотя тоже была женственна, скажем, велела отменить смертную казнь, пытки еще оставались. Екатерина всегда была против пыток. Когда честолюбивый офицеришка Мирович, пытавшийся вызволить Иоанна – узника Шлиссельбургской крепости, оказался в руках правосудия, должно было неминуемо пройти дознание. Встал вопрос: применять ли пытки? Вот это и вызвало страшную внутреннюю борьбу Екатерины. Панин ждал, что Екатерина скажет: никаких пыток! А она говорит: это целиком оставляю на решение Сената. Аристократы были шокированы, считали это позором. Противоречие это терзало ее

в течение всей жизни: запросы либеральной души и требования империи.

*– Зло в романе предстает всяческой чертовщиной – то птицей пролетает, то кошечкой-мышечкой пробегает, то существами бестелесными шуршит... И это вначале даже забавляет и не кажется столь угрожающим и разрушительным для героев. Перекликается ли ваше представление с Вольтером, который в «Кандиде» не оставляет никаких иллюзий – зло неодолимо?*

– Зло неодолимо, но, помните, последние слова Кандида: «Il faut cultiver notre jardin». Все-таки сквозь все ужасы он приходит к маленькому садику, который надо возделывать. А чертовщина и Пугачев рассматривались во всей Европе, и не без причины, как результат духовной революции, подготовленной энциклопедистами. На самом деле, конечно, Пугачев и не знал о них, но я его нарочно внедрил в криминальную среду, действующую в романе: то ли он, то ли не он – Казак Эмиль, то ли страшная рожа с клыками – Барбаросса, понимаете, «план Барбаросса», – все это ассоциации.

*– Как была придумана вся история встречи Вольтера с Екатериной?*

– Вообще сначала я думал написать просто: как Екатерина приезжает, такая вот дама прекрасная входит – и все. А потом что-то мне стало от этого неудобно. Вспомнилось, что тогда очень увлекались маскерадами, была странная такая вещь – андрогинность петербургского двора. Елизавета приказывала кавалерам приходить в дамском одеянии, а дамам в мужском. Сама очень любила носить мундиры. Екатерина то же самое – безумно любила переодеваться. И как-то призналась, что она в таком виде объяснялась в любви одной даме.

## ГИПЕРССЫЛКА:

«После коронации в 1763 году были маскарады как при дворе, так и у Локатели. В одном из сих надела я офицерский мундир и сверху онаго розовую домину и, пришед в залу, стала в круг, где танцуют. Княжна Настасий Сергеевна Долгорукова, оттанцовав, остановилась предо мною и начала хвалить ей знакомой молодую девицу. Я, позад ея стоя, вздумала вздыхать и половину голосом, наклонясь к ней, молвила: “Та, которая хвалит, не в пример лутче той, которую хвалить изволила”. Она, оборатясь ко мне, молвила: “Шутишь, маска; кто ты таков? Я не имею честь тебя знать. Да ты сам знаешь ли меня?” На сие я ответствовала: “Я говорю по своим чувствам и ими влеком...” Она спросила: “Маска, танцуешь ли?” Я сказала, что танцую. Она подняла меня танцевать, и во время таницу я пожала ей руку, говоря: “Как я щастлив, что вы удостоили мне дать руку; я от удовольствия вне себя”. Я, оттанцовав, наклонилась так низко, что поцаловала у нея руку. Она покраснела и пошла от меня. Я опять обошла залу и встретила с нею. Она, увидев меня, сказала: “Воля твоя, не знаю, кто ты таков”. На что я молвила: “Я ваш покорный слуга; употребите меня к чему хотите; вы сами увидите, как вы усердно услужены будете...”» (*Записки императрицы Екатерины Второй*).

Это – не просто переодетая Екатерина, это – некий мускулинический фантом, ее мужское «я». В романе также переодеваются, чем создается атмосфера двусмысленности: вроде бы все любовники всех, все смущаются – как это произошло – и с кем они были, не совсем понимают. И Вольтер ловит себя на мысли, что влюблен в Фон-Фигина. Влюблен и очень боится этого. Ему в Сан-

Суси Фридрих, совершеннейший гомик, подсовывал своих адъютантов и очень разочаровался, когда тот не соответствовал... А тут нате – безумная страсть к мужчине... Вот такая началась игра. Это, конечно, маскарад, сомовский маскарад.

– *А можно это представить и как заигрывание с читателем.*

– Нет, нет и нет! Мне тоже приходило на ум, что могут подумать о некоей спекуляции. Но надо все время иметь в виду – это женственный век. С одной стороны, он приносит либерализм и терпимость, а с другой – вот такие странные ситуации, курьезные даже. Соединение полов, когда мужчины носили драгоценности, завивались, пудрились, даже солдаты отращивали длинные косы, заплетали, салом намазывали – и вот так сражались... Почему, откуда это все взялось? Причем далеко не все были определенной ориентации, абсолютно нет, но вот такой стиль, мода. Это – выражение женственного века. Потом это стало не так явно. Трудно сказать вообще, что такое гомосексуализм. До сих пор это не понято человечеством и как он распространялся. Ведь нельзя сказать, что с развитием цивилизации все больше, больше. Напротив, в древнем, античном мире его было гораздо больше.

– *Конечно, в Греции, в Риме...*

– А потом настало царство суровой религии, а его стало меньше, да?

– *Внешне – может быть.*

– Ницше говорил, мы – «гомо сапиенс» – переходная раса, не окончательное развитие человека. Что следующий – «человек будущего» – появится. Он имел в виду не сверхчеловека, а сле-

дующего человека. Не исключено, что тогда не так четко будет выражено различие полов. Вот в моем романе Вольтер, когда преобразился в дерево, спрашивает: «Где ты погиб, Миша, в каких боях?» И тот отвечает: «В бою между духом и плотью». Плоть, как всегда, победила. Та самая мысль, которую вложил когда-то Вольтер в душу Миши, о смехотворности нашей любви: почему Господь не дал нам какого-то другого выражения любви? Почему за любовью обязательно стоит такой ридикульный акт?.. Вот эта вот плоть, тяга плоти, не будь у Михаила этой Маланьи, он бы пожил лет десять, правда? А тут вернулся из Польши с деревянной ногой муж Маланьи...

*– Когда вы сейчас так рассказываете, получается слишком просто, а в романе это звучит роком.*

– Это рок и есть. Потому что все в сочетании: такая метафизика драматургическая, физическая драматургия.

*– Авантюрный сюжет, элементы плутовского романа и гривуазной новеллы продиктованы не только XVIII веком, но и самим Вольтером, для которого «все жанры хороши, кроме скучного». Без диалога Вольтера и Фон-Фигина в романе осталась бы прелесть приключений и безудержной фантазии, но был бы утерян главный смысл написанного. Вы не побоялись так много места уделить философии?*

– Нет, философия проходит через весь центр романа, где идут дискуссии, в день встречи Вольтера и Фон-Фигина. Здесь и черт появляется, объявляет себя атеистом и требует у Вольтера не увиливать и объявить, что Бога нет. А тот не может этого. В общем, здесь основное столкновение взглядов, идей, возникающий ужас лиссабонской катастрофы 1755 года, циничных разговоров

в салоне мадемуазель Лепинас. Я очень долго с этой главой возился, уже все было закончено, и только тогда я стал ее выстраивать.

– *Живописные описания русских имений – с чего начинается родина – это лишь вымысел?*

– Реальность. Я описал наше родовое, с папирной русской стороны, село – Покровское, Рязанской области. Огромное село такое, раскиданное на холмах. Как при царе Горохе, так и сейчас стоит, по-моему, без особых изменений. На холмах было много усадеб помещичьих: там не один был помещик, много. Когда я первый раз приехал туда с отцом в начале шестидесятых, мне рассказывали, что на одном холме, вот тут вот, барин пустил лебедей в пруды, там беседки построил... все стояло как одно целое. Электричества не было, воду из колодца поднимали журавлем... пьянка безумная какая-то... родственница Таня утром нам с отцом выносила яичницу из двадцати яиц и бутылку мутного такого самогона. На наши возражения отвечала: «Вы же на отдыхе...» В избе – корова, куры... Вот я и стал представлять, как жили эти самые Миша и Коля, эти помещики, в Покровском. В романе и название села осталось. Их много, тысячи покровских есть в России, но именно эта глубинка описывается мною, и речка Мастерница, и все-все. И вот отсюда взялись эти юнцы.

– *Эти юнцы – молодые аристократы – абсолютно новое поколение, с которого, в общем-то, и начались идеи русского европеизма. Отличительное поколение во времена Вольтера называлось во Франции «шестидесятники», а через двести лет – вновь «шестидесятники», уже в России. Такая параллель – случайное совпадение или продуманный ход?*

– Все спонтанно возникало и закручивалось...

*– И что, «шестидесятников» всех веков и народов всегда неминуемо ждет разочарование?*

– Мне кажется, что век Просвещения еще не кончился на самом деле. Пока – мы на развалинах утопии, зародившейся в вольтеровское время. Мы еще не избавились от нее, мы только проходим через различные ее фазы. Возьмем, скажем, время возникновения Советского Союза. Французские философы, поэты, сюрреалисты двадцатых годов XX столетия были чистейшими вольтерьянцами, и они аплодировали со своей колокольни Советскому Союзу. Все – Андре Бретон, Луи Арагон и прочие – были страшными поклонниками этой реально вдруг возникшей утопии. Франция не смогла, а вот там, в России, все-таки возникло царство разума, чистого разума. Поэтому для них, для этого направления ума, гибель этой легенды, а потом и всей утопии была крушением основных ценностей.

*– Они быстро оправились и теперь говорят, что большевики в процессе реализации их ценности извратили.*

– И большевики извратили. Но тем не менее интеллигенция тоже уходит в метафизику – и во Франции, и везде. Единственная успешная революция XX столетия – это революция в искусстве. Она вдруг показала иные измерения видимого мира, о которых не догадывался никто: близость видимого и невидимого миров. Пересечение этих миров. И новокантианский взгляд на предметы вообще. Живопись, предположим, атональная музыка, новая литература – образная система совершенно иная. Вот это уже сдвинуло с точки некоторой схематичности, которая была у Вольтера. В его толковании хотя бы священных книг, священных писаний. Вольтер всегда высмеивал

непорочное зачатие. А одна из моих героинь говорит, на мой взгляд, большую мудрость: любое зачатие – непорочное. В самом зачатии есть сакральный момент... Среди порока, среди свально-го как бы греха, в организме любой шлюхи – не шлюхи, черт ее знает какой оторвы, происходит вдруг что-то священное...

– *После советской власти была еще одна попытка...*

– А вообще есть ли какой-либо смысл во всех этих попытках, или это просто бессмысленная, кровавая, чудовищная история – и все? С моей точки зрения, есть только один определенный смысл существования человеческой расы – это ее попытка самоусовершенствоваться. Я, кстати, в романе пытаюсь дальше развить то, что сказал в «Новом сладостном стиле» – об эволюции и творении. Идея творения и идея эволюции не противоречат друг другу. Эволюция – просто часть творения. Творение произошло, Адам ушел в прах, стал подниматься из праха, поднимался неисчислимые миллионы лет, а не шесть тысяч лет, превращаясь в каких-то там рептилий жутких, летя в виде птеродактиля и так далее, и так далее, – это все путь Адама. Это превращение Адама в человеческую особь. Миллионы лет проходили монотонно так, без представления о времени. А сейчас счет пошел уже на сотни.

– *Но разве Вольтер не делал попытку совершенствования человеческой расы?*

– Вольтер был необходимым ферментом человеческой цивилизации. Именно Вольтер. Хотя его можно представить как безобразного атеиста, предтечу фашизма, коммунизма и так далее и тому подобное. А можно представить как очистителя религии от лицемерия, необходимой лично-

стью, которая продолжит так или иначе поиск. И в общем, негативный-то опыт тоже весьма важен именно для движения человеческого духа, и даже движения человеческой идеологии, в каком-то намеченном, непостижимом еще для нас направлении. И в этом есть содержание пути Адама – пути самоусовершенствования.

В наши дни некоторые изменения тоже можно заметить. С одной стороны, чудовищный терроризм, когда темные силы ада действуют, направляя людей от жизни к смерти, глухой, черной смерти. А с другой – гуманитарные акции. Кого когда-нибудь волновало в XVIII веке, что Африка умирает с голоду? Сейчас это безумно волнует всех.

– *А там все равно умирают.*

– Умирают, но тем не менее туда направляются гигантские какие-то эскадры, эскадрильи с едой, с одеждой, с медикаментами. Мир сейчас планетарно озабочен проблемой избавления от СПИДа... Спасение, благотворительность. В этом есть некоторые моменты пути Адама: дальнейший отход от животного начала к духовным ценностям.

– *Как прежде бранным было слово «вольтерьянец», так ныне раздражает понятие «интеллигент», которое заменяется понятием «интеллектуал»...*

– Интеллигенции мало вообще осталось... Потом, какая она была – интеллигенция? Даже в конце XIX века? С одной стороны, остатки позитивистов, из них вышли большевики. Большевики – это и есть выражение вот этой интеллигенции. Большевики на самом деле – вообще люди XIX века, не XX. И Ленин почувствовал, что промахнулся, что уже в вагон XX века со своей революцией не вскочить. В XX век со всеми его физиками, математиками, теориями относи-

тельности, футуристическими выставками, абстракционизмом, философией экзистенциализма. Он не понимал всего этого, он был в ужасе, что они пропустили свое время, свою революцию. Его спасла Первая мировая война, потому что она затормозила XX век. И тогда он уже не в том, а в другом, в plombированном, вагоне приехал. Но это была власть XIX века, власть позитивистов, власть Чернышевского, Писарева... Интеллигенция сейчас должна быть другой по сравнению, скажем, с XIX веком. Вот мои герои Коля и Миша – предтечи байронизма в России – были отцами декабристов. Декабристское восстание – не что иное, как восстание байронитов, а уже за байронической фазой образовалось за пару десятилетий то, что мы называем русской интеллигенцией. Это властители дум, такие народовольцы, хождение в народ, большие такие прагматисты, в общем-то, атеистический такой мир, позитивисты, короче говоря. Это, я думаю, противоречит байроническому складу. Поэтому, мне кажется, если в России новая интеллигенция начнет возникать, она будет все-таки не позитивистской.

*– Неужели байронической?*

– Опять байронической. Даже у таких людей, как олигархи, проглядывают черты байронизма. Посмотрите, одному из них дают возможность бегства, он отправляется в тюрьму. Другой приезжает на территорию фактически Советского Союза под именем Платон Еленин. Разве это не байронизм?

*– Допустим, это первый признак героя-романтика, но разве данному байрониту не присущ практицизм?*

– Практицизм присущ, но для достижения своих байронических утопий. Он же не одер-

жим производством денег. Он делает их, но у него совсем другие идеи, куда их употребить. Он человек утопического склада ума. Если говорить об интеллигентах, то я не думаю, что это будет какая-то определенная модель. Ведь предположим, мы прошли через такое наивное движение неофитов в семидесятые и восьмидесятые годы, когда многие интеллигенты уходили в религию, полагая, что если вернется религия, мир будет совершенней. А сейчас мы испытываем серьезные разочарования в ортодоксальной религии. Она, к сожалению, становится слишком официальной.

*– Ну хорошо, возникнут байронические интеллигенты, и что они смогут сделать? Привить аристократизм духа?*

– Пожалуй. Они смогут создать новую атмосферу. Новую атмосферу жизни. Наш народ еще, прямо скажем, темный вообще-то. Ему до сих пор кажется, что за границей какие-то чужие совсем люди, для них гораздо ближе какой-нибудь хам, областной глава администрации, чем бизнесмены, финансисты, гуманитарии, благотворительные общества. С опаской смотрят на другие конфессии, экуменизм очень далек от них. Опять вера подменяется ритуалом веры, но не потащишь же всех за уши к философии. Хотя ощущение священности и таинственности необходимо развивать... То есть не развивать – культивировать, как сад.

*– Как говорят, по некоторым оценкам, десять миллионов разделяют в России либеральные идеи. Эти миллионы людей после выборов оказались за бортом...*

– При таком поражении, как вот мы испытали на думских выборах, сами виноваты, между

прочим, уж думаешь, что администрация нынешняя и эта партия «Единая Россия» – все-таки еще сдерживающий момент перед нахрапом людей нацистского толка, нацизма. Другого сдерживающего момента уже нет. В общем-то, я не политик, но мне кажется, нужно создать какую-то единую сильную партию. Назваться «Союзом правых сил» – значит обречь себя на поражение неминуемое, ну «Яблоко» – это еще непонятно, вкусно – можно куснуть, да? А «Союз правых сил» в сознании миллионов и миллионов людей – это значит союз буржуев с огромными животами и зевами. Этот стереотип жив до сих пор. Они вовсе не правые. Нас, например, в Советском Союзе называли левыми. Левые, фронтеры. Они должны быть фрондерами. Левыми не надо себя называть, но они либералы и демократы. А у нас либерально-демократическая партия – это партия Жириновского. Украли название еще при Советском Союзе – такой сатанински хитрый, дальновидный проект КГБ. И он сейчас всюду функционирует. Функционирует, отвлекая людей от настоящего либерализма, от настоящей демократии. Надо придумать партию, в которой не было бы среди лидеров амбициозных людей, отрицающих всякое содружество ради победы идей или не победы, хотя бы существования... И кто лидер? Может быть, какая-то новая креатура. Во всяком случае, в одном я согласен с Чубайсом – это не разгром, а поражение в одном сражении. Думаю, что, как ни странно, и правящая партия может быть в некоторой степени гарантом существования оппозиции. Потому что если придут разноглазьевы, будет очень неприятно. Вообще ситуация неприятная... Все эти разговоры о величии, всегда подкрепляемые каким-то ми-

литаризмом. А величия можно ведь и без армии достичь. Почему так или иначе, но все время мы и НАТО – враги?.. И все же тоталитарный мир всегда слабее либерального. Хотя это звучит парадоксально. Потому что он, как в анекдоте, «сильный, но легкий». Его можно выбросить в окно. И он рассыплется. А либерализм обладает какой-то вязкостью. Его вот вроде забили, вот как сейчас у нас забили, и пребывает он в ничтожестве, а потом начнется опять.

*– У вас есть рассуждение о возникновении времени: время наступает после изгнания из рая. Мы идем, и мы никак не можем ни вернуться в рай, ни создать его, мы просто идем по пути изгнания из рая.*

– Но когда мы придем или когда мы вернемся – время остановится.

*– А что за Пушкин-курьер блуждает у вас по Европе?*

– Какой-то родственник поэта. Он потерялся в Вене, его искали Воронцовы, Шувалов. Негодовали: куда пропал Пушкин? Ему совсем нечего было делать в Вене. У меня есть потрясающая книга «Письма к Вольтеру», изданная просто на европейском уровне Академией наук СССР в семидесятом году. Я купил ее в русском магазине в Вашингтоне. Вот Пушкин оттуда взялся.

*– Ваш друг мне поведал, что ваш любимый поэт Пушкин.*

– Да, я люблю Пушкина.

*– И кажется, даже кот у вас в доме...*

– Это пес тибетской породы. Когда жена увидела его впервые, он был без шерсти, совсем голенький, только бакенбарды висели. Она ах-

нула – да это же Пушкин! И так сразу и приклеилось.

*– Я ошиблась, но все же кот был и звали его – Онегин, а его хозяин – одинокий Стас Ваксина.*

#### ГИПЕРССЫЛКА:

«Вновь мы остались вдвоем с Онегиным в огромном доме. Кот не то чтобы постарел, но изрядно посolidнел. Притворный бандитизм в округе его меньше увлекает. Он любит теперь сидеть на столе в кухне и смотреть на папу, когда тот вкушает свой патентованный диетический ужин. Ты не один, как бы говорит он мне своими круглыми глазищами и подрагивающими усищами, мы с тобой вместе; мужчины, друзья. Я скоро догоню тебя по возрасту, если принимать во внимание ваш дурацкий расчет кошачьих лет – один к семи. Иногда лапой он берет какой-нибудь кусочек из тарелки» (*Василий Аксенов. Кесарево свечение. Глава под названием «Роман подходит к концу: народ разъезжается»*).

2004

#### ТЕЗЕЙ И ДРУГИЕ

*«Все, что должно быть сказано, уже было сказано, но поскольку никто не слушал, приходится все повторять сначала», – заявил Андре Жид и в 1946 году написал повесть о Тезее.*

*Это небольшое произведение стало чем-то вроде завещания писателя. Его Тезей, постаревший правитель Афин, рассуждает о том, каков путь создания идеального государства божественного подобия. Андре Жид спорит, даже не спорит, а так, как бы наносит «заметки на полях» платоновского «Государст-*

*ва». Создатель Афин – города разума и духа, Тезей прошел искушения, схожие с идеями философа, и уже на исходе своих дней освободился от иллюзий. Как в свою очередь и сам лауреат Нобелевской премии А.Жид полностью отрезвел от симпатий к Советскому Союзу, от коммунистического наваждения. Он убил своего Минотавра.*

*Одновременно с написанием «Тезея» во Франции в Москве создавались высотные дворцы. И высотка на Яузе стала дворцом Минотавра, сражаться с которым предстояло другому Тезею.*

*– Тезей Еврипида и Сенеки – классический герой, Тезей Плутарха – государственный муж. Тезей Андре Жида – законный правитель, побуйствовавший в молодости, резонирует в зрелые годы... Какой Тезей Аксенова?*

– Для меня мифологический Тезей – боец, можно сказать, спецназовец какой-то... Он ведь убил множество людей, зверей; сек всех направо-налево. И лишь когда он вошел в Лабиринт, чтобы спасти принесенных в жертву семь прекрасных дев и семь юношей, он сделал это не для того, чтобы стать героем, а для благородной идеи – освобождения афинян от злодея. А потом как следствие Афины стали городом духа. Греческие герои – часто полумифические, полуйсторические фигуры. Они вообще были дети частично смертных, частично богов. В размытости, перетекаемости смыслов и заключается сила античности. В романе «Москва Ква-Ква» образ Тезея, конечно, преследовал Кирилла Смельчакова, он всегда смутно идентифицировал себя с Тезеем. Смельчаков не был певцом Сталина, но он искал идеал божества, а в результате увидел черную черноту, черноту чернее черноты... И он ощутил себя врагом

черноты, врагом Минотавра. Недаром Ксаверий Ксаверьевич после выступления поэта Смелычакова в Московском университете, где тот читал стихи о Тезее, так испугался. Он догадался, что в образе Минотавра можно зашифровать Сталина. А поэт ему ловко ответил: «Ничего подобного, это Пентагон». Наврал, короче говоря. Но сам-то Сталин сразу его раскусил. На даче после прочтения поэмы Сталин заявил, что у него есть острое чувство врага, он всегда распознает врага. И потом, после его уничтожения, выясняется, что он действительно был враг. А есть также острое чувство друга. «Вот ты написал яркую антисоветскую поэму, но я тебе ее никогда не поставлю в вину, потому что ты – друг».

*– Человек не был свободен, никогда не будет, и нехорошо, если будет, – так рассуждает Тезей Андре Жида. Не значит ли это, что человек живет не вполне своей жизнью? И следовательно, все, что говорит, есть ложь по определению, всего лишь обоснование собственных ошибок и заблуждений?*

– Видимо, творческая интеллигенция того времени, как я представляю себе, мучилась из-за необходимости славословить Сталина. Поэтому искала любое оправдание: «Неужели же мы такие ничтожества, что можем какому-то жалкому политическому авантюристу петь осанну? Все-таки очевидно, что в нем есть нечто историческое, есть нечто мистическое». И Кирилл видит в нем мистического бога. Он утешает Глику, что ничего, Сталин умрет, как мы все, но станет Богом. Вот будущей нашей новой религии мы все и служим, неоплатоновскому государству служим. Но возникает ужас черноты: там не Бог, а бык его ждет.

– Платон формулирует постулат, который он называет центральным и наиболее важным политически: требование верховной власти правителя-философа.

– Есть что-то, что соединяет, казалось бы, такие далекие эпохи. И в общем, неоплатоновская идея – это мечта Смельчакова да и Моккинакки тоже. У меня нет никаких весомых доказательств, но смею думать, что та интеллигенция, которая вроде бы уцелела после жутких чисток, она как бы предлагала верховному вождю быть при нем в качестве правителей-философов в платоновском понимании, таких как бы толкователей происходящего. И каждый период, свободный от массового зверства, они, возможно, пытались использовать для влияния на верхушку. Писатели, предположим, как Эренбург или Твардовский, Пастернак, в очень большой степени Симонов...

– Однако Пастернак был так далек от власти!

– Далек. Он, конечно, не собирался становиться членом Политбюро, у него и в мыслях этого не было, но истолковать вот такую неминуемую власть, с которой можно жить и строить утопическое общество, он пытался. Он был под аурой революции, всей этой очистительной бури, пронесшейся над страной...

– Но самообман проповедников-толкователей – это обман других.

– Конечно, конечно. Но желание самооправдания... Понимаете, если признаться самому себе, что живешь вот так лишь оттого, что боишься пыток – не смерти боялись, а пыток, то это значит – ты ничтожество и жизнь бесцельна. Поэтому, возможно, они думали: ну наконец-то

эта власть придет в себя, они уже нажрались насилия и поймут, что такое народ, что такое будущее вообще и какое будущее они готовят. И всем кажется – ну все, не будет больше ужаса и мы все-таки действительно станем активными членами этого общества, еще не зная, что задумано чудовищное злодейство, задумано «дело врачей», высылка всех евреев в Сибирь. То есть уничтожение. Задумана оккупация Югославии. Они же собирались туда входить. В романе, конечно, все в гротескной форме, когда Сталин говорит, какие дивизии куда пригнать. Тито сам был мини-Сталин, конечно. И я не исключаю, что он действительно предложил объединиться СССР и Югославии. Это взято из дневников Джиласа. Сталин сначала согласился, а потом испугался, что Тито его убьет и станет единственным вождем. В романе недаром Тито говорит, что мы должны устранить Сталина для спасения мирового коммунизма.

*– Попытка интеллигенции оправдать свое существование была обречена?*

– Она не была оформлена, это была подспудная идея...

*– Есть две версии, каким был Лабиринт. Первая – это подземелье, где прятался звероподобный Минотавр. По второй версии царь Крита Минос приказал пленному архитектору Дедалу построить на берегу моря дворец с множеством комнат, переходов, этажей. И так хитро был запутан план дворца, что все вело в одно помещение, где находился Минотавр. Ваша Яузская высотка – это дворец-лабиринт?*

– Конечно, дворец. На вершине Лабиринта блуждают люди, все мои герои, там их ждет чернота...

– *Интересно, как мысль, идея писателя последовательно «комментируется» архитектурой. Дом на набережной послужил Юрию Трифонову для его реалистического романа о судьбах людей, так или иначе связанных с революцией и преобразованием государственного строя. Стоит немного пройти вдоль реки – и появится другой дом – Яузская высотка, дом-эпоха, которому было определено стать символом той власти. И этот дом вы заселили героями уже полумифическими и полуреальными; у них грани перехода одного в другое нечетки и почти неуловимы. Два разных романа, как два разных дома.*

– Как-то я вообще не связывал свой роман с «Домом на набережной»... Там, на набережной, и архитектура другая, конструктивистская. А конструктивизм не был вершиной социалистического рая, лишь подходом к вершине. Архитектор Дмитрий Чечулин, кроме того, что изобразил, а потом воплотил Яузскую высотку, еще и нашел потрясающее место для этого дворца.

– *Как для храма – на Руси абы где храм не ставили.*

– Да, как для храма. Яузская высотка – это дом, который построил Джек, дядя Джо, Сталин. Сталин понимал, что скоро уйдет, и где-то совсем глубоко чувствовал, что после этого начнется движение вниз всего общества, которое он создал. По какому-то наитию возникает у него желание увенчать вершину социализма дворцами. Отсюда и высотки, их всего было восемь: семь в Москве, а восьмая в Варшаве. Яузская высотка – это, между прочим, потрясающее творение. Я стал на нее иначе смотреть. Раньше отмахивались – кошмарный сон кондитера. А сейчас вижу, что это – удивительные пропорции, какая-то гармония того общества, мистика.

– У вас Москва описана в романе как город мечты, город утопии.

– Совершенно верно, большевистская утопия в своем зените. Образ Москвы, ее реки как кристальнейшего потока воды... И все это... Купальни, девушка с веслом, байдарки и так далее... Я помню, мне было тогда, как Таку Таковичу, 19 лет, сам купался на ступенях Парка культуры и отдыха. Кроме ЦПКиО были еще разные купальни. Москвичи, купающиеся и загорающие, соединяются у меня с Сиракузами... Там же и Платон обретался...

– Откуда название «Москва Ква-Ква»?

– Даже не знаю, вот не знаю. Когда закончил роман, никак не мог найти подходящего названия. У меня героиня Эшперанца, звезда Надежды, говорит: «Ты знаешь, мне нравится твоя кваква». Она так сказала, и вдруг мне пришло: вот это и есть название. Москва Ква-Ква. В свободном переводе с французского «куа-куа?» можно считать формой вопроса «Что-что?»

– Сталинская стипендиатка, студентка журфака МГУ, спортсменка Гликерия Новотканная на балу Ариадны из девочки в длинном платье превратилась в Федру. Лишенная божественности жена Тезея Федра покончила с собой земным способом: у Еврипида вешается, у Сенеки закалывается. Федра Расина принимает яд. У вас она принесла себя в жертву?

– Гликерия – дева предельной пуританской чистоты. Это парящая дева социализма. Недаром она жалеет, что нет монастырей, а то бы она ушла в социалистический монастырь. Разверженная сталинскими плейбоями, она уже не может существовать как героиня, поэтому уходит.

– Она убивает Минотавра, своего бога, да еще так необычно: «Дорогой товарищ Сталин, наше божество! От имени советской молодежи я хочу преподнести вам эту удивительную шаль, дающую длительное ощущение нежности!»

– Да, она убивает Сталина. Существует миф, по которому Сталин не умер своей смертью, просто плохо себя почувствовал, у него был криз. И все приближенные собрались на его даче, а Берия приехал с какой-то девушкой-медработником и втолкнул ее в комнату вождя. Она накинула на Сталина какое-то покрывало и убежала. После чего Берия закричал: «Тиран мертв!» Возможно, это покрывало было отравлено. Почему нет?

– У вас отсылки к древнегреческим мифам сплетаются с рожденными сталинской эпохой мифами о Москве. Как будто существовали ядовитый покров Гликефии, мальчик, летающий, как сын Дедала, подлодка у стен Кремля.

– Почти все фантазии в моих сценах 50-х годов основаны на городском фольклоре. Все время во мне бродили какие-то рассказы, мифы, московская такая болтовня. Как-то совсем недавно с киношниками сидел и так, не называя ничего, обозначил контуры нового романа. Мне тут же стали рассказывать всякое. Например, о высотных домах давно ходит история, которая претендует на полную достоверность. Во время строительства Московского университета на Воробьевых горах, который строили заключенные, один из заключенных спрыгнул на дельтаплане, улетел за охраняемую зону и исчез. Исчез навсегда. Его так и не нашли. Во всяком случае, так гласит легенда. Конечно, я тут же ее подцепил и стал разрабатывать. И вот тогда в моем повествовании Юрка из

лагеря на Швивой горке (это реальное место рядом с Яузской высоткой, и оно описано у Солженицына «В круге первом») оказался в своем же доме, в этом «чертоге чистых чувств», но уже заключенным в одну из башен. А там, внизу, любимая собака гуляет, папочка, Глика любимая плавает в воздухе, парит, гребет. И польский узник тайно сооружает дельтаплан, отдает его Юре, и тот улетает...

– *Просто какой-то Икар социалистический...*

– В том же разговоре один из ребят уверял, что под Котельниками в устье Яузы стояла подводная лодка на случай эвакуации. Якобы кто-то подлежал такой срочной эвакуации. А вот фантастическую историю Ариадны Рюрих и приезда Гитлера в Москву – это я лично придумал. Придумал и все время себя корил, что неправдоподобная. Думал, может быть, описать это как бред Ариадны или как ее вранье... И вдруг вспомнил – ведь моя фантазия имеет под собой полнейшую реальность! Ольга Чехова... Конечно. Примадона нацистского экрана, Ольга была любимой актрисой фюрера. Красавица невероятная и долголетний агент КГБ. После нашей победы, когда Берлин был взят, Ольгу Чехову тут же увезли в Москву. Она полтора года была в Москве. Ее московские родственники (а среди них была Ольга Книппер-Чехова) даже об этом не догадывались. Что делала в эти полтора года – неизвестно. Потом ее вернули в Берлин, отстроили, отремонтировали все ее особняки, два лимузина подарили. Она обменивалась с московским адресатом письмами, которые начинались: «Дорогой Лаврентий!», вспоминала, «как хорошо нам было». Но, в общем, это тоже базируется на полуреальных или на девяносто процентов реальных ми-

фах войны. Я и подумал: почему она не могла вывезти Гитлера? Запросто могла. Кстати, насчет векселей, которые в чемодане у Кирилла Смелчакова, тоже вроде бы полнейшая придумка: ну какие такие векселя в социалистическом государстве?! Но в 1965 году я был в составе огромной советской делегации на конференции Европейского сообщества писателей «Европейский авангард вчера и сегодня» в Риме. А главой нашей делегации был поэт Алексей Сурков. Затем мне надо было ехать в Югославию на какой-то писательский съезд. И я предложил Суркову невиданную для того времени вещь – не возвращаться мне в Москву, а сразу из Рима ехать в Югославию, ведь это намного ближе. Он был совершенно потрясен моим смелым предложением.

– *Еще бы, без сопровождающего!*

– Да, и без решения, ведь в те времена всякий выезд за границу оформлялся решением выездной комиссии Союза писателей и всяких отделов ЦК. Через день приходит: «Я всю ночь не спал, вам пробивал поездку». И пробил... Перед отъездом Сурков протягивает мне страннейшую финансовую бумагу с какими-то гирляндами, вензелями и говорит: «Вот это обменяйте в банке на лиры». Ни до, ни после никогда не видел ничего подобного. «Да кто же это будет менять, что это такое?» – удивился я. С большим недоверием в каком-то солидном банке в центре Рима я протянул эту штуку клерку и был уверен, что меня сейчас с позором выгонят. Клерк как-то так в замешательстве на меня смотрит, извиняется и уходит.

– *Вы думаете: «Ну вот, началось!»*

– Да-да. Вернулся с начальником, который с невероятным почтением раскланялся, взял бу-

магу и вынес соответствующее количество денежных купюр. Значит, у них, у высших советской власти, были векселя. И уж если продолжать тему мифов, городского фольклора и фантазий автора, то совсем неожиданно возникла как герой Кристина Горская, укротительница тигров. Однажды в 90-е годы, когда мы вторично вселились в описываемую мною высотку, я зашел в магазин. Знаете, там внизу был магазин «Фрукты-овощи».

– *Он и сейчас существует.*

– Увы, его уже нет, а на его месте кафе «Тутто бене», совершенно криминальное кафе. Совсем недавно две перестрелки были, отсюда увозили раненых и убитых. Через некоторое время появилась вывеска: «Мы снова открылись. И теперь навсегда».

– *Жизнеутверждающе.*

– Но не прошло и месяца, как они забаррикадировали вход большим автомобилем, и теперь опять стоит пустое кафе «Тутто бене» – «Все хорошо».

– *Прекрасная маркиза...*

– И вот вижу я, как по этому магазину ходит такая маленькая, щупленькая, старенькая дамочка и все спрашивает: «А это почем, а это почем? У, это не по карману...» Она что-то купила: два помидорчика, два апельсинчика, положила к себе в сумочку и зацокала каблучками к выходу. Я любопытствую у продавщиц: с кем это они так любезно разговаривали? Они недоуменно: «А вы что, не узнали? Это знаменитая Бугримова». В этой высотке вообще-то жило много знаменитостей, и в том числе легендарная укротительница. Мне-то Бугримова представлялась невероятной красавицей, вы-

ходила на арену такая – с бедрами, с гривой волос... Образ застрял в памяти и выскочил, когда Кирилл встретил Кристину Горскую. Потом я придумал ей прошлое, кто-то ее привез из партизанского лагеря, а сама она откуда-нибудь из Словакии или Словении, такая восточноевропейская девушка. Она вошла в роман и с собой протащила всю линию Штурмана Эштерхази. И в конце это кончилось тигром-стариком на поводке, которого кормят продавцы овощного магазина: «Штурманочек, яблочко хочешь?»

*– Есть ли что-то автобиографическое в Таке Таковиче Таковском? Кроме того, что он медик и приехал из Магадана, а мама бывшая знаменитая поэтесса. Может быть, какие-то эпизоды из жизни богемной молодежи той поры?*

– Те самые стилиаги в высотке, о которых тогда появился в печати «разоблачительный» фельетон «Плесень». История, которая разыгралась в высотке, кончилась трагически – одна девушка погибла, упала с балкона. А был выбран козлом отпущения Андрей Передерий, сын академика Передерия. Я знал хорошо жену Андрея, Милу Голубкину. Она дождалась его из тюрьмы, он весь срок отбухал. Мила, очаровательная женщина, работала на Мосфильме редактором в одном творческом объединении. Он вернулся другим человеком... Мой герой Дондерон очень близок к нему.

*– В реальности многое было связано с джазом и запретом его. В романе вы описываете оркестр, который чуть ли не со всего Союза был собран, чтобы «людей высотной неоплатоновской элиты» развлекать.*

– Как раз это можно связать с фактом моей магаданской юности. В Магадане мы ходили на концерты эстрадного театра МАГЛАГ (Магаданский

лагерь). Все, без исключения, артисты были заключенные. Весь биг-бэнд джазовый. Играли оперетты, в частности – оперетту Богословского «Одиннадцать неизвестных». Сюжетом послужила поездка сразу после войны команды «Динамо» в Лондон. Наши там выиграли у трех из четырех английских клубов, это была грандиозная сенсация. И песенки этой оперетты были взяты Богословским из английских поп-программ. Много позже в Вашингтоне на конференции каких-то там советологов, кремленологов на коктейле я начал кому-то рассказывать про эту оперетту и напевать песенки оттуда. *(Здесь Василий Аксенов и вправду запел.)*

Кто в футболе Наполеон? – Стенли Метьюс.  
 Как выходит на поле он – Стенли Метьюс?  
 Кто и ловок и толков из английских игроков,  
 Кто первый? Стенли Метьюс.  
 По утрам все кричат об этом –  
 И экран, радио, газеты.  
 Популярность, право, неплоха.

Вдруг Роберт Конквест, знаменитый Конквест, написавший книгу «Большой террор», бросается с выпученными глазами: «Ты поешь нашу песенку? Откуда ты можешь ее знать? Это же песенка 45–46 годов». А я так отвечаю: «В Магадане слушал. Заключенные пели». Он был потрясен...

*– Надо думать! В Магадане во времена Сталина заключенные поют английскую поп-музыку – будешь потрясенным... Звучит фантастикой.*

– Абсолютная реальность. Артисты жили на зоне, но в теплых комнатах. Можно было видеть на улице группу великолепно одетых людей; да-

мы в боа, мужчины в мягких федорах, шедшие под конвоем на репетицию или на концерт. Но что самое замечательное, что у этого театра МАГЛАГ была хозяйка – самая всесильная женщина на «Дальстрое», младший лейтенант Гридасова. Она была любовницей начальника «Дальстроя» генерал-лейтенанта Никишова. Они жили вместе в особняке Никишова в самом центре города, проспект Сталина. Она была хозяйкой коллектива и выручку за билеты брала себе. Именно к ней моя мама умудрилась после лагеря пробиться на прием и рассказать историю нашей семьи. Гридасова расплакалась. Просто сцены из мыльной оперы! И мне тут же написали проездные документы в Казань. Вот такая была младший лейтенант Гридасова.

*– Идеи «облагородить» власть существовали и во времена Вольтера, и этому отчасти были посвящены ваши «Вольтерьянцы». Связь этих двух произведений для меня очевидна. Ненавязчиво, из ниоткуда появился подарок от Екатерины на балу у Ариадны. Да и сама она вроде бы промелькнула...*

– Конечно, это продумано, и она должна была там появиться.

*– После такого сложного романа, как «Вольтерьянцы», вам удалось написать произведение по напряженности мысли, фантазии, авантюристичности не уступающее!*

– У меня довольно часто так бывает: я с какой-то идеей несколько лет брожу, то вспоминаю ее, то забываю. И эта идея возникла, когда мы вторично въехали в высотку на Котельнической набережной: новое правительство Москвы вернуло нам квартиру. В 1988 году комендатура высотки явочным порядком забрала квартиру

у моей жены Майи Афанасьевны. По чистой случайности квартиру нам дали в этом же доме. Я бродил вокруг высотки, а в то время в нашем доме, в кинотеатре «Иллюзион», шел фильм «Строгий юноша». По-моему, фильм просто гениальный. В нем главный персонаж – такой молодой полускульптурный герой, вообще все люди в фильме немножко полускульптурные: они двигаются, ведут какие-то диалоги и потом застывают в барельефных позах. Юрий Олеша и Абрам Роом создают образ конца 30-х годов – образ утопического общества. Молодой герой говорит: «Современный юноша должен любить свое правительство». И его мускулы наливаются и становятся рельефными. Там показаны архитектурные строения, которые воображаешь, думая о неоплатоновской стране. Я подумал: может быть, в современном кино можно сделать что-то в этом роде? Конечно, сразу представив себе внешнее и внутреннее убранство нашей высотки.. Тут столько всяких мест, различных архитектурных поворотов, тупичков и ответвлений... Начал с этой идеей делиться с друзьями. Многие восклицали: «Потрясающе!» И дальше дело не шло. А я все думал о кино, где главными героями должны были быть сталинские фавориты, плейбои, какие-нибудь полярники, какие-нибудь писатели. Между ними можно будет разыграть мелодраму с красавицей из этого дома...

*– Вы хотели лишь разыграть любовную историю и не выходить ни на какие другие темы?*

– Знаете, как я пишу? Не ведаю, что через десять страниц будет, даже через пять. Что произойдет там – бог его знает. Потом, в процессе письма, я понял, что нельзя никуда убежать от эпохи.

– Хотела бы как раз поговорить о треугольнике, который вы описали, где любовь разделена между двумя мужчинами. Сначала отдаешь лавры первенства одному, потом приходит другой, и возникает полная уверенность, что именно с ним должна остаться Глика... Вы все время играете в соперничество хорошего, очень хорошего и прекрасного.

– Соцреализм. А вы кого предпочитаете в этом треугольнике?

– Моккинакки. Прекрасная небесная Абхазия, куда Жорж привез Глику, что это?

– Писано с Биаррица – пляж, казино. Когда они прилетели в так называемую Абхазию, приво-днилились и выгрузили тяжелые ящики, мною намекалось на тайное задание! Штурман Эштерхази был каким-то там спецагентом и мог такую вещь сделать. Вообще-то, по-моему, в этой вещи много любви, и в частности, к Москве. Несмотря на все чудовищное, что вокруг происходило, в то же время это город, где жила потрясающая и очаровательная Глика, где жила невероятная авантюристка мама, где смешной Ксаверий Ксаверьевич, где все они жили, купались в Москве-реке, ходили на каток, влюблялись, изменяли друг другу, где в шоферской столовке, что была наискосок от КГБ, я сам часто по ночам сидел. Весь этот мегаполис, несмотря ни на что, каким-то образом умудрялся выживать, жил себе!

– Вы могли бы представить своего Тезея не поэтом, не героем, а постаревшим правителем, как его описал Андре Жид?

– В том-то и дело, что не представляю, поэтому он и ушел. Ушел в окончательный лабиринт, из которого выход только в загробный мир, небесный мир.

– Вы убили всех своих героев!

– Они все погибли, остались без нити Ариадны, она их не вытянула. Другого конца у этой истории быть и не могло. Уходит эпоха, уходят ее герои, ее друзья, ее враги. Все уходит, остается Лабиринт.

– Где-то читала, что Лабиринт – ад, который все же лучше рая. В Лабиринте поэта ждет испытание, которое не даст ему стать нормальным человеком. Норма губительна для творца.

– Творчество в раю уже и не нужно, все сливается. Я, между прочим, был в том лабиринте на Крите. Он не произвел такого страшного впечатления. Руины!

– Зачем вам те руины? Каждый теряется в своем собственном лабиринте, вы живете в Лабиринте, который здесь, в Москве.

– Мы все в лабиринте. Тут вообще эта Ква-Ква сейчас разгулялась! Бог знает, куда она нас затянет. Как бы, как бы, как бы, куа, куа, куа. Квакаем, квакаем.

#### ГИПЕРССЫЛКА:

«Можно искать небесный град в прошлом или в будущем, можно звать “назад к природе” или “вперед к миру любви и красоты”, но это всегда – призыв к нашим эмоциям, а не к разуму. Даже лучшие намерения создать на земле рай могут превратить ее только в ад – в ад, который человек – и только он – может создать своим собратьям» (Карл Поппер. *Открытое общество и его враги*).

## ТАМАРИСКОВЫЙ ПАРК РЕДКИХ ЗЕМЕЛЬ

*Считается, что тамариск – древо жизни – наряду с финиковой пальмой был создан на Небесах. Тамариск – вечно зеленое растение – библейская манна, манна небесная. В весеннюю пору он выделяет сладковатую жидкость, быстро застывающую на воздухе в виде белых шариков, похожих на град, и по вкусу напоминающую хлеб с медом. Смолистое дерево пустынь особо почиталось в Месопотамии и Палестине. В Древнем Египте его связывали с воскрешением бога Осириса, в Китае – с бессмертием, в Японии – с дождем. В шумерской магии тамариск широко применялся для изгнания зла и очищения. В христианском обряде венчания произносятся слова: «Пальцы мои – тамариск, кости небесных богов!»*

*– И поэтому слова сочинителя в самом начале романа – Тамарисковые аллеи схожи с комсомолом – смелое заявление. Когда знаешь ваше прошлое, творческую биографию, ваши либеральные взгляды, такая поэтизация кажется странной...*

*– Для меня самого это странно было. До сих пор не понимаю, как появилась фраза: «таков и наш исторический комсомол». Позже пришло осознание, что она возникла неспроста: с нее началось развитие комсомольской темы.*

*– Потом в романе была предложена иная расшифровка аббревиатуры «комсомол»: коммерческий союз молодежи. Это не просто игра слов, это – попытка разобратся в истории возникновения нового для нашего общества явления – олигархии?*

*– Верно.*

*– Современность – вещь коварная и губительная. При неосторожном использовании может, как кисло-*

*та, развесь художественную ткань вымысла. Вы рискнули писать о современности, и временная пауза между действием романа и событиями наших дней – минуты.*

– По правде, я начинал этот роман, не зная, какой он будет – современный или какой-то иной. Сначала захотелось описать аллеи тамарисков, и где-то там сидит старый сочинитель и наблюдает за всем, что происходит вокруг. У него предчувствие; он что-то сочинит, но пока не ведает, что это будет. Все же роман – не просто телетайпная лента событий, как в газете. В романе есть постоянный возврат в прошлое, не далекое, но все-таки прошлое.

*– Единственный выпрыгнувший из прошлого – мальчик, которого все принимают за англичанина. Его первое появление в волнах океана (как рождение Афродиты – из пены морской) напомнило персонажа с полотна эпохи Возрождения, но не в идиллической гармонии мира, а экспрессивно...*

– Да-да-да. Отчасти это парафраз моей повести для детей «Мой дедушка памятник», написанной в 1972 году. Там автор выходит на набережную Коктебеля, видит 12-летнего мальчика и начинает с ним говорить.

*– Это и была отправная точка романа?*

– Вначале я думал, что такой же мальчик и будет главным лицом всего романа: вокруг него и начнут раскручиваться все события. Но потом почувствовал, что это не совсем то. Очевидно, тут сыграла роль история жизни Ходорковского. Конечно, отчасти, это не значит, что роман возник из желания описать все это, но какие-то отзвуки этой истории возникают. Стало ясно, что в романе один из героев должен оказаться в

тюрьме. И этот кто-то в тюрьме начинает вспоминать всю свою жизнь. Тогда я очень скоро понял, что это как раз отец моего юного героя.

*– То есть мальчик из далекого теперь Коктебеля сейчас сидит в тюрьме.*

– Да, тот самый мальчик, с которым 35 лет назад встретился Василий Павлович. Я начал проследивать моего героя в «бликах» 78-го года, 80-го, 85-го, 91-го... Конечно, такой мальчик, как Геннадий Стратафонтов, а именно так звали моего героя той повести, никуда больше не мог пойти, как именно в комсомол. И он стал таким вундеркиндом режима, империи. Именно его в конце 70-х годов послали в Америку для участия в движении «Молодые лидеры мира», а дальше – непременно МГИМО. Институту международных отношений нужны были такие приближенные и надежные... А вот молодой герой оказывается вовсе не английским мальчиком Ником, а русским Никодимчиком, сыном Гена Стратова. И в общем, это все не просто сегодняшней день с самыми актуальными событиями. Вы видите, время отходит назад...

*– Африка – континент, с которым герой романа связывает надежды рождения совершенной человеческой расы. Африка нуждается в великом идеалисте, и вы описываете бывших комсомольцев, не жалея красок, наделяя их идеальными качествами.*

– Во всяком случае, человеческими. Вы знаете, Ира, я помню, как я в 69-м году приехал в Академгородок новосибирский и провел там несколько недель. Я познакомился тогда с комсомольцами. Раньше к ним у меня было очень недоверчивое отношение: все же действительно в основном это была конъюнктурная, какая-то

хапужная группа! А за их плечами вообще – страшная палаческая комса времен Гражданской войны. Но вот не только я, многие замечали, что к концу 60-х уже появились в комсомоле странные, другие люди.

– *Редкие.*

– Очень редкие. Они любили джаз. Они любили современную живопись, поэзию, это вообще... вся эта поэтическая лихорадка и новая проза... Я помню, был 62-й год, после просмотра фильма по моему «Звездному билету» нас пригласил Лен Карпинский – секретарь ЦК комсомола. Мы с ним беседуем, и я осознаю, что он – просто один из нас – человек совсем другого направления. Это он-то, сын любимца партии Карпинского, сам рожден в высшей номенклатуре и так далее. И в то же время говорит о вещах, о которых ни в какой газете никогда не прочтешь. Мы говорили о недавнем новочеркасском восстании. Страшная тема. Причем он, конечно, не одобрял это восстание, но картина, которую он описал нам – мне и режиссеру Зархи, – была картиной молодежного восстания. Среди прочего, он, например, рассказывал о молодых мотоциклистах, которые там появились и всюду сновали, осуществляя связь баррикадчиков. Помимо мотоциклов у них были любительские радиостанции. В эфире мелькали сообщения: «Говорит радиостанция “Бесстрашный Орел”» и т. д. Я тогда подумал: вот бы об этом написать роман. Беседа была почти доверительная, правда, все же закончилась она фразой: «Так или иначе, но, товарищи, я должен вам сказать, что если фильм будет такой, как роман, комсомол выскажется против». Потом я с ним вновь познакомился

в компании моих друзей. Вы знаете, он стал диссидентом, его выгнали из партии... И вот такие появлялись и в Новосибирске. Они уже в 69-м году организовали первое капиталистическое предприятие, которое называлось «Факел». Это предприятие осуществляло первый наем, искало соответствующих ученых в Академгородке и подписывало с ними контракты. Заводы и различные производственные учреждения давали им заказы на всевозможные разработки. Ученые получали деньги, в разы большие, чем они когда-либо могли заработать. А финансирование первичное начиналось с фондов комсомола, которые шли под грифом «совершенно секретно». Возникали различные клубы, например, клуб «Интеграл». В нем, помню, проводили дискуссию: «Правомочна ли однопартийная политическая система?»

– Неужели в то время возможно было такое?

– Да. Дискуссия проводилась как театрализованный дивертисмент: оппонентам давались эскадроны, они фехтовали, результаты записывались на доске... А потом эти ребята решили 7 ноября, в День революции, устроить демонстрацию под флагами разных партий, как тогда, в 17-м году. И они прошли перед трибунами городских властей с анархическим флагом, флагом кадетов, эсеров и так далее. Партийные мужи были в недоумении: «Это что такое?» «А это наши комсомольцы сделали вот такое костюмированное шествие». Вот в таком духе это все и развивалось. Думаю, что к концу своего существования комсомол уже представлял альтернативную партию – партию молодых. Ведь тогда была борьба против герантократии. Борьба уже шла почти открыто, потому что по тем време-

нам и сам Горбачев был молодым. И вот эта вот альтернативная партия первая заявила о самороспуске. Первое советское учреждение, советская политическая структура, заявившая о самороспуске.

– *Ген – один из таких. Он мечтает изменить, улучшить человеческую расу гуманным путем?*

– Гуманным, как Альберт Швейцер, или мистическим; не забывайте, ведь он попадает под влияние Вулкана. И мы не можем сказать, что это за влияние. У Гена было не просто стремление к обогащению, как у большинства тогдашних довольно отважных и, в общем, очень дерзких людей, решивших идти в несуществующее.

– *Вы имеете в виду начало перестройки?*

– Да, начало русского капитализма. Эта совершенно невероятная лихорадка обогащения: нахапать как можно больше и быстро потратить, жить вовсю. А мой герой мечтал употребить богатство для преобразования человеческого рода, для преобразования России, преобразования Африки. Именно поэтому он и встал во главе огромной корпорации. Чего не скажешь о его прекрасной жене. Она-то была более прагматичной. Это она первая подписала тот исторический договор, когда призвали бывших комсомольцев или почти бывших «помочь родине».

– *Геологический термин – «редкие земли», который стал названием романа, он имеет и обобщающее значение?*

– Мой американский друг профессор-физик Валера Маевский как-то звонит мне в Биарриц из Вашингтона и сообщает, что нашел в Интернете

стихотворение Семена Кирсанова. Как известно, Кирсанов, поэт с филологическим образованием, славился своей словесной изобретательностью. Он в поисках рифмы на «небо» нашел в словаре название – неодим – и был потрясен фонетической трансформацией этого редкоземельного элемента.

#### ГИПЕРССЫЛКА:

«Может быть, так с корабля открыватель земель увидел и остров Борнео. И мне захотелось, чтоб мир начинался на “нео”: неомир, неодень, неожизнь! Неолит – со следами костей и улиток, неофит – от пещерных камней до калиток. Неосвет, неодом, неомир! Пусть он будет всегда неоткрытым, необычным и необжитым. О, мое новое «нео»! Мое озаренье мгновенное – небо необыкновенное. Так у речи на дне мне, как капитану Немо, открылись подробности будущих слов и их необъятнейшие неозможности. Почему же опять упрекают меня в необдуманной неосторожности?» *(Семен Кирсанов.)*

Он пленился не только звукописью, но тем, что он редкий, понимаете? Тогда-то и возникла у меня метафора редкости: редкоземельные металлы, редкость Земли-планеты в контексте Галактики, Вселенной – мы других таких не знаем, где так вольно дышит человек, – и редкость человеческого племени как такового в свете этих необозримых космических пространств. Расстояния своей огромностью вообще стирают всякую материалистическую философию. Например, когда говорят: «Эта звезда довольно близка к нам, ее можно достичь за пять миллионов световых лет». Ну что это такое?

– *Абстракция, которую понять невозможно.*

– Совершеннейшая мистика. И люди – такие вот редкостные продуктики этой космической каши, а среди людей есть редчайшие. Я выбрал этот термин «редкие земли» для названия книги потому, что мне показалось, что он вполне уместен для общей метафоры романа, речь в котором идет о редкости как таковой. А уже потом пришло название корпорации – «Таблица-М». Таблица Менделеева. Валерий мне прислал кучу вещей из Интернета, и у меня они все запели... Там была фонетическая близость с какими-то русскими словами, эти перекаты, неожиданные, возникающие обстоятельства со всеми этими гадолиниями, и лютециями, и самариями... В общем, возник какой-то новый мир. В связи с этим фигура другого героя – Макса Алмазова, сибирское рождение которого странное и загадочное. Никодимчик-то африканский. Кстати, я где-то прочитал, что именно в Габоне есть такой вулкан, в котором, по мнению некоторых ученых, произошел какой-то колоссальный космический – так скажем – поворот. Там, возможно, и возник Адам.

– *В любые времена есть место предательству одного человека, и этому есть хоть какое-то оправдание: человек слаб... Но страшно, когда предается целое поколение. Все, что случилось с Геном и его соратниками в нынешние времена, – это история еще одного потерянного поколения?*

– Потерянного и обманутого. Возьмите отцов моего поколения. Среди них масса революционеров, солдат революции, искренне веривших. Сколько их уничтожено в этом кровавом колесе? Я думаю, больше, чем осталось. А дальше – война, ушли на убой миллионы молодых

людей. Сколько из них осталось? Процентом тридцать? Вернулись с войны, думали, что все пойдет иначе. Ничего подобного, опять все закрутилось. Обманули. И затем шестидесятники. Тоже надежда – социализм с человеческим лицом. «Все, мы все переделаем, у нас будет другой, цветущий, демократический, европейский социализм», да? И вновь полный обман, кончившийся удушением Венгрии, подавлением Чехословакии, а у нас – Новочеркасск, восстание в Муроме, в Средней Азии. В общем – опять все оказалось липой... Дикое похмелье, разочарование... В перестройку призвали молодых и объявили: «Демонтаж, господа. Надо начинать снова... Вы должны участвовать в перестройке. Вы – молодые, энергичные, вы не просто какие-нибудь там комсомолята, а уже интеллектуалы – идите, дерзайте, становитесь миллиардерами. А родина у нас всегда останется». Ну и ринулись все становиться миллиардерами. И что из этого получилось – опять потерянное поколение...

*– В романе есть одна полумистическая организация – МИО. Лишь в конце повествования мы узнаем ее истинное название – «Мать-и-Отец». Вы придумали этому явлению название – скрытнобольшевизм. Вы полагаете, что есть аналог этому в нашей действительности?*

– В этом я просто не сомневаюсь. В организованном или неорганизованном виде, но эта структура, даже не структура, а целый пласт скрытнобольшевизма существует в нашей стране. Скрытнобольшевизм невольно приходит в голову всякий раз, когда я слышу выступления прокуроров или иных чиновников. Надо сказать, что существуют более или менее откры-

тые площадки вот таких людей, где они могут высказываться. Это опять же я почерпнул из реальной прессы дня. Оказывается, у нас не только Общественная палата существует. Есть такой журнал «Терра нова» на русском языке, его издают интеллектуалы Силиконовой долины в Калифорнии. И там очень много различных мемуарных и актуальных интервью. В одном из них я прочел о какой-то Академии, где заседают маршалы, генералы, какие-то крупные конструкторы той эпохи, люди, что считают себя солью земли советской. И в этой Академии идут различные обсуждения. Одно из них с темой «Героические подвиги охраны лагерей и взаимодействие с заключенными во время Великой Отечественной войны» я использовал в эпизоде, где фигурирует АОП – Академия общего порядка. Главная мысль этого обсуждения была в том, что якобы благодаря «подвигу охраны» и «взаимодействию» десятки тысяч заключенных приобрели новые профессии.

– *А я-то полагала, что это чистойшей воды авторская выдумка...*

– Это доклад генерала внутренних дел, произнесенный на одной из сессий данной академии. Такие сведения дает журнал «Терра нова».

– *Вы считаете, что скрытнобольшевизм непобедим?*

– Может быть, у нас и непобедим, в этом что-то этническое, не знаю.

– *То, о чем вы размышляли в «Вольтерьянцах», в «Москве Кве-Кве» и в «Редких землях», соединилось в некий авторский манифест философского звучания. Особенно это проявилось в сцене освобождения из*

*тюрьмы Гена, когда вместе с ним выходят все герои ваших книг.*

– Вам понравилось? Теперь критика будет рычать – Аксенов пиар своим героям устроил.

*– Вполне возможно. Как пришла идея освобождения героя?*

– С кем он сидел, я не знал совершенно. Потом предположил, что в камере возможно расписать «пулю», а преферанс – значит, еще трое-четверо. Что это за сокамерники? Может быть, мои герои: Фил Фофанов из «Желтка яйца», Саша Корбах из «Нового Сладостного стиля» и Игорь Велосипедов из «Бумажного пейзажа»? Их было только трое. И так все шло до тех пор, пока Ашка не задумала штурм фортеции, освобождение всех. Каким образом? Взяткой.

*– Самое сильное оружие у нас.*

– И вот этим оружием открываются все камеры, падают все замки. И кто уходит? И тут меня осенило: выходят-то мои герои, значит, эта тюрьма была узилищем всех моих героев.

*– Действие романа происходит в России и Франции. Жизнь американского русского сочинителя в Биаррице напомнила жизнь американцев на Лазурном Берегу у Фицджеральда.*

– Да? Из какой вещи?

*– «Ночь нежна». Но жизнь русских в Биаррице – это уже совершенно другое. Шикарный прием в приеватном шато описан с достаточной иронией.*

– Ну, конечно, как все подобные мероприятия, они просто часто бывают смешноватые такие. Вот это написано не с натуры. Я воображал... Например, на прием я пригласил

потомков генерала Шкуро, которые в действительности во Франции стали фармацевтами, юристами. Если живешь во Франции постоянно, все время наталкиваешься на таких людей. Если их собрать вместе, получится что-то интересное: комсомольские коллективы, и песни комсомольские, и потомки белой армии, добровольческой армии.

– *Вы не даёте этому потерявшему поколение никакого будущего. Ничего, совсем ничего. Самое тяжёлое для меня – гибель Ника. Вам не было страшно?*

– Очень страшно. Ник растворяется в море, из воды он выскакивает к отцу уже не таким огромным, каким ушел, а обычным, чудным, милым, трогательным мальчиком. И они уходят куда-то вонне жизни. Уходят из бытия – отец, сын, Дельфина, ее ребенок, который должен был родиться с ненавидящим взглядом, а родился, как сверкающий взгляд. И надежда тут есть, но она метафизическая – на возникновение нового, непостижимого нам человечества. Пока мы не знаем, что еще там будет. Они уходят из нашего грешного мира в идеальную сферу.

– *А остальные как?*

– А остальные будут жить. Жить со своими ошибками, со своими воспарениями, мечтами и мерзостями, так как мы еще не преодолели весь этот путь.

– *«Пришлите мне книгу со счастливым концом!» – восклицал поэт. Когда писались «Редкие земли», думали ли вы, что роман выльется в развернутую метафору современности с печальным концом?*

– С моей точки зрения, все-таки есть светлая нота. Так или иначе, все мы уходим из этого веч-

ного мира, но как уходить – совсем уже без всего?  
Совсем просто в черную дыру – бух, и все?

– *Где сохраняются редкие земли человеческие?*

– Да хотя бы вот на последних страницах они появляются как стишки. Они внутри языка поместились...

– *То есть вы считаете, что это все сохранится в языке, языке как родине, которая нас не предаст?*

– Замечательная идея. Язык – это вообще наша музыка, да?

– *И редкие земли.*

2007

# О БАЙРОНИТАХ, ЛИСАХ И ЗЕМЛЕ\*

*Роман Василия Аксенова «Редкие земли» попал в раздел бестселлеров. Название простое, но надежное. Читатель не соскучится, судьба молодых российских олигархов, сделавших состояние на полезных ископаемых, — это с первых полос газет. Книга притягивает фирменным аксеновским бредом очевидца: как ни фантастичны описываемые события, найдется дюжина человек, которые поклянутся, что это истинная правда. Как и то, что русский писатель (это и есть В.Аксенов), поселившийся на юго-западе Франции в Биаррице, в записках и воспоминаниях выстраивает свою метафору существования отдельных людей на этой Земле.*

— Как вы поселились в Биаррице?

— В 1999 году меня пригласили почетным гостем в Тулузу на забавный арт-фестиваль. В то вре-

---

\* Впервые опубликовано в журнале DE I/Desillusionist, 2007, № 9, с. 18–22. Беседовал Максим Масальцев.

мя был популярен соц-арт. Организаторы опустили в реку Гарон гигантские фотокопии «Рабочего и колхозницы», фотографии Сталина с Мамлакат (пионерка-ударница, собиравшая хлопок на летних каникулах. – *Ред.*) и все в этом духе. Изображения простирались под мостами, по руслу реки, на очень большой глубине, и колебания воды создавали интересное впечатление. Когда фестиваль закончился, у меня появилось свободное время, и я захотел съездить к морю. В Ницце и прочих местах я бывал и повернул в сторону Биаррица. В начале прошлого века Биарриц был очень модным местом у русской аристократии. По весне они заезжали сюда целыми поездами вместе со слугами.

В конце 2000 года я уже планировал закончить работу в университете и перебраться в Европу. Темной ночью 1 января 2001 года я снова оказался в Биаррице и решил посмотреть рекламки по недвижимости – вдруг найду какой-нибудь домик для себя. В самом центре незнакомого города, сделав всего несколько шагов, я увидел окно и в нем фотографию дома. И вот это оказался мой домик с целым садом. Мне он подошел.

*– Я был в Биаррице весной 97-го. Как раз на Пасху. По-моему, в Биаррице на 400 километров есть единственный русский храм.*

*– Да, храм Александра Невского.*

*– Через дорогу, прямо напротив, «Палас-отель», чуть ниже выход на городской пляж к зданию казино и променаду. Открыв первую главу «редких земель», я испытал практически стереоскопические ощущения (история романа начинается в Биаррице). Все как 10 лет назад: пасхальная служба в игрушечном храме, сильный ветер с Атлантики, невероятной глубины от-*

*лив – в темноте только океан слышно, мокрый песок так черен, что идешь словно по пустоте.*

– Приход, к сожалению, развалился, и вокруг храма жуткие дрязги. Распадаются остатки старого культа Биаррица.

*– Жаль. А эти красивые люди с обожженными солнцем испанскими лицами, но говорящие по-украински, еще появляются?*

– Это украинцы из Испании. Они-то и перестали ходить. До этого момента настоятелем был китаец – отец Георгий. У нас с ним были очень хорошие отношения. Он ратовал за воссоединение с Московской патриархией, так его турнули... Сейчас для тех, кто остался, приезжает служить священник из Парижа.

*– Почему вас перестали печатать в Америке?*

– В течение всех лет, пока я жил в Америке, меня печатало одно из крупнейших издательств, а может быть, и самое крупное, «Рендом Хаус». Они издавали переводы моих книг. «Московская сага» ведь вышла в Америке впервые. Была ли от них прибыль? Как ни странно, мой самый авангардный роман «Ожог» стал наиболее прибыльным. Но они печатали меня не для прибыли: меня и похожих на меня публиковали для поддержания своего престижа, как необходимость. Но вот произошла очень странная ситуация, типичная для XXI века. Во-первых, громадное издательство поглотил немецкий издательский дом, фактически откусил голову... Известно же, что динозавры без головы ходили. Мой издатель, конечно, сказал мне: «Ты не бойся...» Но немцы послали своего агента. Потом его назначили, и он стал увольнять и набирать других людей. Разогнав редакцию, взялся за авторов, которые не приносят больших

барышей, в том числе и меня. На прощальном вечере мне сказали, что я спасал свои романы из Советского Союза... А я им ответил, что пришло время спасать их из Америки.

– *Ваши романы в России наверняка должны приносить прибыль.*

– Да, хотя и не такую, как в Америке. Это для меня совершенно не главная цель, я ее не преследую. Если есть удача, то это хорошо. Но сам я за удачей не гонюсь. Я пишу по-русски, и здесь есть небольшое число людей, которые могут оценить язык книги, не только историю, рассказанную в книге, но и то, как она рассказана.

– *Для русского писателя это чуть ли не самое важное...*

– Конечно. Где писать – это все равно. Говорят, что писатель может работать вдали от родины...

– *Пройдя через «Редкие земли», трудно пропустить одну из главных проблем мыслящего человека – отношения с властью. Доверие к власти – удел бесстрашных людей?*

– От власти, так или иначе, все зависят. На то она и власть. Но требования, которые предъявляет власть к людям, должны иметь понятные законные формы, например в форме налога.

Ведь мы видели, что произошло с ЮКОСом. Они стали первыми, кто стал нормально платить, последние годы своего существования вообще не выдавали никакого черного нала и стремились к прозрачности... В то время и сейчас больше половины страны ведет двойную игру. Трудно сказать, кто сколько зарабатывает денег и каким образом. Эта тема почти не существует – выписывают одну сумму, а платят другую...

Помните, в романе кто-то из асимметричных лиц спрашивает: «Как же можно верить нам? Вы должны верить Родине...» А ему отвечают: «Так как же можно этой суке верить?» Пока комсомольцы препирались, Ашка (героиня романа «Редкие земли») встала и спросила: «Где расписаться?» Она за многих мужчин приняла решение. Это были бесстрашные люди. Я слышал, что за время этого Клондайка не меньше 30 тысяч бизнесменов погибло. Это невероятно, столько людей решили рисковать, не имея никакой защиты государства.

И эти ребята, которых сейчас осудили на второй строк... Это такая сталинщина, такая хрущевщина... Хрущев, который за жалкие доллары приказал пересудить и расстрелять... Рокотов и Файбышенко – вот мученики этого уничтоженного капитализма. Фактически шла борьба не на жизнь, а на смерть... Вот книга Юлия Дубова «Большая пайка», она написана неровно, но в ней очень точно отражены процессы, которые необходимо знать и помнить.

*– Может, должно произойти что-то ужасное, чтобы какое-то количество людей перестали гоняться друг за другом с палками?*

– Прежде всего нам надо вырабатывать толерантность, должна приветствоваться либеральная идеология. Администрация Путина хотя и навалила ерунды, но она еще какой-то стабилизирующий фактор. Что из этого получится, трудно сказать. Но не дай бог произойдет какой-нибудь пучк...

*– Что чем управляет: идеи идеалами или наоборот?*

– Это, по-моему, совсем разные вещи. Идеал – это неоформленное что-то, это вроде вдохновения... Идея же всегда выражается в политике. Это разные вещи.

– *Выходит, что искусство ничего не может дать политике?*

– Практически оно должно быть в стороне от политики. Искусство и политика – это строительный материал. Идеал – это то, что толкает людей к творчеству. Если влезаешь в политику, толка большого не будет. Вот так же, как Пастернак, который был в принципе рожденный гений. Он в идеалах весь витал, а его все время подталкивали стать ведущим поэтом социалистической державы и т. д. Я как раз сейчас читаю замечательную книгу Быкова (серия ЖЗЛ «Пастернак»), там есть упоминание о знаменитом телефонном разговоре с дядей Джо о Мандельштаме. И Пастернак все время пытался ему объяснить – он не из вашего огорода. Вам нужна формулировка, а у меня ее нет и не может быть по определению. При всем уважении он не может сделать выбор... А Сталин сказал, что хотел поговорить о жизни и смерти и в конце концов брякнул трубой.

– *В вашем романе многое звучит не впрямую, и тем не менее достаточно публицистично, что для вас особенно важно.*

– Конечно. Это тема возвращения культа большевизма...

– *Исторически поддержание любого культа прибавляет стране стабильности.*

– Жажда стабильности – это понятно.

– *Правда, возникает большой недобор в понимании, из чего на самом деле состояла эта стабильность. Я имею в виду молодое поколение.*

– Но у нас и так достаточно инертный народ, с 88–89-го годов им открывают тайны этого страшного государства. Всех этих дыр в затылках

всех этих страшных захоронений, пыток и всего прочего. И ни черта не действует! Что, ничего этого не было, стало быть? Мы опять собираемся НАТО сопротивляться?

*– Ракеты, кажется, уже никого не пугают. Нефть, газ, энергетическая безопасность – штука посерьезнее.*

– Европейский капитализм гибкий, вязкий. Его невозможно сразу уничтожить, он из всего выкарабкивается. Из Первой мировой войны – вылез, из революции зверской – вылез, из Второй мировой войны – вылез, хитро используя Сталина со всей его хеврой, правда, последним удалось захватить Восточную Европу. Западный капитал имеет очень сильную структуру. И Александр Исаевич Солженицын, когда он в Гарвардском университете кричал: «Вас разрушит монолит этого государства, вы *все* тут разнежились... Вот как сейчас ударят, и от вас ничего не останется», – пугал... Но это оказалась чепухой, и все получилось с точностью до наоборот – развалился этот монолит. А эти вроде бы и несильные, какие-то либеральные.

Я приехал в Штаты в эмиграцию в 80-м году. Коммунизм идет победной поступью по всей планете. В Африке – Ангола, Мозамбик – все становятся коммунистами. Все погибает. Вьетнам захвачен коммунистами и т. д. И никаких надежд нет. И вот я включаю телевизор в один из первых дней и вижу репортаж из корпуса морской пехоты, в кадре такие мощные, накачанные ребята. И ребята говорят, мол, вы не волнуйтесь, мы остановим коммунизм... Так и получилось. Наш посол Трояновский все твердил: «Вы поймите, господа, коммунизм необратим...» А Джин Кирпатрик, дама, которая представляла США, отвечала: «Александр, ну почему необратим? На

острове Гренада это сделал один батальон морской пехоты». Так что не надо переоценивать возможности большевизма. Мне кажется, что в администрации президента есть ребята, которые это прекрасно понимают.

*– Понимают, но о пропаганде не забывают.*

– Это даже не пропаганда... Недавно у меня была запись на телевидении, и тут все телевизионщики стали говорить, что на них давление колоссальное... Я интересуюсь, а как же оно осуществляется... Вам кто звонит? Вас вызывают? А они: «Нет, да наши сами туда звонят...» Такого в Советском Союзе не было. Там самим позвонить нельзя было, а только надо было отвечать на звонки.

Кроме этого телевидения, где все перепуганы, у нас нет цензуры вообще. Стопроцентное отсутствие цензуры в литературе, в искусстве, в кино – нет никакой цензуры совершенно. Такого не было в России никогда. Мы недавно встречались в Союзе писателей с Дмитрием Анатольевичем Медведевым – молодой первый вице-премьер. Многие писатели как всегда жаловались на недостаток средств в журналах, издательствах. А он так толково говорит: «Вы что, хотите к прошлому вернуться?» И все, одной фразой поставил на место.

*– Когда вас в первый раз уличили в антисоветчине? Кажется, в 68-м году за повесть «Затоваренная бочкотара»?*

– Ну, это ерунда, главное началось в 78-м, после романа «Ожог». А после «Бочкотары» ничего не было. Ее напечатали в журнале «Юность», выходящем тиражом в три миллиона экземпляров. И все просто не верили своим глазам: такая

лихая сатирическая повесть... Были статьи, которые меня долбали, но меня долбали всегда в советское время. В «Комсомольской правде» была огромная статья, где мне шили антисоветчину. Базировалось это все на эпизоде, когда они прибывают в Коряжск, а там такая башня с электрическими часами, на которых время 19:07, и через 10 минут должен приехать поезд. Он прибывает и уходит в никуда. Автор статьи пишет: «Вы приплюсуйте десять минут к 19:07 и получите 19:17. И вы поймете, что имел в виду этот автор». Это получилось как-то подспудно, у меня этого совершенно в голове не было – 1917 год. Случайность.

– *Сегодня сатира нужна для оздоровления общества?*

– Я даже не думаю, что это такая нацеленная сатира. Но желательно, чтобы общество не покидало чувство юмора. Не надо стремиться к звериной серьезности во всем, о многих вещах стоит говорить с легкостью. Не фиксироваться, не закикливаться ни на чем... Ах, вот вы так считаете, месье, а я готов с вами согласиться, если бы я не думал в полностью противоположном направлении... Вот примерно такое джентльменское бытование... В стране надо создать институт джентльменов. Научить их хорошо шутить и не врать друг другу.

– *В новом романе, кажется, эта тема звучит очень болезненно. Герои умеют не врать, понимают юмор, но столкновения с властью превращает их в основательных циников.*

– Надо всегда иметь в виду, что все они последние комсомольцы. Вот это очень важный аспект. Я вообще склонялся к тому, что в последние советские годы комсомол практически превратил-

ся в партию, альтернативную КПСС. Несмотря на сопутствующую демагогию, было заметно, что с комсомолом происходит что-то серьезное. Вроде бы прикрываясь демагогическими лозунгами, что это борьба с мещанством...

И это началось еще в 69-м году. Я помню, в новосибирском Академгородке наблюдал, возможно, первую попытку ввести капиталистические принципы бизнеса. Инженеры-комсомольцы создали фирму «Факел» и вербовали ученых из различных НИИ для выполнения заказов, собранных по предприятиям. От желающих поработать не было отбоя, потому что один заказ приносил столько денег, сколько ученый не получал за год. Никакие государственные структуры не могли добиться подобной рентабельности. Они ничем не торговали, кроме своей интеллектуальной собственности. Под прикрытием комсомола их бизнес процветал год-два, потом их стали давить. И добавили, одновременно убив всю либеральную жизнь этого Академгородка.

А там была очень серьезная интеллектуальная жизнь. Там, например, было кафе «Интеграл», где комсомольцы отдыхали. Они устраивали идеологические дискуссии, например, на правомочность однопартийной системы. Собранные реплики записывались на доске и потом как-то суммировались. И на тот момент, по их расчетам, существующий политический строй себя исчерпал. Мы это вроде как все понимали, но не думали, что доживем. Оказалось, что дожили...

Ну, например, они устраивали такие театрализованные демонстрации – парад физиков под лозунгами различных политических партий после февральской России: анархисты, синдикалисты, трудовики, конституционалисты, демократы. Происходило что-то совершенно невероятное.

Наблюдавшим это безобразие партийным бонзам просто объясняли, что остальные партии – это те, кого одолела наша Коммунистическая партия.

Для подростков они открыли мушкетерский клуб, в котором прививались принципы офицерской чести. В Академгородке проходили выставки московских неформалов. Именно там впервые прошел первый открытый концерт Галича. И все это покрывал комсомол.

Это было зарождение какого-то инакомыслия. И если такое возможно было допустить, значит, система уже дышала на ладан. Многие из них превратились просто в циников. Но лучшие люди, редкие люди, в этом весь смысл этого романа – редкостность, редкие люди делались теми, кем был Ген Стратов. А кем он был? По сути дела он был байронитом. Это возвращение байронизма. Возвращение байронизма на фоне вот этого развала – подспудное, неназванное движение байронически настроенных молодых людей. Но воссоздать подобную редкостность по заказу правящей идеологической верхушки в этой стране невозможно. Это может стать результатом переработки и анализа обычной текущей жизни.

*– Бизнесмена-писателя Минаева с его «Духлессом» можно зачислить в этот институт джентльменов?*

– Да. Его герой тот же байронит... Его жизнь – проявление байронизма, и это совсем неплохо. Недавно в «Московских новостях» я видел рецензию на спектакль по новой пьесе, там шла речь о каком-то олигархе, у которого было три любовницы. И они одна за другой вступают в действие, а потом всем вместе там с ним разбираются. Написал это сочинение бизнесмен гораздо круче Минаева...

– *Когда бизнесмены писать успевают?*

– *Может быть, они бездельничают? А мы-то думаем, что они работают.*

– *Можно разделить писателей на бездельников и трудяг, подразумевая, что Пушкин – бездельник?*

– Нет, я бы так не стал делить. Вот Исая Берлин квалифицировал писателей на лис и ежей. Лисы – исследователи, разрывающие незнакомые норы, а ежи – накопители, блуждая по земле, собирают самые разнообразные впечатления о чем-то своем.

– *А вы кто?*

– Я... Пожалуй, лис.

2007

# ЦИКЛИЧНОСТЬ ВЕКА

*В октябре 2007 года на родине Василия Аксенова состоялся первый «Аксенов-фест», организованный мэрией Казани. Торжественное открытие фестиваля прошло в республиканском драматическом театре.*

*Участники фестиваля, среди которых были друзья и коллеги писателя Белла Ахмадулина, Борис Мессерер, Александр Кабаков, Евгений Попов, Михаил Генделев, Ирина Барметова, Светлана Васильева, Михаил Веллер, Андрей Макаревич, Алексей Козлов, посетили вместе с Василием Павловичем Казанский университет, школу, где он учился, дом, где он жил в детстве. В крупнейшем книжном магазине города прошла встреча с читателями.*

*Похоже на то, что аксеновский фестиваль в Казани станет традицией, во всяком случае, в ноябре 2008-го он проводился во второй раз.*

*Виктор Есинов*

ВЫСТУПЛЕНИЕ ВАСИЛИЯ АКСЕНОВА  
НА ТВОРЧЕСКОМ ВЕЧЕРЕ В ТЕАТРЕ  
ОПЕРЫ И БАЛЕТА ИМЕНИ М.ДЖАЛИЛЯ\*

Я хочу сказать несколько слов о том, что я сейчас испытываю. Я первый раз попал внутрь оперного театра, хотя он сопровождает меня всю жизнь. Его начали строить, когда я был бэ-би. Мой папа был председателем горсовета, потом горсовет разогнали, всех поарестовывали, а ему дали это строительство. Он несколько месяцев продолжал строить; пока его не арестовали окончательно. А театр стоял все время, была строительная площадка, дело подвигалось очень плохо. Разразилась война, никто, конечно, в это время оперных театров не строил, но тут привалили немецкие военнопленные. Надо сказать, наша бывшая держава очень любила подневольный труд, и она использовала его в строительстве, в частности оперного театра. Я помню, как я, мальчик, и тетушка моя, тетя Ксения, стояли и смотрели на пленных. Люди постоянно приходили смотреть на немцев. И тетка пожалела кого-то из них и дала полбуханки хлеба. Он до того был потрясен, этот несчастный немец, что весь задрожал, оторвал пуговицу от шинели и протянул ей в ответ на эту буханку хлеба. А женщины вокруг стали на тетю кричать: «Как тебе не стыдно! Ты захватчиков подкармливаешь!» – и так далее. Ну, в общем, все это строительство долго продолжалось. Я уехал из Казани в Магадан, провел там два года. Вернулся поступать в мединститут. Окончил первый курс – театр все строился, потом вто-

---

\* Впервые опубликовано в журнале «Казань», 2007. Беседовала Айсылу Мирханова.

рой – а он все строился. И так до четвертого курса, после которого я уехал в Ленинград. Наконец, театр достроили, но я ни разу не был внутри него.

Все-таки в этом я вижу определенную цикличность развития судьбы. В этой связи мне вспоминается моя нынешняя квартира в Москве. Нас в период застоя выгнали из всех квартир, взломали дверь топором, вышвырнули вещи. А когда в девяносто первом году случилась августовская революция, нам дали новую квартиру в высотном доме на Котельнической набережной. И вот я прихожу, а там огромные эркерные окна, и на одном выцарапано: «строили заключенные». А я – сын заключенных. Опять произошло цикличное завершение. И сейчас я сижу на сцене театра, которого все равно не вижу – отсюда не видно ни черта. Вы-то видите, а я вроде здесь и не был. Я хочу сейчас прочесть стихи. Может быть, некоторые в зале знают, что на старости лет я стал писать стихи. Леша с Димой\* подберут музыку. Мы не раз делали это в Центре Мейерхольда в Москве. Получалось так здорово, потрясающе! Все говорили: «Вы, наверное, репетировали целый год», а мы ни черта не репетировали...

Вот стихотворение о конце XX века. Я писал книгу «Кесарево свечение» – и вдруг почувствовал, что делаю это в самом конце двадцатого века, что наш век – кончается. Основное время, отпущенное нам Господом, – завершается. Одна героиня этого романа стала вдруг из проститутки бардессой, извините за игру слов. Она начала петь песенки, довольно серьезные. Вот одна из них. Вы, может быть, знаете, что в некото-

---

\* Алексей Козлов и Дмитрий Илугдин.



## ВЕСНА В КОНЦЕ ВЕКА

Дневник сочинителя

Холодная весна. Ликующий щенок.  
 Щегол поет в кустах, как скрипка Страдивари.  
 Свистим и мы свой блюз, не раздувая щек,  
 Лишь для самих себя, Армстронга староверы.

Кончается наш век. Как дальний джамбо-джет,  
 Он прибывает в порт, свистя четверкой сопел.  
 Что загрузил, народ? Иль кончилась уже  
 Дерзейшая из всех двухиксовых утопий?

Печаль ползет, как смог, в комфортные дома.  
 Осталась только дробь, потрачены все восемь.  
 Исчерпан Голливуд, Чайковский и Дюма.  
 Ну а щенки визжат от счастья первых весен.

\* \* \*

Весна. Вирджиния. Колючками шурша,  
 Бесстыжий лес осин затеивает вальсы.  
 Поверит ли пропащая душа,  
 Что можно жить без музыки Вивальди?

Зеленый грузовик рассады приволок,  
 А ветер гнул кусты в предательстве раскосом.  
 Заснувший в темноте под свист небесных склок,  
 Поселок поутру украсился нарциссом.

Как короток твой век, нарцисс-самовлюблен!  
 Слетает лепесток в апофеозе бури.  
 Успеешь ли сказать о чувстве, воспален?  
 О гибели сказать уже не хватит дури.

Это написано весной девяносто девятого го-  
 да в Вирджинии. А потом вдруг этот год обер-

нулся страшной бессмысленной бомбардировкой Косово.

### СТАТИСТИКА БОЁВ

На фоне зарева Белграда  
Сообщить командованию рад,  
Что тени длинные Эль-Греко  
Проходят ночью сквозь Белград.

Дома горят, убитых мало.  
Число избранных судьбы  
Сошло до минимума в залу,  
Где ждут подсчета, как столбы.

По Косово гайдук гуляет.  
Ничто не сдержит гайдука,  
Лишь пляшут цели над углями  
В прицеле верного АК.

Дома горят, убитых много.  
Но максимум еще далек.  
Дружины Гога и Магога  
Раздуют славный уголек!

Албанка, жертва геноцида.  
Прольет невинную слезу,  
Но кто чернее антрацита  
Торит позорную стезю?

Гайдук, нажратый водки с салом.  
АВАКС с командой «Гоу-ахэд»  
Или укрытый под вокзалом  
Голубоглазый моджахед?

И еще из этого цикла одно стихотворение. Летит истребитель-бомбардировщик по кличке «Чарли Браво». Над ним летит наводящая станция «АВАКС».

#### ИЗ-ЗА ТУЧ

Он подлетает, Чарли Браво!  
Над ним, как мать, летит АВАКС.  
Сквозь тучи виден берег рваный  
И деревень дремучий воск.

Вот он взмывает по спирали.  
Уходит свечкою в зенит.  
Искус воздушного пирата,  
Как саранча, вокруг звенит.

Он целит в красных злые танки.  
В посланников белградских бонз.  
Но попадает не в подонков -  
В албанцев, страждущих обоз.

#### ЭПИЛОГ С ПРОДОЛЖЕНИЕМ

*...Вдоль границы аквамарина ритмичной трусой движется коренастая фигура. Она приближается – знакомое уставшее лицо, сине взгляда под опущенными веками. Легкий ветер треплет небрежную русую курчавость. Слышно немалодое дыхание. Под серебром усов пульсируют слова. Впереди горизонт – иллюзорный предел пространства с заваливающимся баскетбольным мячом заката. Волны набегают на следы бегуна. Его подпрыгивающий силуэт на фоне апельсинового мафева медленно удаляется, делается размером с точку, которая постепенно исчезает под обложкой опускающейся темноты...*

Образ «бегущего по волнам» автора знаком сегодня многим, кто соприкоснулся с творчеством Василия Аксенова. В реальности «стиляга из Лядского», писатель, герой и прототип в едином лице возник перед своими почитателями респектабельным господином профессорской наружности в английских ромбах пуловера и лекторских очках. Впервые – на творческом вечере в оперном театре. Со сцены звучал неторопливый с хрипотцой рассказ о цикличности судьбы, о завершающемся времени. Спустя два дня состоялась короткая встреча представителей нашей редакции с Василием Павловичем. Свою беседу мы сочли уместным начать с литературной родословной писателя, с вопроса о «семейной саге» Аксеновых, которая стала частью истории и нашего журнала.

– Василий Павлович, книга вашей мамы Евгении Семеновны Гинзбург «Крутой маршрут» стала классикой лагерных мемуаров, но, наверно, не многие знают, что ваш отец, Павел Васильевич Аксенов – автор воспоминаний «Последняя вера» о годах своего заключения. Их в течение нескольких лет публиковал журнал «Казань». Знакомы ли вы с этим наследием?

– Да, знаком. Я читал эти воспоминания, когда еще нельзя было даже подумать об их публикации. Вариант рукописей хранится у моей сводной сестры Майи Павловны Аксеновой в Москве. Возможно, даже есть что-то, не вошедшее в вашу первую публикацию – так мне кажется.

Как-то мы общались по телефону, и она говорила мне, что воспоминания производят очень сильное, мощное впечатление. Воспоминания мамы очень эмоциональны, а у отца – спокойный рассказ о колоссальной несправедливости и подлости. По-моему – замечательная вещь, интересная очень. Язык в ней странный – вперемежку с бюрократизмами уже наплывающий сленг тюрь-

мы. И в то же время во всем какое-то спокойствие удивительное... Это показывает, что Павел Васильевич тоже внес свою лепту, и очень солидную, в «гулагиану». Хотя и сам он принадлежал к власти имущим.

*– В Казани вы бываете не часто. Сохранились ли сегодня у вас какие-то связи с «родом из детства», с аллеей Лядского садика?*

– Да, конечно! Один из моих друзей, с кем я часто общаюсь, – Марик Гольдштейн. Мы жили дверь в дверь. Рядом с нашим домом стоял трехэтажный дом в стиле «прекрасной эпохи», в котором жила семья профессора рентгенологии Гольдштейна, его папы. (В Казани были два профессора рентгенолога, и оба – Гольдштейны.) Марик – это самый мой старый друг! Мы еще в детский сад ходили в одну группу, учились вместе в мединституте. Сейчас он живет в Германии. Приезжает ко мне в Биарриц. Проезжает всякий раз через Москву по направлению Обсерватории – там у него дача. Так мы дружим.

*– Вы оставили профессию врача, занялись писательством – не первый случай в истории литературы, надо сказать. Как, на ваш взгляд, можно быстрее и вернее найти свое призвание, нужно ли поспешать тем, кто занялся сочинительством?*

– Обретение призвания – это стихийный процесс... Как бы ты ни старался – это не случится, пока не придет время.

*– И тем не менее даже в этой стихийности вы являетесь сторонником профессионализма. Поясню, что я хочу сказать: в одном из интервью 1983 года вы заметили, что среди сочинителей остается много «литературных юношей», пренебрегающих профессионализ-*

*мам. И особенно это заметно в прозе. Что вы имели в виду?*

– Начинаящих писать очень много – гораздо больше, чем тех, кто, в конце концов, совершаются как писатели...

Своим студентам в Америке, где я в течение двадцати четырех лет преподавал в университете русскую литературу, я всегда говорил: «Самое главное, чтобы вы научились завершать вещь, которую начали». Это очень редко бывает. Как правило, начинают писать, потом отбрасывают – ничего не получается... Постарайтесь, даже если вам не нравится, закончить вещь. И тогда вы по-новому посмотрите на себя и вокруг себя.

*– На вашей встрече со студентами Казанского университета прозвучала мысль о том, что не нужно стремиться расширять аудиторию романа, напротив – ее нужно сузить. Но ведь и без того ваш читатель, вообще читатель серьезной литературы – это интеллигенция, она же – «меньшинство», как вы не раз выражались. Не думаете ли вы, что это сегодня – не просто «редкие» люди, а некая «уходящая натура»?*

– Да. Я думаю, что это, может быть, действительно какой-то уходящий этнос.

Но в то же время это люди, без которых невозможно существование современной жизни, цивилизации. И их – интеллигентов, читателей нашей литературы – очень трудно рассеять, даже в процессе эмиграции. Например, в поисках возможностей хороших заработков образовалась целая коммуна в Силиконовой долине, в штате Калифорния. Там живет несколько десятков тысяч русских интеллектуалов. Как-то я приехал туда выступать, и мне показалось, что я где-то в Новосибирске, в Академгородке – словно в те еще времена. Битком набитый зал

своих! Своих не только в смысле языка, а в смысле выражения лиц! Такие свойские ребята! И все понимают. И все читали. Меня это потрясло! И это происходит в Силиконовой долине – маленький концентрат соли нашей земли... Из-за чего мы, кстати, все страдаем – она рассеялась, к сожалению. Они уже там отчасти американцы. Но тем не менее они – свои, живут и скучают по юности, прощание с которой отождествляется у них с утратой Родины. Много передвигаются, путешествуют. Сейчас это уже не *изгнанники*, а *странники*, я бы сказал. Не эмигранты, а – мигранты. Они в поисках. В самом начале перестройки в Интернете я встречал объявления, в которых эти люди подбрасывали друг другу возможности заработка – «есть работа на Марианских островах...», «ребята, спешите в Уругвай...» и так далее... Это уже часть космополитической диаспоры, в то же время – *свои*.

И конечно, очень важно, чтобы хоть часть этих людей возвращалась к нам, со знанием языков, с опытом работы за рубежом.

– *Вы считаете, сегодня для такого возвращения есть предпосылки?*

– Есть. Это в основном предпосылки экономического порядка. Когда начинают хорошо платить, специалисты возвращаются.

– *Василий Павлович, в продолжение темы «уходящего» хотелось бы знать ваше мнение о судьбе «толстых» журналов, которые были культовым явлением в «самой читающей стране», особенно тогда, когда в ней стали происходить большие перемены. Через эти журналы к читателю пришло целое поколение талантливых литераторов. А что сегодня – какова их роль, каким может быть будущее?*

– Будущее очень туманно, по-моему... Но они существуют – хотя далеко не роскошно, но все-таки – существуют. Государство их как-то поддерживает. Агентство по культуре выделяет гранты, средства из фондов. Помещения им предоставляются, что очень важно. Журнал «Знамя», например, переехал сейчас в хорошее здание на Садовом кольце. А Ирина Николаевна Барметова и «Октябрь» постоянно существуют в своем «кочетовском» дворце, откуда так и веет «кочетовским» мраком, но он рассеивается, когда там появляется эта «дама, прекрасная во всех отношениях». Там постоянно собираются люди, мы все здесь на «фесте», так или иначе, принадлежим к плеяде «Октября» – «октябрята»...

«Толстые» журналы отказываются умирать, захнуть, что само по себе очень показательно. Значит, может быть, пройдет какой-то период, и положение изменится к лучшему.

В Америке тоже есть «толстые» журналы, их несколько. Например, есть журнал «Гранта», журнал «Пари», на Манхэттене. Ничего в них особенного нет, это литературные сборники. Но они, в отличие от наших, гораздо шире продаются, и тиражи их больше. Есть еще «толстые» журналы при университетах.

*– «Прощай, роман!» – так звучала тема встречи писателей со студентами и преподавателями в Казанском университете. Надеюсь, что вы-то сами с романом не прощаетесь?*

– А куда мне без него?!. Мне некуда сбегать. Это мое любимое дело. Я и сейчас уже пишу новый роман. Как-то не могу уйти от этого. Я каждый раз, когда заканчиваю очередную вещь, думаю: ну вот и хватит уже, написал столько, что достаточно, что-то другое надо... Или ничего уже

не надо вообще – старость... Потом ходишь, ходишь, и вдруг что-то тебя затягивает, к столу подводит. Включаешь машинку и начинаешь набрасывать. И так постепенно, постепенно, спонтанно появляется новое...

*– И начинает жить своей жизнью...*

– ...Начинает жить. И у тебя уже есть смысл, движение какое-то.

В общем, лучше этого я для себя ничего не вижу... Может быть, осла только купить, Дурана Морозо, и на нем в Испанию уйти...

*– Манят близкие пределы соседней страны – Биарриц ведь на границе Франции и Испании?*

– Скучно в Биаррице! Там я только пишу. А потом еду в Москву – вот где много интересного, постоянный напряженный нерв. Через месяц: два там уже изнемогаешь от многих вещей – от того же трафика, плохого воздуха, внимания вашего брата – журналиста. Мечтаешь сбежать в Биарриц. Приезжаешь – и через месяц чувствуешь, что невозможно – надо возвращаться.

*– Как раз хотелось бы вернуться к вопросу о спонтанности создания ваших произведений, о том, что вам интересно писать, не зная, что будет дальше. А есть ли что-то, чего вы бы все же никогда не позволили своему герою или же себе по отношению к нему?*

– Я об этом много раз говорил. Я пишу роман спонтанно, я не знаю, что там будет, не знаю, чем он закончится. Больше того, я начинаю писать и не знаю вообще, что произойдет с моим героем через пять страниц. Когда я писал «Редкие земли», то начал с описания тамарисковой рощи. Тамариск – очень странное растение на уродливых стволах с нежной зеленой хвоей, очень краси-

вой. И я ее описывал, описывал. И почему-то вдруг мне пришла в голову фраза: «Таков и наш комсомол...» Кажется, что это – какой-то бред собачий... А эта фраза толкнула меня дальше – в среду «последних комсомольцев». Они взрастали на уродливых стволах уродливой идеологии, но на башках у них были шевелюры зеленой хвои...

*– Василий Павлович, я хотела бы задать вопрос из области метафизики. Не показалось ли вам все происходящее, я имею в виду «Аксенов-фест», неким карнавальным реалити-эпилогом вашего последнего романа? Когда вас, Базза Окселотла, знаменитого писателя, чувствуют в до неузнаваемости изменившемся родном городе. И делает это человек из той самой «нежной тамарисковой поросли»... Не было ли у вас этого ощущения?*

– Да, да... Конечно, было такое! Ну, во-первых, действительно сама Казань очень изменилась. Я не узнал многие места, просто не узнал! Из развала и руиноподобного состояния все в ней вдруг обернулось блеском! Казань стала городом двадцать первого века. В этом большая заслуга городского руководства, вашего мэра. Это пример того, как «тамарисковые юноши» – вчерашние комсомольцы – стали сегодня образованными грамотными лидерами, что очень радует.

Мне кажется, что и национальное правительство помогает. В Татарстане есть ощущение своего, при полном отсутствии русофобии или чего-то подобного. Мне это нравится!

*– Вдохновляет на продолжение?*

– Мы решили каждый год устраивать такой фестиваль, это, конечно, здорово!.. Не знаю, получится ли – это все зависит еще от конкретных людей... В Самаре в 1993 году начались «Аксе-

новские чтения» в библиотеке. Меня пригласили – я приехал. Была скромная конференция. Очень умная. Съехались филологи из разных городов. И – «на следующий год обязательно приезжайте!». Я опять приехал из Америки. И смотрю – уже «Машина времени» там играет, и Козлов, и выставка какая-то открывается. И так каждый год в течение семи лет «чтения» расширялись, превращаясь в фестиваль. В конце концов уже немножко осточертевший – с детским хором с какими-то опахалами и всем прочим в этом духе... А потом он прекратился, потому что мэр города уехал в Москву. И все стало как-то увядать. А потом и прекратилось само по себе...

Надеюсь, здесь будет по-другому.

2007

# ПУТЬ ИЗГНАННЫХ ИЗ РАЯ\*

*Василий Аксенов с детства грезил о путешествиях. Сбылось. Правда, из родной страны ему пришлось уехать с билетом в один конец. Тогда думалось – навсегда. Да и маршрут оказался крутым. А когда писателю вернули российское гражданство, он стал жить на три дома. В Америке, приютившей его в лихолетье, во Франции, в которой ему легко работается, и в России – родину, как известно, не выбирают, ее просто любят.*

*– Ваше творчество сейчас переживает новую волну интереса и успеха на родине...*

*– Грех жаловаться – меня читают в России. А последние мои книги даже были, как мне сказали, лидерами продаж. Очень активно прода-*

---

\* Впервые опубликовано в журнале «Интервью», 2008, № 8. Беседа Валентины Сериковой с писателем состоялась незадолго до его болезни зимой 2008 года.

вался роман «Москва Ква-Ква». И «Вольтерьянцы и вольтерьянки» тоже очень хорошо шли, более того – получили премию. Но мой лучший и любимый роман «Кесарево свечение» не вышел к широкому читателю. Его читает узкий круг людей, хотя в романе затронуто очень много важных тем. Здесь не угадаешь. Роман – самый молодой жанр литературы, в отличие от вечной поэзии, которая началась с пещер, ритуальных церемоний, камлания, шаманства. А роман – детище капитализма, рынка, он возник на базаре благодаря революции. Пришло время, когда свиток превратили в книгу, чтоб продать. Ее можно было купить, принести домой, читать со свечой всей семьей – развлекаться, пока не придумали телевизоров. Все это продолжалось до середины XX века. А сейчас все опять возвращаются на базар.

– *Только базар теперь совсем другой...*

– Да – базар электронный, с маркетингом, с пиаром. Это уже опять рассказывание историй на потребу, для развлечения и для продажи. Не говорю, что его история кончилась, но, как мне кажется, роман должен не искать массового читателя, а наоборот, сужать круг чтения, обращаясь к людям, которые хотят читать всерьез – с наслаждением и глубиной, потом собраться вместе и обсудить. Кстати, в Америке, где, как у нас считают, все глупо и по-хамски, массовое распространение имеет так называемый брифинг-группе – когда друзья собираются и читают серьезные книги, а потом их обсуждают. Это не значит, что нужно совсем отворачиваться и специально прятаться от массового читателя. Пожалуйста, читайте и убегайте от массовой культуры в эти области. Кстати, я вижу много таких беженцев из

массовой культуры в сферы поиска глубины и истины. Я за годы преподавания в университете вел класс по литературе, и на моих глазах очень часто происходила трансформация молодых людей, которые ранее были заняты исключительно добыванием денег, в бескорыстных любителей умного слова. Поэтому я всегда говорю, что нам не надо преследовать успех. Надо, чтобы успех преследовал нас.

– Ваш последний роман «Редкие земли» о современных героях. Чем был продиктован ваш интерес к ним?

– Меня однажды спросили, почему я больше не пишу современных романов, все больше исторические. Вот я и подумал, что пора взяться. Все учились в школе и знают, что такое редкоземельные элементы. В таблице Менделеева внизу было 17 пустых клеточек – он предчувствовал появление новых элементов. Вскоре они действительно стали появляться, сейчас уже все открыты и очень активно используются в промышленности, потому что обладают удивительными и странными свойствами, до конца еще не изученными. В моем романе бывшие комсомольцы, ныне новое поколение бизнесменов, занимаются как раз ими. Но я вам хочу сказать, что эти типы и сами являются редкоземельными элементами. Там вопрос вообще о редкости. Земля в пределах видимой и невидимой Вселенной является чрезвычайно редким элементом творения, уникальной планетой, хотя она просто песчинка по сравнению с другими составляющими космоса. Человек в этом смысле тем более исключительная сущность. А среди людей есть совсем уж редчайшие экземпляры, миллиардные доли – божественный эксклюзив. Соль земли, настоящие созидатели. Вот обо всем этом мне и захотелось рассказать.

– *Василий Павлович, к вам не раз обращались с предложением снять фильм по вашему знаменитому роману «Остров Крым». Планы не отменены?*

– На моей памяти затевалось уже пять проектов, один из которых даже был запущен. Но все они потом как-то сами собой увядали или разваливались. И пока окончательного шага не принято. Все упирается в деньги, в финансовую поддержку. Учитывая всю специфику съемки, фильм получается очень дорогой. Нужны серьезные актерские работы. А сейчас уже и отечественные известные актеры очень дороги, не только иностранные. Но если иметь в виду коммерческий успех картины на Западе, то лучшие имена, конечно, необходимы. Я все-таки надеюсь, что у кого-то получится довести идею до результата и достойный режиссер, который смог бы снять «Остров Крым», найдется. В одном проекте был такой человек, классик нашего кино Владимир Наумов, который работал вместе с Аловым. В общем, постановщики появились, это сейчас не самый неразрешимый вопрос. Были бы деньги – а режиссер найдется, как сказал бы в таком случае Козьма Прутков.

– *Говорят, к вам во Францию приезжал Гришковец, который тоже хотел снять кино по одному из ваших произведений. Как обстоят дела с этой идеей?*

– Никак, она ни во что не вылилась. Но я к этому уже привык. Одно время ко мне начали приезжать из России и бывшего Союза с разными предложениями. Вдруг один появляется с наполеоновскими планами, другой, все звонят, обещают, а потом исчезают. Ну что мне – ловить их, что ли? Так же и Женя Гришковец: приехал со своим другом олигархом, сказал, что он нас будет субсидировать. В общем, наобещали. Я го-

ворю, ну что ж, давайте, ребята, делайте. А потом они пропали.

– *А как вы относитесь к экранизации своего романа «Московская сага»?*

– Для тех, кто читал книгу, это плохая экранизация, для тех, кто не читал, – хорошая. Но если говорить объективно, там упущено очень много возможностей, заложенных в романе. Это и моя вина, между прочим. Надо было писать сценарий самому. Мне предложили выкупить авторские права или сделать самому сценарий. Я выбрал первое. Редко приходил на съемочную площадку, только когда навещался в Москву. А мой сын, он художник кино, работал на этом проекте арт-директором. И как только я его что-нибудь спрашивал по поводу фильма, он почему-то все матом отвечал.

– *Правда, что вы приложили руку к сочинению стихов и музыки к этому сериалу?*

– Вообще я что-то напевал. Во всяком случае, написал пожелание – «в ритме вальса-бостона». Но Журбин не обратил на это внимания и сделал что-то другое – говорят, что популярное. Я с юности любил джаз, и у меня дома большая коллекция старых пластинок с этой музыкой. Сейчас больше предпочитаю слушать классику. Но думаю, что джаз очень близок к русскому менталитету. Знаменитый джазмен Алексей Козлов говорил, что русские вообще очень близки к неграм: стремление к свободе русская душа очень улавливает. Вообще вся эта ритмика, походка джазмена в больших городах возникала спонтанно – там всем телом любили показать: мол, я вошел! Джаз во времена моей молодости был колоссальным творческим толчком для всего поколения. Неда-

ром в романе «Москва Ква-Ква» у меня выведены первые джазмены, классики жанра. Это мое собственное ощущение ритма жизни. Когда мы слушали эту музыку, нам будто кто-то говорил: ребята, не настраивайтесь на лагеря, готовьтесь все-таки к другой жизни!

*– А вы можете определить, откуда в нас возникает тяга к определенным стилям, людям, городам?*

– Наверное, мы с ней рождаемся. На меня в юности произвел впечатление один французский фильм, который я бегал смотреть раз пять. Там был так показан Париж, что меня просто потрясла его красота! Я совершенно влюбился в этот город, он меня очаровал, на пленке будто была разлита какая-то магия, которую узнавала душа. Вообще меня с юности влекло все красивое. Казалось бы, откуда эта тяга могла взяться? Сын заключенных, всю жизнь жил в бедности, спал на раскладушке под столом... Но та страсть к прекрасному, чистой красоте была выше меня и все время куда-то звала.

*– Страсть к литературе того же происхождения? У вас диплом врача и дар литератора: когда в вас открылось это?*

– Очевидно, я с детства, даже толком не зная своих родителей, был как-то предрасположен к сочинительству. Еще в двенадцать лет, живя у тети, когда родители оказались в лагерях, я начал писать длинные несусветные поэмы о ледовых конвоях, которые шли в полярных широтах... Потом уехал к освободившейся из заключения маме, и она начитывала мне стихи километрами. Я их записывал, потом перечитывал, учил. Вот так и просветился. А в медицинский институт я поступил просто потому, что ма-

ма и отчим сказали мне, что надо получить профессию доктора, чтобы спастись в лагерях. В медицинском я тоже увлекался сочинительством, у нас был даже маленький кружок футуристов.

– *А нет ли у вас мысли приняться за мемуары?*

– У меня есть рассказ «Зеница ока», который я написал сорок три года назад. Я тогда пришел с ним в журнал «Юность», где уже печатался, его прочли, испугались и сказали, мол, мы не можем такие темы принимать, за нами следят. Это биографический рассказ о моей встрече с отцом, вернувшимся из ссылки после пятнадцати лет отсидки. В 1955 году я приехал из Ленинграда в Казань к тетке, которая меня воспитывала. В свои двадцать два года я был стилигой, продвинутым молодым человеком. И как-то рано утром тетка, услышав стук в дверь, пошла открывать и вдруг начала страшно кричать. За дверью стоял ее брат, мой отец. Выглядел он тогда как Робинзон Крузо: огромный мешок, в котором было все, даже запас керосина и дров, чтобы растопить костер. Он забыл, что можно прислать телеграмму, что можно сесть и доехать на трамвае – пришел со станции пешком. В начале рассказа написано: «Вместо мемуаров». Это мое самое большое приближение к такому жанру.

– *В последние годы вы живете в Европе. Вам комфортнее в Биаррице?*

– Это место на границе Франции с Испанией. В XIX веке французский Биарриц был очень модным курортом – там были Юсуповы, Романовы, Долгорукие. Сейчас в Биаррице живут их потомки, но многие по-русски не говорят. У меня там дом с садиком, море метров 600 по прямой, если представить, что летишь из окна на аэроплане.

Соседи у меня наследники известных русских фамилий – Толстых и Лопухиных, и они это постоянно подчеркивают. Биарриц – место очень приятное, но безумно скучное. Когда я сижу там месяц, мне страшно хочется в Москву.

А в Москве через месяц мне хочется вернуться на побережье – москвичи даже не могут себе представить, какой там потрясающий воздух! А когда шумит и бурлит океан – это уже совсем не скучно. В Биарриц съезжаются тысячи молодых людей, любителей серфинга. Иисус Христос ходил по волнам, а они на досках по ним носятся. Это невероятное зрелище, с каждым годом все более популярное. Серфингисты все неформалы: с пирсингом, татуажем – в общем, типичная современная молодежь, устраивающая фестивали. Когда осенью они начинают исчезать, на поверхность выходят старики, которые там в основном живут. Я купаюсь, бегаю после отлива по твердому мокрому песку босиком. Очень полезно.

*– А недавно вы могли прогуляться по черноморскому песку в Крыму, в котором немало знаковых мест в вашей биографии.*

– Все они для меня знаковые. В Ялте я познакомился со своей женой... Майя Афанасьевна сыграла большую роль в моей писательской судьбе. Она очень большой любитель чтения. И я в какой-то мере верю ее вкусу. В последнее время Майю Афанасьевну очень утомляют перелеты. Даже наша собака, тибетский спаниель, не выдерживает темпа поездок. Мы его все время куда-то тащим, к нему без конца цепляются дети в самолетах. Нам его предлагают сдать в багаж, мол, слишком тяжелый, но поэтому жена с собакой чаще сидят дома в Биаррице.

– *Он чем-то напоминает вам Крым?*

– Может, я и выбрал его потому, что очень похоже на Крым. Из окна я вижу отроги Пиренеев, за ними испанский берег, там тоже горы, и я все время невольно делаю оговорки, вместо «Биарриц» говорю «Коктебель». «Вот приеду в Коктебель...» Они действительно похожи. Я неплохо себя чувствую в России, но постоянно выезжаю во Францию, потому что в Москве совершенно невозможно работать. А в Биарриц уезжаю – звонков сразу меньше раз в сто, я сижу себе и пишу. Сейчас уже не стоит вопрос, где ты живешь. Теперь того понятия «эмиграция», что раньше, нет. Многие едут за границу – ищут работу, учатся. У меня два гражданства, американское и российское. Еще хочу получить вид на жительство во Франции. Одиннадцать лет я жил без всякого гражданства, у меня был только грин-кард в Америке. А подал на гражданство – никакой реакции, молчат. Бюрократия страшная. Вообще страшнее французской бюрократии нет, это самая страшная. В Америке тоже, но все-таки не такая.

– *И как же вам удалось стать гражданином Соединенных Штатов?*

– А у меня был коллега в нашей группе профессоров, в прошлом член правительства, чернокожий историк. Я ему говорю: «Роджер, ты всех здесь знаешь, устрой мне американское гражданство». Через неделю меня вызывают в комиссию по визам и в торжественной обстановке – руку кладешь на сердце, присягаешь флагу – дают сертификат. Проходит еще неделя, мне звонят из агентства и говорят: «Господин Аксенов, у нас для вас приятная новость: решено дать вам американское гражданство». А я отвечаю: «Спасибо, у меня уже есть, а это отдайте кому-нибудь другому».

– *Наших эмигрантов часто просили писать или говорить плохо об СССР, о нашей недавней действительности. Вы сталкивались с этим за рубежом?*

– Ой, постоянно! У них выработались странные клише, что русские и вообще славяне – какие-то топорные мужики, в этом русле они нас и отображают. Люди коммерции до сих пор не интересуются современными тенденциями и культурой. В университетах, а я преподавал в них 24 года, совсем другая среда, и там иной разговор. А что касается Голливуда или больших издательств, то они ищут что-то похожее на «Братьев Карамазовых», чтоб были страсти-мордасти, бубенцы везде звенели, кто-то кого-то придушил, сожрал стакан. Недавно они вдруг поймали то, что пришло из России и явилось для них откровением, из которого они тут же сделали новое клише, – это образ русской мафии. И пошло-поехало: все страшные, мордастые, обвешанные цепями. Такие вещи в Голливуде проходят и даже приветствуются. А тему из моего романа о превращении полуострова Крым в остров они не понимают, потому что вообще не знают, что Крым – полуостров. У нас своя версия обороны Севастополя – а там другая. У них есть только героическая медсестра Флоренс Найтингейл (англичанка, спасла тысячи раненых на Крымской войне, 1850-е годы. – *Ред.*), а матроса Кошку они уже не знают. Так что нам еще надо пробиваться в тот мир.

– *М-да, а для нас американский стандарт еще не так давно состоял из ломящихся полок супермаркета...*

– Это в самом деле сильно действовало. Помню, когда Горбачев стал генеральным секретарем и приехал в Америку к своему другу Александру Яковлеву, который тогда был там послом,

ему устроили несколько неформальных визитов, в том числе в супермаркет. Михаил Сергеевич вошел туда, преодолевая ошеломление, прошелся по рядам, посмотрел, но сдержал эмоции. А когда они поехали дальше, он, увидев супермаркет у дороги, вдруг попросил: «Остановите!» Ему говорят: «Михаил Сергеевич, зачем, вы же только что были там». Но он настоял. Опять зашел и, увидев те же бесконечные ряды с разной всячиной, понял, что первый супермаркет – это не какой-то специальный магазин, укомплектованный, чтобы произвести на него впечатление. То есть даже первому лицу было трудно поверить, что их быт – не миф. Кстати, недавно Михаил Сергеевич, увидев меня на одном мероприятии в Москве, похлопал по спине и сказал: «Вася, я до сих пор помню одну твою фразу из любимого романа. Я заинтересовался: «Какую же?» Горбачев ответил «Вошла пожилая женщина тридцати пяти лет».

*– В общем, генсека тоже можно понять... А как долго вы вписывались в американскую реальность? Изменился ваш менталитет за годы жизни за границей?*

– Очевидно, изменился. Я приехал в Америку в 1980 году и сразу же начал работать в университете. Это большая удача. Все прошедшие годы мой главный источник существования – университетская деятельность и преподавание. Я сменил несколько университетов и в целом отдал им много сил. Должен ответственно сказать, что университетский кампус – это самая лучшая часть американской жизни. Я всегда с каким-то даже наслаждением начинал каждый новый учебный год, за эти годы через мой класс прошли тысячи студентов.

– По иронии судьбы в Москве вы снова живете в знаменитой высотке на Котельнической набережной, из которой когда-то уезжали в эмиграцию...

– Эту квартиру мы получили от нового московского правительства после путча 1991 года. Как ни странно, в том же доме, в котором жили прежде. Когда-то в нем жило много известных людей культуры, а теперь больше иностранцы.

– Василий Павлович, что сейчас вас интересует больше всего?

– Больше всего меня интересует писанина, между прочим. Когда я писал «Кесарево свечение», для меня это было как бы итоговым трудом XX века, и я даже решил, что уже хватит. Навалил много. Но потом через несколько месяцев опять воспрял и стал что-то сочинять.

– В свое время вы выказали явное неравнодушие к творчеству Венедикта Ерофеева. Ваше мнение о нем остается прежним?

– Веничка – человек совершенно колоссально-го таланта. Но, к сожалению, несостоявшейся писательской судьбы. Он просто сжег сам себя, это был акт самоуничтожения – не мог остановиться перед водкой. Можно сказать, он прожил жизнь своего героя. Трудно говорить как о классике о человеке, все наследие которого помещается в книжечке в палец толщиной, хотя «Москва–Петушки» очень талантливая вещь. У Сергея Довлатова похожая судьба. Хотя он, конечно намного больше написал. Но Веничке не надо было никого обеспечивать, кроме себя самого, а Сергею надо было содержать две семьи, он работал на несколько редакций. Он мог стать грандиозным писателем. Когда я прочел его «Заповедник», я был потрясен и подумал, что он подошел к боль-

шому роману, но, к сожалению, он этот шаг не сделал и погиб.

Довлатов был у меня за полгода по смерти. Собралась компания, все выпивали, а Сергей ничего не пил, говорил: мне врач сказал, что если в течение полугода не прикоснусь к спиртному, то могу выздороветь. Но потом не смог... Сейчас все стали с ним носиться, а тогда здесь никто его не знал, его упорно не печатали, только в самиздате что-то выходило. Сначала Довлатов стал известен американскому читателю. У него появилась переводчица-американка, которая была вхожа в журнал «Нью-Йоркер». А в этом журнале напечататься – все равно что героя Социалистического Труда получить. Я в нем тоже печатался. А у Сергея там выходил рассказ за рассказом, и он получал большие гонорары, известность. Его стиль точно совпал с минималистским лекалом американских журналов. В нем была недоговоренность, острый, но ненавязчивый юмор...

*– Ваши взгляды как-то изменились за прошедшие годы?*

– Взгляды у меня хамелеоновские – везде приспособляюсь. (*Смеется.*) А если всерьез, то они у меня как были, так и остались – антитоталитарные. Я западный либерал.

*– Отшлифованный взаимодействием с другой культурной средой?*

– У меня это вопросик патриотизма, между прочим. Когда я здесь – защищаю Запад, даже Америку. Когда я в Америке или в Европе – защищаю Россию. Мне не нравится, когда ее критикуют, бесит, если представляют по стереотипам. Тут я как бы раздвоен. А здесь меня раздражает, как об американцах говорят, что они жирные и тупые.

– *А они белые и пушистые?*

– Со многих сторон они в самом деле лучше нас. Они крепко стоят на религиозной основе. А общество, которое зиждется на религиозном фундаменте, всегда прочней. В Америке два самых сильных фундамента: банк и церковь. Банк, наверное, на первом месте, хотя и без церкви это общество тоже немислимо.

– *А вам самому такая категория как деньги небезразлична?*

– У меня никогда больших денег не было, только в последние годы, когда получил профессорское кресло в университете и зарабатывал 120 тысяч долларов в год. А на писательстве богачом не станешь. Хотя издают меня сейчас хорошо. Для меня деньги – это только вопрос свободы, они освобождают от зависимости: я могу делать то, что хочу, а не тащить и влачить, как почти всю жизнь что-то тащу.

– *А насколько вы продвинулись по дороге к Богу и вере в течение жизни?*

– Я человек религиозный, но, в общем, поверхностно. Иногда хожу в церковь. Мой путь начался еще лет с шестнадцати, в Магадане, где люди обращались к религии как к попытке спастись, получить поддержку – и они ее получали. Это очень серьезная вещь, а не просто «Господи, Боженька...» и чтение Библии... Появление с крестиком на шее на пляже в Коктебеле было в свое время серьезной акцией. На окружающих советских писателей это подействовало сильно. Затем это все у меня эволюционировало. Я вижу в любой религии какие-то ценности. То, что я чувствую сейчас, по-моему, уже где-то за пределами ритуальных религий. Вообще у меня есть

собственная философия существования, которую я пытался изложить в «Новом сладостном стиле» – мне интересно знать, что такое Время. Время – это как раз и есть изгнание из рая. Наша жизнь – путь Адама для всех поколений. Как только мы попали в бренный мир, часы сразу стали нам отсчитывать – тик-так... Будущего практически нет, каждый миг будущего мгновенно становится прошлым. Обратное движение... Когда нас выперли из рая, что-то переменялось. А изначальный замысел был какой-то другой. Не знаю какой, но, наверное, более целесообразный. Я просто ощущаю, что момент обреченности человечества – это не трагедия, в этом его судьба: для чего-то большего... Пришли, чтобы уйти, завершить путь. Апокалипсис, испепеляющий и приносящий новую суть, – это ведь наоборот, духовное возрождение.

*– Технократический век, обеспечив комфорт, взамен отнял у человека что-то несравнимо более важное, и мы еще не знаем, чем расплатимся за это...*

– А вы знаете, чем развлекались римские легионеры, когда шли через Африку? Они распинали львов на крестах. И смотрели, как львы мучаются, какие они исторгают вопли и рыки. Это было главное развлечение. А сейчас все-таки жажды крови несравнимо поубавилось. Например, когда появилось огнестрельное оружие, убивать людей стали больше. Из этого может последовать вывод, что люди стали более жестокими и отвратительными. На самом деле огнестрельное оружие уменьшило садизм. Потому что когда ты врубаешься в человеческую плоть ножом, то просто сатанеешь от запаха крови, убийства, резни. А современный летчик нажимает кнопку в своем компьютере, выпускает ракету, возвращается и

смотрит футбол. Короче говоря, в этом, как ни странно, проявляется нарастание безличностного: в этот момент он не думает, какой ужас у кого-то вызовет его ракета, не видит перед собой лица жертв. У него нет жажды убивать, он выполняет техническую задачу. Хотя здесь, конечно, кроется парадоксальная обманчивость дьявольщины – ответственность за содеянное ведь никто не отменял. Я вот был на израильской военно-воздушной базе, где стоят самолеты-компьютеры. Там такие милые ребята-симпатяги. На самом деле они черт знает что могут сделать своей техникой. Мне все же кажется, что символ величия в духовных достижениях – в искусстве, науке, благотворительности и сострадании. Так или иначе, каждый из нас дает свой ответ Богу.

2008

## СОДЕРЖАНИЕ

*Евгений Попов. Случайных совпадений не бывает* 5

### ВЫСОКО ТАМ, В ГОРАХ...

Наша Вера Ивановна	9
Асфальтовые дороги	33
Самсон и Самсониха	55
Сюрпризы	74
С утра до темноты	90
Катапульта	102
Японские заметки	118
Под небом знойной Аргентины	147
Перемена образа жизни	188
Высоко там в горах, где растут рододендроны, где играют патефоны и улыбки на устах	206
О похожести	228
Поэма экстаза	234
Логово льва	243
Зеница ока	249

## НЕПРЕРЫВНАЯ ЛИНИЯ

Памяти Красаускаса	271
ЦПКО им. Гинзбурга	281
Трали-вали и гений	290
Памяти Терца	304
Господи, прими Булата	308
Светлый путь	312
Вестерны и истерны	316
Сдвиг речи	320
Шестьсот метров по прямой	324

## ВМЕСТО МЕМУАРОВ

Жаль, если кого-то не было с нами	331
Прощай, Ха-Ха век!	350
О байронитах, лисах и земле	401
Цикличность века	413
Путь изгнанных из рая	428

Литературно-художественное издание

**Аксенов Василий Павлович**

**Логово льва**

Забывтые рассказы

Заведующая редакцией *Е.Д.Шубина*

Редактор *А.С.Прохорова*

Технический редактор *Т.П.Тимошина*

Корректор *С.А.Войнова*

Компьютерная верстка *И.П.Суровой*

ООО «Издательство Астрель»

129085, г. Москва, проезд Ольминского, д. 3а

ООО «Издательство АСТ»

141100, Московская обл., г. Щелково, ул. Заречная, д. 96

Электронные адреса:

[www.ast.ru](http://www.ast.ru)

E-mail: [astpub@aha.ru](mailto:astpub@aha.ru)

Отпечатано с готовых файлов заказчика  
в ОАО «ИПК «Ульяновский Дом печати»  
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

**Издательская группа «АСТ» представляет:**

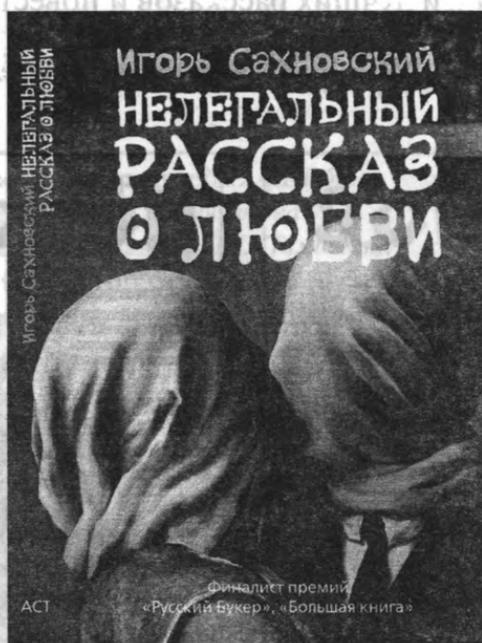
**Книги лучших рассказов и повестей**

**Евгения Попова**

**с авторскими комментариями**



**Издательство АСТ  
представляет**



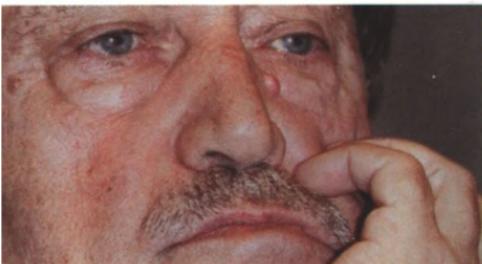
**«Незаконный рассказ о любви» – это тонкие, изящные,  
остроумные рассказы и роман о том,  
к чему читатель никогда не теряет интерес, –  
об отношениях женщин и мужчин.**

По словам Людмилы Улицкой,  
у Сахновского «есть редкий дар  
описывать то, что не лежит на поверхности,  
но составляет легучую сущность происходящего».  
Его произведения вошли в шорт-листы премий  
**«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БЕСТСЕЛЛЕР»,  
«БОЛЬШАЯ КНИГА»,  
«РУССКИЙ БУКЕР».**

# ВАСИЛИЙ АКСЕНОВ

## ДОГОВО ЛЬВА

Забывтые рассказы



«Я жалею свои юные годы.  
Я бы иначе их прожил. Вообще  
юность под Сталиным вспоминается  
как полоса полнейшей бессмыслицы,  
какое-то потерянное время.  
Хотя на самом деле оно, может,  
и не было потерянным. Потому что  
в этой забубенной хаотической  
жизни возникло такое, я бы сказал,  
спонтанное сопротивление:  
“Да катитесь вы все к чертовой  
матери! Ничего я не боюсь!”  
И это давало какое-то  
определенное мужество».

Василий Аксенов – кумир  
шестидесятых-семидесятых  
и один из самых популярных  
прозаиков нашего времени.  
Эта книга – подарок для истинных  
ценителей его творчества.  
В нее вошли рассказы, которые  
не переиздавались десятки лет.  
Разбросанные по старым  
номерам журналов и газет,  
они и сейчас поражают  
необыкновенной свежестью  
языка, особым «аксеновским»  
видением мира.

ISBN 978-5-17-060737-2



9 785170 607372

[www.elkniga.ru](http://www.elkniga.ru)